

Алексей Иванов

# ГЕОГРАФ РАОБЫЕ ПРОПУА



## Annotation

«Плохие книги пишутся для всех, хорошие – для немногих. Алексей Иванов, молодой музейный работник из Перми, сумел написать замечательную книгу для многих. Это очень смешная и бесконечно печальная книга. Она – о современной школе, о любви учителя и старшеклассницы, о мире, который продолжает „красою вечною сиять“ даже во времена инфляции и экономических реформ». Леонид Юзефович, лауреат премии «Национальный бестселлер»

---

- [Алексей Викторович Иванов](#)
  - [Глухонемой козлице](#)
  - [Часть I. Достатки и недостатки](#)
    - [Географ](#)
    - [Знакомство](#)
    - [Переселение на диван](#)
    - [Встреча Наполеона с красными партизанами](#)
    - [Воспитание без чувств](#)
    - [Сашенька](#)
    - [На крыше](#)
    - [Красная профессура](#)
    - [Ветка](#)
    - [Лена](#)
    - [Отклонение от темы](#)
    - [Отлучение от мечты](#)
    - [Мясная порода мамонтов](#)
    - [Кира Валерьевна](#)
    - [Проблемы в памяти](#)
    - [Выпускной роман](#)
    - [Градусов](#)
    - [Будкин](#)
    - [Мертвые не потеют](#)
    - [Торжество](#)
    - [Отцы](#)
    - [Темная ночь](#)
  - [Часть II. Ищу человека](#)

- [Выбираем «лошадь»](#)
  - [Собачья доля](#)
  - [Станция Валёжная](#)
  - [Фотография с ошибкой](#)
  - [«Эти глаза не против»](#)
  - [Посетители](#)
  - [Факты и выводы](#)
  - [«В том гробу твоя невеста...»](#)
  - [Бетономешалка](#)
  - [Термометр с фонарями](#)
  - [Пусть Будкин плачет](#)
  - [Сосна на цыпочках](#)
  - [Последние холода](#)
  - [Хочешь мира – не готовься к войне](#)
  - [Окиян окаян](#)
  - [Вини – винями](#)
  - [В центре плоской земли](#)
  - [Виктор Сергеевич Макиавелли](#)
  - [Незачем и не за что](#)
  - [Лишь бы не соскучиться](#)
  - [Уважительная причина для святости](#)
  - [Часть III. Вечное влечение дорог](#)
    - [Первые сутки](#)
    - [Вторые сутки](#)
    - [Третьи сутки](#)
    - [Четвертые сутки](#)
    - [Последние сутки](#)
  - [Умение терять](#)
-

# **Алексей Викторович Иванов**

## **Географ глобус пропил**

*«Это мы – опилки».*

*Станислав Лем*

## Глухонемой козлище

«Конечная станция Пермь-вторая!» – прохрипели динамики.

Электричка уже подкатывала к перрону, когда в вагон вошли два дюжих контролера – сразу с обоих концов, чтобы отсечь пути к бегству. Пассажиры заволновались, а небритый, помятый молодой человек, сидевший у окна, даже не оглянулся.

– Ваш билет, ваш билет, – однообразно повторяли контролеры, поворачиваясь то направо, то налево и медленно двигаясь к точке randevу посреди вагона.

За окном плыли составы на запасных путях, семафоры, будки, штабеля шпал. Сверху мелькали решетчатые конструкции каких-то перекрытий. Молодой человек разглядывал все это очень внимательно и никак не реагировал на то, что процесс разделения пассажиров на агнцев и козлиц скоро зацепит и его. Многочисленные агнцы сидели тихо и горделиво, с затаенным достоинством, а немногие козлица, краснея, доставали кошельки платить штраф или же, поднятые с мест, скандалили, увлекаемые на расправу.

– Ваши билеты, – сказал контролер, останавливаясь напротив отсека, где сидел безучастный молодой человек.

Две бабки, помещавшиеся напротив него, суетливо протянули свои билеты, давно уже приготовленные и влажные от вспотевших пальцев. Контролер глянул на билетики и злобно укусил каждый из них маленькой никелированной машинкой. Девушка, сидевшая рядом с молодым человеком, не глядя, подала свой билет, и контролер с ревнивой въедливостью прокусил и его. Молодой человек по-прежнему смотрел в окно.

– Ваш билетик, молодой человек, – сказал контролер, нервно пощелкивая никелированными челюстями.

Молодой человек даже не оглянулся.

– Эй, парень, – переставая щелкать, окликнул контролер.

Обе бабки с ужасом уставились на гордого безбилетника.

– Парень, не слышишь, да? – с угрозой спросил контролер.

Два пленных козлица за спиной контролера злорадно взирали на молодого человека, не отрывавшегося от созерцания товарных вагонов на дальнем пути. Над этими вагонами мирно покачивались ветви тополей, уже

слегка тронутые желтизной.

Контролер протянул руку и постучал своей кусательной машинкой по плечу молодого человека. Тот быстро обернулся и непонимающим взглядом обвел раскрывших рты бабок, свирепеющего контролера, взволнованных козлиц.

– Билет есть? – прорычал контролер.

Молодой человек тревожно поглядел на его губы, потом на девушку, которая вздрогнула, соприкоснувшись с ним взглядом. Затем молодой человек вытащил из карманов руки и сделал несколько быстрых, плавно переливающихся один в другой жестов перед своим лицом, коснувшись пальцем края рта и мочки уха. Еще раз оглядев ошеломленных зрителей, молодой человек вежливо кивнул и отвернулся обратно к окну.

– Чего он?... – растерянно спросил один из козлиц.

– Глухонемой, – шепотом с уважением сказала бабка, сидевшая от глухонемого подальше.

Девушка напряглась, будто рядом с ней был не глухонемой, а вовсе покойник.

Контролер не знал, что делать. К нему подошел напарник, сгуртовав две кучи козлиц в одну.

– Все? – спросил он.

– Ну, – кивнул первый. – Только вон этот глухонемой.

– И что? Без билета, что ли?

– Да как ты у него узнаешь?...

– А плюнь ты на него, – посоветовал напарник и громко распорядился:

– Ну-с, господа безбилетники, пройдемте на выход.

Электричка затормозила, динамик невнятно загнусавил.

Пассажиры облегченно зашевелились, поднимаясь с мест. В тамбуре зашипели разъезжающиеся двери. Одна из бабок ласково потрогала глухонемого за колено и, странно помахав рукой, громко сказала, участливо улыбаясь:

– Приехали!...

Глухонемой кивнул и встал.

На привокзальной площади былолюдно и тесно: громоздились автобусы, толклись у ларьков очереди, возле пригородных касс клубились дачники, навязчивые таксисты бодро кричали каждому второму: «Куда ехать?», одинокий певец надтреснутым голосом уверял спешащую публику в том, что не такой уж и горький он пропойца. Утреннее небо над вокзалом поднималось хрустальной призмой – пустое и бледное, как экран только что выключенного телевизора.

Глухонемой посмотрел на вокзальные часы, зябко поежился и зашагал к ближайшему киоску. Вытягивая шею с небритым горлом, он через чужие плечи что-то высмотрел на витрине, достал из кармана смятую купюру и протиснулся к окошку.

– Бутылку пива, и откройте сразу, – хрипло сказал он.

## **Часть I. Достатки и недостатки**

## Географ

Дымя сигаретой и брэнча в кармане спичечным коробком, бывший глухонемой, Виктор Служкин, теперь уже побритый и прилично одетый, шагал по микрорайону Новые Речники к ближайшей школе. Над ним в вышине то и дело вспыхивали окна многоэтажек, отчего казалось, что солнечный шар покрыт щербатинами мелких сколов. Из какого-то двора доносились гулкие выстрелы – там выбивали ковер.

Школа высилась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой торчали одиночные корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового микрорайона. Справа от входа громоздилась теплица – ржавое скелетообразное сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна школы тоскующе глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук предстоящего учебного года. Во дворе сновали ученики: скребли газоны редкозубыми граблями, подметали асфальт, таскали в теплицу носилки с мусором. За дальним углом курили старшеклассники, в каком-то кабинете играла музыка, на крыльце орали друг на друга мелкие двоечники, которые вытаскивали сломанную парту и застряли с нею в дверях. В свежепокрашенном вестибюле Служкин спросил у уборщицы имя-отчество директора, отыскал директорские покои на втором этаже, постучался и вошел. Директор был высоким, грузным, лысеющим мужчиной в золотых очках. Он помещался за широким столом, а напротив него, разложив бумаги, сидела красивая полная женщина.

– Я по поводу работы, – пояснил Служкин. – Вам учителя не нужны?

– М-м?... – удивился директор и кивнул на стул. – Присаживайтесь...

Служкин с достоинством уселся у стены позади женщины, с которой беседовал директор, и это вызвало у нее видимое даже по спине раздражение. Однако развернуться в менее тициановский ракурс она не пожелала, а для Служкина другого места в кабинете не было.

– И какой предмет вы можете вести? – спросил директор.

– Ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию, органическую химию, – не торопясь, перечислил Служкин.

– Вы где-то учились? – через плечо спросила женщина.

– Биофак Уральского университета.

Спина стала еще более недоброжелательной.

– У нас уже есть учителя по всем этим предметам.

Служкин молчал, фотогенично улыбаясь. Женщина начала нервно перебирать свои бумаги. Наконец директор засопел и раскололся:

– Географию-то у нас некому вести, Роза Борисовна...

– Почему некому? Нина Петровна дала согласие.

– Она же пенсионерка, и у нее уже полторы ставки.

– Но мы не можем брать человека, который не имеет педагогического образования и не знает предмета, – холодно заявила Роза Борисовна.

– Биология, природоведение, география – это почти одно и то же... – туманно заметил директор и смущенно потер нос.

– Нет, – твердо возразила Роза Борисовна. – Природоведение и экономическая география в девярых классах – это не одно и то же.

– Роза Борисовна, для меня не составит труда ознакомиться с этим предметом, – вкрадчиво сказал Служкин.

Красивая Роза Борисовна слегка покраснела от ярости, собрала свои листочки в идеально ровную стопку и ледяным тоном произнесла:

– Впрочем, вы директор, Антон Антонович, вам и решать.

– Я всего лишь администратор. – Директор сделал жест, в котором было что-то от реверанса, и даже дернул под столом коленями. – С педагогами работает завуч – то есть вы, Роза Борисовна. Я бы не хотел принимать решения, не заручившись вашей поддержкой.

Роза Борисовна снова разложила бумаги веером, а потом все же обернулась к улыбавшемуся по-прежнему Служкину.

– А вы представляете себе... э-э...

– Виктор Сергеевич, – услужливо подсказал Служкин.

Роза Борисовна мгновение помедлила, переваривая имя.

– Виктор Сергеевич, – губы ее брезгливо вздрогнули, – что такое работа учителя? Вы имеете понятие о психологии подростка? Вы сможете составить себе программу и планы индивидуальной работы? Вы умеете пользоваться методическими пособиями? Вы вообще представляете себе, что такое школа?

– Вообще-то представляю, – осторожно сказал Служкин.

– Я думаю, вопрос ясен, – вклинился директор, похлопав ладонью по столу. – За два дня до первого сентября нам, Роза Борисовна, другого учителя все равно не найти. Пишите заявление, Виктор Сергеевич. Если что, мы вам поможем. Вот бумага и ручка.

## Знакомство

В комнате на диване лежали раскрытые чемоданы. Надя доставала из них свои вещи, напяливала на плечики и вешала в шкаф. Рядом в нижнем ящике четырехлетняя Тата раскладывала своих кукол. На письменном столе сидел большой, пушистый серый кот и спокойно глядел на суету немигающими желтыми глазами. В проеме двери появился Служкин, вытирающий руки кухонным полотенцем.

– Надя, скоро восемь, Будкин придет, – сказал он. – Может, на стол чего накроем?

– А я его не звала! – строптиво отозвалась Надя. – Тоже мне барин выискался – стол ему накрывай да наряжайся!... Я еще посмотрю, какой он. Больно он мне подозрителен...

– Просто он шпион американский. Он уже две автобусные остановки поджег и вчера с балкона на милиционера плюнул.

– И фамилия у него дурацкая, – настаивала Надя.

– Какая рожа, такая и фамилия. А ты за него замуж собралась?

– Да я хоть за кого бы пошла, лишь бы от тебя избавиться!

Надя с досадой грохнула в шкаф плечиками. У нее было красивое надменное лицо с темными продолговатыми глазами и высокими славянскими скулами.

– Я думал, ты за лето отдохнешь на даче, а ты все такая же...

– А ты не зли меня и алкашей своих не подсовывай!

Тут в прихожей раздался звонок. Служкин взглянул на часы.

– Будкин точен, как свинья, – сказал он. – Точность – вежливость свиней. – И он пошел открывать.

В прихожую, улыбаясь, шагнул высокий молодой человек атлетического сложения с римским носом, густыми бровями и коротко стриженными черными кудрявыми волосами. Надя и Тата вышли посмотреть на гостя.

– Знакомьтесь, – сказал Служкин. – Это Будкин, мой друг детства, а теперь еще и наш сосед. Он в четвертом подъезде квартиру себе купил, пока вы у бабушки гостили... Будкин, это Надя, моя жена. А это Тата, моя дочь. Это их я сегодня утром ездил на вокзал встречать... А это Пуджик, дикий зверь, его ты уже знаешь.

– Очень приятно, – протягивая Наде три розы, галантно сказал Будкин и приложился к ручке. – Много о тебе слышан.

– Да и я... много наслышана, – мрачно ответила Надя.

Будкин присел на корточки и погладил по голове Тату, которая испуганно смотрела на него из-за маминой ноги.

– Я добрый, – сказал ей Будкин и достал шоколадку. – Держи.

– «Баунти»? – поинтересовался Служкин.

– Райское наслаждение, – подтвердил Будкин.

– Надя, а можно я всю сейчас съем? – спросила Тата.

– Половину, – распорядилась Надя. – А то зубы заболят.

– И вот еще что я принес, Надюша, – ласково добавил Будкин, извлекая бутылку ликера. Надя хмыкнула, но приняла ее.

– Ну, проходи, – неохотно сдалась она. – Не в комнату, конечно, на кухню.

На кухне все расселись за пустым столом, и Надя открыла холодильник. На подоконник тотчас запрыгнул Пуджик, чтобы видеть, чего станут есть. Он как-то мгновенно уже успел всем осточертеть: Тата об него запнулась, Служкин наступил на хвост, Надя чуть не прищемила ему голову дверцей холодильника, а Будкин едва не сел на него.

– Ты работу нашел? – полюбопытствовал Будкин.

– Нашел. Устроился учителем географии.

Будкин хехекнул с таким видом, будто сам он в этот день устроился на работу министром финансов.

– Хорош из тебя учитель будет, – саркастически заметила Надя.

– Ерунда, – отмахнулся Служкин. – В школе на меня всем плевать: хорош – не хорош, а вынь да положь. Если не найдется желающих пред именем моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь.

– Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс? – спросил Будкин.

– Нансен... – неуверенно сказал Служкин. – Или Амундсен. А может, Андерсен. У меня не эта география. У меня экономическая.

– Ты, когда чего-нибудь забудешь, главное – ври уверенно, – посоветовал Будкин. – Или по карте посмотри, там все нарисовано.

– По карте! – хмыкнул Служкин. – Я сегодня кабинет принимал у завучихи, Угрозы Борисовны, так у меня там четыре наглядных пособия: глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза. И все!

– Тебе хватит, – ободрил Будкин. – А если выгонят за профнепригодность – так и быть, возьму тебя к себе секретутом.

– А кем ты работаешь? – спросила Надя, резавшая колбасу.

– Форточником, – хехекнул Будкин.

– Шутки как у моего мужа – такие же идиотские.

Будкин не смутился. Служкин напомнил Наде:

– Я же тебе рассказывал – у него с отцом своя фирма при станции техобслуживания. Он там обслуживает тех за деньги. Вон под окном его гроб на колесиках стоит.

– Этот «запор» у меня с фирмы, – вальяжно привалившись к стене, объяснил Будкин. – Так, дрянь. Грузы возить, по грязи кататься. А для города у меня «вольво».

– А мы и такого не имеем! – с досадой кивнула в окно Надя.

– Ха! – возмутился Служкин. – Будкин еще в школе у пацанов мелочь в туалете вытрясал! Он ворует! А я и виноват!

– Ты лентяй, Витус, – хехекнув, объяснил Будкин. – Идеалист и неумеха. Только языком чесать и горазд.

Он взял со стола бутылку ликера и свернул с горлышка пробку.

– Витус, а чего покрепче у тебя нет? – спросил он.

Служкин сделал страшные глаза, кивнул на Надю, которая в это время отвернулась к плите, и изобразил удар в челюсть.

– Нету у нас водки! – безапелляционно заявила Надя.

Будкин ткнул себя пальцем в грудь, двумя пальцами сделал на столе бегущие ножки и поднял кулак с оттопыренным мизинцем и большим пальцем.

– Будкин, ты кого показал? – сразу спросила Тата.

– Киску, – сладко ответил Будкин.

Служкин тяжело вздохнул и виновато попросил:

– Давай, Надя, достанем нашу бутылку...

– Доставай, – подчеркнуто безразлично ответила Надя. – Ты же пьешь, а не я – чего спрашивать?

– Мы в честь знакомства, Надюша, – поддержал Будкин. – Верно, Таточка?

– Полчаса как познакомились, а уже «Надюша», «Таточка»...

Служкин молча потянулся к шкафу и достал бутылку водки.

– Надя, не злись, сядь, – позвал он.

Сердитая Надя подняла Тату, села на ее место и пристроила дочку на колени.

– У нас денег на пьянку нет, – твердо сказала она, глядя в глаза Служкину, и персонально для Будкина добавила: – И не будет!

Служкин печально погладил бутылку и изрек:

– Доведет доброта, что пойду стучать в ворота...

## Переселение на диван

Водку допили, и Будкин ушел. За окнами уже стемнело. Надя мыла посуду, а Служкин сидел за чистым столом и пил чай.

– Тут у крана ишачу, а ты пальцем не шевельнешь, – ворчала Надя. – Живешь от пьянки до пьянки, неизвестно, о чем думаешь...

– Почему не известно? Известно. О тебе с Татой.

– Если бы обо мне думал, то взял бы да помог.

– Давай помогу, – согласился Служкин. – Отходи от раковины.

– Поздно уже, – мстительно ответила Надя. – Сразу надо было.

– Так я же Татку спать укладывал...

– Полтора часа? У меня она за пять минут засыпает.

– Я ей книжку читал – она слушала.

– Баловство все это! – упорствовала Надя. – Изображаешь заботливого папочку, да? Был бы заботливый, так не таскал бы в дом кого попало, деньги бы не пропивал, сам бы как свинья не нажирался! Если бы я на Будкина не цыкнула, он бы и сейчас сидел!

– Ему на работу завтра, вот он и ушел, а цыканья твоего даже не заметил. А если и заметил, так, когда он захочет – ори не ори, будет пить до зари.

– Не понравился мне твой Будкин, – напрямик заявила Надя. – Самодовольный и ограниченный хам.

– Да тебе все не нравятся. Я – шут, Ветка – шлюха, Сашенька – дура, Будкин – хам...

– Как есть, так и есть, – отрезала Надя. – Что я сделаю, если у тебя все друзья с приветом? И где ты их только находишь?

– Я друзей не ищу, они сами находятся, – философски заметил Служкин. – С Будкиным я с третьего класса дружу. Зря ты на него навалилась. Он хороший, только его деньги и девки избаловали.

– Чего в нем найти можно? – Надя презрительно сморщилась.

– Как – чего? Квартира, машина и хрен в поларшина...

– А что – квартира, машина, деньги? – тут же взъелась Надя. – Они всем нужны! Чего в этом такого особенного?

– Вот и я думаю – чего ж в них такого особенного?...

– Если тебе ничего не надо – это твои проблемы! – закричала Надя. – Только про меня с Татой ты подумал?

Служкин предусмотрительно промолчал.

– Каждая женщина имеет право пожить по-человечески – с квартирой, с машиной, с деньгами! И нет в этом ничего зазорного! Уж лучше бы я за какого богатого вышла – хоть пожила бы в свое удовольствие! А с тобой за эти пять лет я чего видела, кроме работы и коляски? Зря я маму послушала – надо было аборт делать! Всю жизнь ты мне изломал! Чего ты мне дал, кроме своих прибауток и поговорочек? Дай мне сперва квартиру, машину и деньги – а потом я посмотрю, нужно это или нет! А хаять-то все горазды, у кого нет ни хрена!...

– Ну, квартира вроде бы есть... – робко пробормотал Служкин.

– Есть? – воскликнула Надя, разворачиваясь лицом к нему. – Эта конура, что ли? Да и она на твоих родителей записана!

– А я что сделаю? – развел руками Служкин.

– Ну сделай что-нибудь! Ты же мужчина!

– Э-э... пойду-ка я, пожалуй, на балкон покурить, – сказал, вставая, Служкин. – А ты успокойся, Надя. Все будет хорошо.

– Иди! Кури! – с отчаяньем крикнула Надя и загромыхала посудой.

Служкин ретировался на балкон и курил там, пока Надя не улеглась в постель. Служкин на цыпочках прокрался в комнату. Тата громко сопела в кровати, выставив из-под одеяла пухлую ножку. Надя уткнулась лицом в стену, в старый, потертый ковер, пропахший пылью и Пуджиком. Служкин поправил Тате одеяло, тихонько разделся, лег к Наде и осторожно провел рукой по ее боку.

– О господи... – сказала Надя.

– Я соскучился... – извиняясь, прошептал Служкин.

Надя тяжело вздохнула, не оборачиваясь.

– Послушай, – вдруг произнесла она. – Давно хотела тебе предложить. Давай со всем этим закончим. Так будет честнее. Мне этого не надо, и я тебя совсем не хочу.

– А я тебя хочу.

– Лучше найди себе любовницу, только чтобы я не знала.

– Я не хочу искать...

– Тебе нич-чего, – Надя с чувством выделила слово, – нич-чего в жизни не хочется... Ну и мне от тебя ничего не надо.

– Ты ведь говорила, что любишь меня...

– Никогда такой глупости не говорила. И вообще, я устала. Я хочу спать. Иди лучше на диван, там просторнее.

– Ладно, – поднимаясь с кровати, покорно согласился Служкин. – Завтра все образуется. Утро вечера мудренее.

– Не мудренее, – жестко ответила Надя.

## Встреча Наполеона с красными партизанами

Кабинет географии был совершенно гол – доска, стол и три ряда парт. Служкин стоял у открытого окна и курил, выпуская дым на улицу. Дверь была заперта на шпингалет. За дверью бушевала перемена.

...К школьному крыльцу Витька выскакивает из тесного куста сирени. Конечно, никто не рассчитывает, что Витька прорвется сквозь палисад, и в запасе у него остается еще секунда. Короткой очередью он срубает американского наемника у входа и через две ступеньки взлетает на крыльцо. Двери – огромные и тугие, их всегда приходится вытягивать, как корни сорняков. За дверями, естественно, притаились десантники, но Витька не дает им и шевельнуться. Свалив с плеча гранатомет, он шарахает прямо в желтые деревянные квадраты. Воющее облако огня уносится в глубь здания, открывая дорогу.

Одним махом Витька оказывается внутри школы. Два выстрела по раздевалкам, и за решетками полчищами ворон взлетают пальто и куртки. Потом еще три выстрела: по директорскому кабинету, по группе продленного дня и по врачихе. Затем Витька очередью подметает коридор и мимо сорванных с петель дверей бежит к лестнице.

Американца на площадке Витька ударяет ногой в живот. Тот кричит и катится вниз по ступенькам. Еще один лестничный марш, и по проходу ему навстречу несутся солдаты. Витька долго строчит из своего верного АКМ, пока последний из наемников, хрипя, не сползает по стене, цепляясь за стенд «Комсомольская жизнь».

Из коридора с воплями «Ура!»... м-м, нет... «Банзай!»... м-м, ну, просто с воплями выскакивают американцы. Двоих Витька отключает прикладом автомата, третьего ногой, четвертого башкой в живот, пятому ребром ладони ломает шею, шестому мечет в грудь саперную лопатку, которая вонзается по самый черенок.

Вылетая за угол, Витька открывает ураганный огонь и бежит вперед. Классы, классы, комсомольский уголок, учительская, лестница...

Витька стал замедляться. Дверь кабинета номер девятнадцать, номер двадцать, двадцать один, двадцать два... Витька затормозил. Двадцать три. Кабинет русского языка и литературы.

Хорошо, что родители уехали в командировку. До школы можно идти без куртки. Так, галстук заправить, вечно он вылезает на пиджак. Волосы

пригладить. Дыхание успокоить. Ботинки грязные – вытереть их мешком со сменной обувью. Сам мешок повесить на портфель чистой стороной наружу так, чтобы закрыть надпись «Адидас», сделанную шариковой ручкой на клапане портфеля. Ну, вроде все.

Витька помедлил. Очень он не любил этого – быть виноватым перед Чекушкой. Ну и наплевать. Он осторожно постучал, открыл дверь кабинета, вошел, цепляясь мешком за косяк, и, ни на чем не останавливая взгляда, уныло сказал:

– Ирида Антоновна, извините за опоздание...

Чекушка стояла у доски, держа в руках портрет Гоголя. Она была похожа на башню: огромная, высоченная женщина с розовым лицом, ярко накрашенными губами и крутыми бровями. С плеч у нее свисала желтая сетчатая шаль. На голове лежала тугая коса, свернутая в корону. Чекушка говорила о писателях всегда, словно от восхищения, тихо и медленно, и смотрела при этом вверх. Фамилия у нее была Чекакина.

При появлении Витьки лицо у Чекушки стало таким, будто Витька в сотый раз допустил ошибку в одном и том же слове.

– Ты почему опоздал? – спросила она, опуская портрет.

Витька, вздохнув, уставился в окно.

– Вы не понимаете, как сложно вести урок в таком классе, как ваш! – Чекушка взглядом встряхнула Витьку. – Вы заставляете меня делать столько ненужной работы! Я как педагог, прежде чем начать объяснение нового материала, по пять–десять минут трачу на то, чтобы сконцентрировать ваше внимание, а потом являешься ты, и все мы вынуждены начинать сначала. Ты не мне, не себе – своим товарищам вредишь, я вам уже тысячу раз это говорила. Ладно, не нужны тебе Пушкин, Лермонтов, Гоголь, не нужны они Соколову, Тухметдинову, Лисовскому – их и так в ПТУ возьмут. Но ведь есть и умненькие ребята. И они вам не скажут, но подумают: вот благодаря кому я подготовлен к поступлению в вуз слабее, хуже, чем мои друзья. Короче, Служкин, садись на место, а дневник мне на стол. И запомните все: если опоздал больше чем на пять минут – в кабинет даже не стучитесь.

Витька задом пододвинул по скамейке, как всегда, рассеявшегося Пашку Сусекина по кличке Фундамент, поставил на колени портфель и, затаив дыхание, с превеликой осторожностью открыл замок. Чекушка не любила, когда на уроке щелкают замками и шлепают учебниками об стол. Еще она не любила, когда портфели кладут на столешницы, окрашенные родительским комитетом, на которых от этого остаются черные следы. Достав книги и тетради, Витька сунул портфель под ноги. Чекушка не

разрешала ставить портфели в проход у парт. Объясняя, она всегда прогуливалась между рядов и могла споткнуться.

– Витус, ты геометрию сделал? – шепотом спросил Фундамент.

– У Петрова скатал, – ответил Витька.

– Дай...

– Служкин, Сусекин! – оборвала их Чекушка.

Хмыкнув, Витька открыл учебник и нашел нужную страницу. Там была фотография «В.В. Маяковский на выставке „20 лет работы“». Здоровенный Маяковский, улыбаясь и скрестив руки на стыдном месте, разговаривал с пионерами на фоне плакатов, где были изображены разные уродливые человечки. Взяв ручку, Витька принялся разрисовывать фотографию: одел Маяковского в камзол и треуголку, а пионеров в папахи, ватники и пулеметные ленты. Внизу Витька подписал: «Встреча Наполеона с красными партизанами».

Таковыми переработками сюжетов Витька испакостил весь учебник. Даже на чистой белой обложке, где строго синел овал с портретом Горького, Витька приделал к голове недостающее тело, поставил по бокам бурлаков в лямках, а на дальнем плане изобразил барку.

Рисую, Витька внимательно слушал Чекушку. Ему было интересно. Когда Фундамент отвлекал его, Витька не отвечал и лишь пинал Фундамента ногой под партой. Очень не любя классную руководительницу, Витька тем не менее в душе ее уважал. Почему так получалось, он понимал с трудом. Корни ненависти отыскать было проще. Видно, Витька, как и все, уважал Чекушку за то, что она была центром мира. Если он был свободен, то свободен от Чекушки. Если тяготился – то благодаря ей. Если кто-нибудь был хорошим человеком – то лучше Чекушки. Если плохим – то хуже. Чекушка была точкой отсчета жизни.

У доски маялся Серега Ключин. Чекушка с каменным лицом сидела за своим столом и не оборачивалась к Сереге. С видом человека, кидающего утопающему соломинку за соломинкой, она задавала ему вопросы. Ответов Ключин, разумеется, не знал. Он криво улыбался, бодрился, подавал кому-то какие-то знаки, делал угрожающие гримасы и беззвучно плевал Чекушке на голову в корону из кос, прозванную «вороньим гнездом».

– Понятно, садись, – сказала Чекушка Сереге и придвинула его дневник. Ключин постоял за ее плечом, глядя, как она выводит двойку, забрал дневник и, махая им, отправился на свое место. По пути он шлепнул дневником по голове отличника Сметанина. Чекушка тем временем написала что-то в Витькином дневнике и перебросила его на первую парту Свете Щегловой.

– Служкину, – велела она. – Посмотрим, как остальные выполнили домашнее задание. Рядовые, проверьте тетради.

Витька отпихнул дневник на край парты, демонстративно не интересуясь тем, что там написано. Раскрыв перед собой тетрадь, он откинулся на спинку скамейки и стал рассматривать стенды на стенах. Слева от доски висел стенд «Партия о литературе», справа – «Чтение – это труд и творчество». Затем вдоль ряда: «Сегодня на уроке», «Советуем почитать», «Классный уголок», «Читательский дневник», «В вашу записную книжку». На задней стене – «Поэты родного края» и «Возвращаясь к любимым книгам», а посередине огромный планшет «Литературный клуб „Бригантина“» с эмблемой и девизом. Под потолок уходили портреты классиков вперемежку с их цитатами. Все это было знакомо Витьке почти до замысленности. На базе своего класса Чекушка организовала литературный клуб «Бригантина». Основу его составляла так называемая творческая группа. Пока Витька числился в ней, он ежемесячно менял экспозиции на стендах. А потом в кабинете математики на парте Витька нарисовал первый выпуск настольной газеты «Двоечник», и Чекушка на пионерском собрании выгнала его из «творческой группы». Витька этим очень гордился.

Между тем рядовые уже просмотрели тетради. Рядовых назначала лично Чекушка. Они были обязаны каждый на своем ряду проверить, сделано ли домашнее задание.

– У Горшкова и Сусекина нету, – сказала Света Щеглова.  
– У Тухметдинова и Лисовского, – сказала Лена Анфимова.  
– У Амировой, Назарова и Забуги, – сказала Наташа Соловьева.  
– Дневники на стол, – велела Чекушка, – а сами встаньте к «стене позора».

«Стеной позора» называлась в кабинете длинная стена, у которой те, кто не выполнил домашнего задания, проводили время от своего разоблачения до звонка.

– Пусти, – пихнул Витьку Фундамент и вылез из-за парты.

На столе у Чекушки выросла стопка чистых белых дневников в обложках. Все они были подписаны красивым почерком Лены Алфимовой: так распорядилась Чекушка. В начале каждой четверти она устраивала очень долгие классные часы, когда на всю четверть заполнялось расписание. Дни получали свои даты, и страниц уже нельзя было вырвать.

Двоечники привалились к «стене позора», окрашенной в зеленый цвет. Кто привычно уставился в окно, кто на картинки, кто в пол. Витька оглянулся на них и злорадно сделал неприличный жест. Двоечники стали

украдкой показывать ему кулаки.

– Итак, тема сегодняшнего урока – поэма Гоголя «Мертвые души», – начала Чекушка. – Вы все уже прочитали ее и...

И тут в дверь забарабанили...

В коридоре рядом с кабинетом раздавался топот и гомон, кто-то подергал дверь, слышались шлепки брошенных на пол портфелей.

– Изнутри закрыто, – прозвучало за дверью.

– Там сидит, козел.

– Блин, щелка узкая, не посмотреть...

– Баскакова, ты географа нового видела? Какой он?

– Да уж побаше тебя...

Кто-то явно измененным голосом противно закричал в замочную скважину:

– Географ, открывай, хуже будет!...

– Рыжий, постучи ручкой, как завучиха стучит.

– Сам стучи. Чего, шестого нашел, да?

– Ты, блин, скотина, чего мою ручку-то берешь?...

В дверь резко и четко отстучали ручкой. Затем настала тишина – школьники ждали. А затем грянул звонок на урок.

Дверь распахнулась, едва только Служкин сдвинул шпингалет. В класс с ревом, воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдергивая из давки портфели. Служкин молча сел за свой стол. Девушки, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с интересом оглядывали нового учителя. Девятиклассницы в основном были крупные, а пацаны мелковаты, как ранняя картошка, но среди них попадались редкие экземпляры величиной со Служкина.

Служкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, деля парты. Наконец сплошной гвалт перешел в сдержанный гомон, и весь класс ожидающе уставился на учителя. Служкин поднялся.

– Что ж, здравствуйте, девятый «вэ», – сказал он.

– Привет! – запищали с задних парт.

– Я вижу, класс у вас развеселый, – заметил Служкин. – Давайте знакомиться. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я буду вести у вас географию весь год...

– А че не Сушка? – крикнули с задних парт. – Сушка баше!...

– Комментарии оставьте при себе, – предупредил Служкин. – Иначе комментаторы вылетят за дверь.

На комментаторов угроза не произвела никакого впечатления.

– Для уроков вам будет необходима общая тетрадь...

– Тетра-адь?... – дружно возмутились девицы с передних парт.  
– Да, общая тетрадь, – подтвердил Служкин. – Для того, чтобы записывать свои умные мысли. Или глупые. Какие есть, в общем.  
– А у нас никаких нет!...  
– Раньше тетрадей не нужно было!...  
– Я, на фиг, не буду заводить, и все дела! – заявил маленький, рыжий, носатый парень с хриплым пиратским голосом.

Голос этот звучал в общем хоре с первой секунды урока и не умолкал ни на миг.

– Не будем заводить! – орали с задних парт. – Идите в баню!...  
– Ти-ха!! – гаркнул Служкин. – Заккрыть рты!!

Гам, как рожь под ветром, волной приугас, пригнулся и тотчас вырос снова. Служкин отважно ринулся между рядов к гудящей галерке и сразу врезался ногой в чью-то сумку, лежащую в проходе.

– Пакет-то че пинаете! – злобно рывкнула какая-то девица.  
– Убери с дороги! – огрызнулся Служкин.  
– Новый купите, если порвали... – нагибаясь, пробурчала девица.

Служкин двинулся дальше, но гам, стоящий в кабинете, не имел эпицентра, который можно было бы подавить, чтобы замолчала и периферия. Вокруг Служкина волоклась аура относительной тишины, со всех сторон овеваемая шумом. Служкин обежал парты и вернулся к столу.

– Есть староста класса? – грозно спросил он.  
– Нету! – ликующе завопила галерка. – Есть! Мы все старосты!  
– Ергин староста, – выдал рыжий и носатый.  
– Ергин, встань! – купился Служкин.

Никто не встал, но все головы развернулись к неведомой точке.

– Ергин! – тоном выше повторил Служкин.

– Вставай, тебе говорят! – услужливо закричали несколько голосов. – Вставай, козел, оглох, что ли?

С задней парты в проход упал пацан, выпихнутый соседом. Служкин ждал, пока он поднимется. Пацан был щуплым, с откровенно кретиническим лицом. Он застенчиво улыбался и бормотал: «А че я-то?... Че я?...» Галерка ржала.

– Сядь! – велел Служкин и схватил со стола классный журнал. – Ладно, девятый «вэ», – сказал он. – Сейчас я прочитаю список класса, а вы меня поправляйте, если я буду неправильно произносить фамилий... Агафонов!

– Патефонов! Телефонов! Солдафонов! – поправляли Служкина.  
– Градусов!

Девятый «В» взревел от восторга.

– Только вякните чего, уроды! – заорал рыжий и носатый, с хриплым голосом. Но за его спиной пацан уже разинул рот, и рыжий, развернувшись, врезал ему кулаком в бровь. Пацан повалился назад, руша собою и две парты с визжащими девицами.

Служкин грохнул журналом о стол:

– Встать всем!!!

Девятый «В» криво и вразнобой поднялся.

– Задние парты тоже!!! – гремел Служкин. – Подровнять ряды!!! Сесть!!! Встать!!! Сесть!!! Встать!!!

## Воспитание без чувств

– Вы что, курили здесь, Виктор Сергеевич? – спросила Угроза.

– Э... – растерялся Служкин. – Я в окно... Окно открывал...

– Виктор Сергеевич, я попрошу вас больше никогда не курить в кабинете. Это школа, а, извините, не пивная. И вообще, попрошу вас не показываться ученикам с сигаретой. Наши дети и без того достаточно распухнуты, чтобы еще и учителя подавали им дурной пример. Как у вас прошел урок в девятом «вэ»?

Роза Борисовна медленно оглядела кабинет: сдвинутые парты, стоящие в полном беспорядке стулья, мятые бумажки на полу.

– Отвратительно, – мрачно признался Служкин.

– А в чем дело? – ненатурально удивилась Роза Борисовна.

– Никакой дисциплины, – пояснил Служкин.

– Учителя говорили мне, что у вас весь урок в кабинете был какой-то шум. Отчего же у вас нет дисциплины? Вы – учитель новый, дети к вам не привыкли, должны робеть и сидеть смирно.

– Что-то вот не заробели...

– Видимо, Виктор Сергеевич, вы сами в этом виноваты. Дисциплина на уроке всегда зависит от педагога. А педагог – это человек, который не только знает свой предмет, но умеет и других заставить его знать. Это умение приобретается лишь в специальном высшем учебном заведении – педагогическом институте. Если вам не довелось обучаться там, то не стоит браться за дело, которое вы заведомо не сможете сделать.

– У меня создалось впечатление, что девятый «вэ» просто невозможно удержать, – заявил Служкин. – Это какая-то зондер-команда...

– Это ваше сугубо личное впечатление. У других педагогов вопросов с дисциплиной в девятом «вэ» не возникает. Дети как дети.

– Я старался... – начал оправдываться Служкин. – Сперва увещевал, потом орал... Не хотелось ставить двойки в первый же урок...

– Двойки надо ставить за отсутствие знания у ученика, а не за отсутствие педподготовки у учителя. А орать, как вы выразились, нельзя ни в коем случае. Дети и дома испытывают достаточно стрессов. Школа должна корректировать недочеты родительского воспитания, а не повторять их и тем более не усугублять.

– Школа не воспитательный дом, я учитель, а не нянька, – возразил Служкин. – Когда в классе тридцать человек и все стоят на ушах, то нельзя

скорректировать чье-то воспитание. Проще этих нескорректированных изгнать, чтобы остальных не переисправляли.

– Вы сказали, что здесь не воспитательный дом, а школа? – разозлилась Угроза. – И вы, Виктор Сергеевич, считаете, что лучший способ обучения ребенка в школе – это выгнать его из класса? Странные у вас взгляды. Дети приходят в школу учиться, как вы заметили, а ваша задача – научить их. Как вам их учить – это дело вашего опыта и профессиональной подготовки, и ребенок не виноват, если вы таковых не имеете. В конце концов, вам за ваше умение государство платит деньги, а вы, если говорить объективно, просто прикарманиваете их, когда выгоняете ребенка за дверь. Я как завуч запрещаю вам подобные методы работы.

– Я понял, Роза Борисовна, – покорился Служкин. – А что, другие девятые классы такие же, как этот?

– Абсолютно.

– Что ж... – попробовал пойти на мировую Служкин. – Как говорится, первый блин комом...

– Нет, Виктор Сергеевич, – с ледяным торжеством осадила его Угроза. – Для школы такая установка неприемлема. Мы не можем себе позволить ни одного блина комом, тем более – первого.

## Сашенька

После работы Служкин пошел не домой, а в Старые Речники. Район был застроен двухэтажными бревенчатыми бараками, похожими на фрегаты, вытасценные на берег. Прощально зеленели палисадники. Ряды потемневших сараев стояли по пояс в гигантских осенних лопухах. Служкин вышел на крутой обрывистый берег Камы и поверху направился к судоремонтному заводу. Высокая облачная архитектура просвечивала сквозь тихую воду реки. Алые бакены издалика казались рябиновыми листьями. Узкая дамба подковой охватывала затон. Под ветвями старых, высоких тополей на дамбе, отражаясь в коричневой, стоячей воде затона, застыли белые теплоходы.

Краснокирпичное, дореволюционное здание заводоуправления грозно вздымалось над крутояром, похожее то ли на Брестскую крепость, то ли на обвитое жилами могучее сердце древнего мамонта. У входа в гуще акаций заблудился обшарпанный Ленин.

В конструкторском бюро, увидев Служкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения:

– Рунева, к тебе жених!

Служкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В ее красоте было что-то грустное, словно отцветающее, как будто красивой Саша была последний день.

– Чего ты так долго не заходил, Витя? – укоризненно спросила она. – Я по тебе так соскучилась...

– Закрутился, – виновато пояснил Служкин. – И школа эта еще...

– Школа, география... – мечтательно сказала Саша. – Ты, Витя, всегда был романтиком... Амазонка, Антарктида, Индийский океан... Вот уехать бы туда от всей здешней фигни – осточертело все...

Из затона донесся гудок корабля.

– Что у тебя новенького? – спросил Служкин.

– А что у меня может быть? Ничего. – Саша пожала плечами и вздохнула. – С соседями по малосемейке ругаюсь да картошку чищу...

– Как ухажеры? Рыщут?

– Какие тут ухажеры? – усмехнулась она. – Один какой-то в последнее время клеится, да что толку?

– Нету толка, когда в заду иголка, – подтвердил Служкин. – А кто он,

твой счастливый избранник?

– Мент, – убито созналась Саша.

– Какой позор! – с досадой сказал Служкин. – А как же я?

Женщина, смеясь, уткнулась головой в плечо Служкину.

– Хорошо с тобой, Витя. – Она поправила ему воротник рубашки. – Рядом с тобой так легко... Расскажи, как там наши?

– Наши или ваши? – ехидно спросил Служкин.

Саша потерлась виском о его подбородок.

– Ваши хорошо поживают, – сообщил Служкин. – Развлекаются, обольщают, деньги делают. Вчера зашел к вашим и увидел у них под кроватью целый мешок пустых банок из-под пива – выбежал в слезах. Я тут недавно подсчет произвел: если мне не пить и не есть, а всю зарплату на машину откладывать, то я накоплю на «запор» через сто пятьдесят два года. А Наде, несмотря на весь ее меркантилизм, Будкин все равно не понравился даже со своим автопарком. Надя сказала, что он – хам.

– Твоя Надя – умная женщина, – согласилась Саша.

– А она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла.

– Ну и что, что Будкин хам. Я это знаю. Но сердцу не прикажешь.

– Все сохнешь? – серьезно, с сочувствием спросил Служкин. – Зря, Сашенька. Если для тебя на Будкине свет клином сошелся – так ведь клин-то клином и вышибают... Это большой намек.

– А я ему письмо написала...

– Угу. И я определен в почтовые голуби, – догадался Служкин.

– И это тоже... – смутилась Саша и достала из кармана сложенный вчетверо тетрадный листок. – Прочитай, пожалуйста, Витя... Мне очень важно знать твое мнение... Прочитай вслух.

Служкин хмыкнул, взял листочек из ее пальцев и развернул.

– «Я очень устала без тебя. Мне кажется, что наша ссора – недоразумение, случайность. Она возникла из пустяка. Если ты считаешь, что я виновата, то я согласна и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи», – прочел Служкин.

Саша внимательно вслушивалась в звучание собственных слов.

– Лаконично и поэтично, – сказал Служкин, складывая листок и убирая в карман. – Дракула бы прослезился. Но не Будкин.

– Считаешь, это бесполезно? – вздохнув, печально спросила Саша и задумчиво добавила: – Но ведь надо же что-то делать... Хоть бы ты, Витя, запретил мне это... Я бы тебя послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг.

– Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, – назидательно

изрек Служкин.

– Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо?

– Расскажу, – согласился Служкин. – Хоть сейчас. Начинать?

## На крыше

– Недавно я Руневу встретил, – лениво сообщил Служкин.

– Где? – так же лениво поинтересовался Будкин.

– А-а, случайно, – сказал Служкин. – У нее на работе.

Оба они, голые по пояс, лежали на расстеленных газетах посреди крыши. Они загорали на отцветающем солнце бабьего лета и пили пиво. Между ними стояла трехлитровая банка и раскуроченная коробка из-под молока, заменявшая кружку. Над ними на шесте, как скелет мелкого птеродактиля, висела телевизионная антенна, которую они только что установили.

– Сашенька тебе письмо написала, – сказал Служкин.

– Не получал. Честное слово.

– Так она его через меня передала.

Служкин залез в карман джинсов, достал листочек и протянул Будкину. Будкин развернул его и стал читать, держа на весу перед глазами, солнцу на просвет. Читал он долго.

– Не ссорился я с ней, – сказал он, опуская письмо. – Это она на меня обиделась. Когда я последний раз был у нее, то всякие планы развивал, как зимой буду на горных лыжах кататься. А ее, естественно, не звал. Вот она и обиделась.

– А чего не звал-то? Трудно, что ли?

– Я бы позвал, так она ведь поехала бы, дура... А там одни ботинки, как «Боинг», стоят. Где бы она на все денег взяла? Явилась бы в каких-нибудь снегоступах на валенках... Меня бы там на базе все засмеяли.

Будкин приподнялся, выпил пива и повалился обратно.

– Так сходи к ней, – посоветовал Служкин.

Будкин задумчиво начал складывать из письма самолетик.

– Неохота, – признался он. – Надоело мне с ней. Человек она, конечно, хороший, но тоску на меня нагоняет.

Будкин ловким, точным движением запустил самолетик. Тот нырнул, вынырнул, полетел за край крыши по красивой нисходящей линии, пронесся над желто-зеленым ветхим тряпьем березок в сквере и вдруг без видимой причины кувыркнулся вниз и исчез в тени, как в озере.

– Господин Будкин зажрался, – констатировал Служкин. – От такой чудесной девушки отказывается. Доиграется господин Будкин, точно. Имеет терема, а пригреет тюрьма.

Будкин захекекал.

– Руневой в тебя надо было влюбиться, Витус, – сказал он. – Вы бы друг другу идеально подошли.

– Я хоть к кому идеально подойду, – без ложной скромности ответил Служкин. – И отойду так же.

– Мне не такая девка нужна, – мечтательно произнес Будкин, глядя в теплое небо, которое незаметно из глубины словно бы начинало медленно промерзать на зиму. – Такая вот... – туманно сказал он и пошевелил пальцами. – Особенная...

– Такой большой, а в сказки веришь, – буркнул Служкин.

– Не-е, Витус, я не в сказки, я в жизнь верю. Это другие верят в сказки. Вот девки, что вокруг вьются, смотрят на меня как на какого-то Хоттабыча: мои бабки, хаты, тачки, свобода моя – для них какое-то Лукоморье. Потому они на меня и вешаются. А меня-то за всем этим не видят!

– А Сашенька видит.

– Рунева, наоборот. Она счастлива уже одним тем, что моя мама меня родила. А я этим тоже не исчерпываюсь. Руневой все равно: живи я хоть в шалаше с голой задницей, она все равно любить будет. Только в шалаше я себя уважать бы перестал. В общем, ни с той ни с другой стороны нет уважения к тому, что я в себе ценю больше всего: к моему умению жить.

– Что это за умение? Умение деньги делать?

– Не только. С этим умением я организовал свою жизнь так, что ни от кого и ни от чего не зависю... завишу...

– Не зависею. А чего ж в тебе, несчастном, тогда ценят?

– Саму жизнь ценят, Витус, а не умение жить. Следствие, а не причину. А мне нужна такая женщина, чтобы все эти жизненные блага ценила, но не рвалась за ними и не плевала бы на них. Чтобы за шмотьем меня видела и уважала меня за то, что я могу его иметь. И пользовалась бы всем в меру – не переплачивала и не воровала. Короче, хозяйка мне нужна, а не грабительница и не обожательница.

– Ну-у, – скептически хмыкнул Служкин. – Давай ищи съеденные щи.

Вечером Служкин отправился в садик за Таточкой, но, отойдя от подъезда на пять шагов, вдруг свернул с тротуара и через ограждение полез в сквер. Забравшись в заросли поглубже, он осмотрелся, подпрыгнул и выдернул из листвы березки маленький бумажный самолет.

## Красная профессура

- Ну что, красная профессура, готовы? – бодро спросил Служкин. Три передние парты по его настоянию были пусты.
- За передние парты с листочками и ручками садятся, – Служкин взял журнал, – Спехова, Старков, Кузнецова, Митрофанова и Кедрин.
- Служкин подождал, пока перечисленные рассядутся, и дал каждому по вопросу для индивидуальной проверочной работы.
- В вашем распоряжении двадцать минут. Не забудьте подписать листочки... Остальные открывают тетради и записывают тему урока: «Экономическое районирование СНГ».
- Опять писать!... – заныл девятый «А». – На литературе писали, на иностранном, на алгебре...
- Опять, – строго подтвердил Служкин. – Иначе вы со своей болтовней ничего не услышите и ничего не запомните.
- А мы и так не запомним! – крикнул зловредный человек Скачков, открыл перед собой на парте чемодан-«дипломат» и засунул внутрь голову.
- Давайте лучше, Виктор Сергеевич, мы весь урок будем сидеть молча, зато не будем писать, – улыбаясь, предложила красивая отличница Маша Большакова.
- Давайте лучше вы весь урок будете сидеть молча и будете писать, – внес контрпредложение Служкин. – Скачков, ты что, уснул?
- А мне неинтересно, – нагло заявил из чемодана Скачков.
- А кому интересно? – удивился Служкин. – Мне, что ли?
- Так увольняйтесь, – с первой парты посоветовал верзила Старков, кандидат в медалисты.
- Кто ж тогда моих малых деток и старушку мать кормить будет? – спросил Служкин. – Ты будешь? Или давайте так: вы мне платите деньги, а я вас отпускаю с урока и ставлю всем пятерки. Идет?
- Идет! – обрадовалась красная профессура.
- Тогда выкладывайте по штуке на парту – и свободны. Денег у девятого «А» не оказалось.
- Значит, нечего спорить, – подвел итог Служкин. – Итак, продолжим. Смысл заголовка вам понятен?
- Нет, – нестройно отозвалась красная профессура.
- Тогда записывайте: «Экономическое районирование – это деление территории на экономические районы». Теперь ясно?

– Нет, – сказала красная профессура.  
– Да все им ясно, они выделяются, – сказала Маша Большакова.  
– Больше будут выделяться – больше будут писать. Скачков, после уроков не забудь сдать мне тетрадку. Я в журнал тебе ставлю точку. Пишем: «Экономический район – это район с преобладанием одной отрасли производства в экономике». Вот у нас в Речниках какая доминирующая отрасль производства?

– Самогоноварение! – крикнул с первой парты Старков.

– Старков, ты пиши, а не языком чеши.

Вдохновленная Старковым красная профессура называла отрасли производства, за которые Речники надо было бы выжечь напалмом.

– Ну, завод у нас на Каме какой? – подсказал Служкин, переводя разговор на серьезный лад.

– Транспортное машиностроение, – ответила Маша Большакова.

– Молодец, Маша, ставлю тебе точку, – одобрил Служкин.

– Ха! Машке Большаковой точку и мне точку? – возмутился в чемодане Скачков. – Несправедливо!

– Сейчас я тебе переправлю... – Служкин склонился над журналом.

– Не-не-не!... – забеспокоился Скачков, вылезая наружу.

– Теперь откройте в учебниках карты номер два, три и пять, сравните их и попробуйте разделить территорию страны на экономические районы. Ну вроде бы как вам подарили страну, а вы в ней налаживаете производство.

– А мы не хотим налаживать, – заявил Старков. – Мы страну сдадим в аренду иностранцам, пусть они и пашут.

– Уже десять минут прошло, а ты, Старков, писать еще не начал.

– Да я вам этот вопрос за минуту напишу, – пообещал Старков. – Вопрос-то какой-то тупой... Зачем, Виктор Сергеевич, мы вообще учим эту ерунду, морально устаревшую сто лет назад?

– Возьми, Старков, у Шакуровой учебник и посмотри в нем на последней странице фамилии авторов, – посоветовал Служкин.

Весь класс тотчас же начал заинтересованно изучать последнюю страницу, только Шакирова стучала кулаком в широкую спину Старкова.

– Есть среди авторов фамилия Служкин?

Красная профессура, растерявшись, снова перечитала список.

– Есть! – с последней парты на всякий случай крикнули двоечники безматерных и безденежных, которым полагалось бы находиться не в десятом «А», а в зондер-команде.

– Нету меня, – после паузы, сказал Служкин. – Тогда я не понимаю,

Старков, почему ты задаешь этот вопрос мне.

Красная профессура взволнованно загомонила, пораженная отсутствием Служкина среди авторов учебника.

– Хорошая отмазка, – одобрил Старков, презрительно перебрасывая учебник Шакировой.

– Итак, карты посмотрели, – продолжил Служкин. – Теперь по ним давайте попробуем назвать, например, сельскохозяйственные районы.

Красная профессура перечислила все районы, которые нашла, включая Крайний Север с вечной мерзлотой.

– Молодцы, два, – оценил Служкин. – Ставим цифру один, пишем маленький заголовок: «Сельскохозяйственные районы». Ниже ставим букву «а». Первый фактор, от которого зависит развитие в районе сельского хозяйства. Какой фактор вы можете назвать?

Скрипя, пробуксовывая, урок ехал дальше.

– Все, время прошло, – наконец объявил Служкин, подходя к первым партам.

Старков сразу протянул густо исписанный листок. Красная от волнения Спехова что-то лихорадочно строчила. Милая, глазастая троечница Митрофанова встала, подала бумажку и сказала:

– А я почти ничего не написала, Виктор Сергеевич.

– Плохо, Люся. Поставлю кол.

– Дак че, вам же хуже, – усаживаясь на свое место, обиженно сказала Митрофанова. – Колы в журнал ставить нельзя. Придется вам со мной после уроков сидеть, натягивать меня на тройку.

– А ты мне очень нравишься, Митрофанова. Ну, как девушка. Я с тобой после уроков с удовольствием встречусь.

Красная профессура ахнула, Маша Большакова смутилась, а двоечники Безматерных и Безденежных заржали.

– Вам для этого география и нужна, – саркастически заметил Старков. – Вы-то хоть на Люське женитесь, а нам география на что?

– Дурак, – сказала Митрофанова Старкову.

– Конечно, – согласился Служкин. – Вас в загсе никто не спросит о факторах размещения нефтедобывающей промышленности...

– Вот! – обрадовался из чемодана Скачков. – Чего тогда их учить?

– У нас вообще класс с гуманитарным уклоном, – пояснил Старков. – Зачем нам экономика? Мы будем вольные художники.

– Вольный художник – это босой сапожник, – возразил Служкин. – Все умеет, ничего не имеет. Я тоже был вольный художник, а, как видите, без географии не прожил.

– А что вы делали? Стихи писали? – не унимался Старков.  
– Маненечко было, – кивнул Служкин.  
Двоечники Безматерных и Безденежных от смеха сползли вниз.  
– Почитайте... – улыбаясь, попросила Маша Большакова.  
– Да вы их знаете... – отмахнулся Служкин. – Они в учебнике литературы напечатаны. Под псевдонимами.  
– Ну почитайте! – заныла красная профессура. – Нам никто не читал!...

Служкин посмотрел на часы: пять минут до конца урока. Закончить новый материал он все равно бы не успел.

– Хорошо, я почитаю, – согласился он. – Но тогда вы параграф изучите дома сами, а на следующем уроке по нему – проверочная.

Класс негодующе взвыл.

– Искусство требует жертв, – пояснил Служкин.

– Да ладно, чего вы! – обернувшись ко всем, крикнул Старков. – Подумаешь – проверочная! Напишем! Читайте, Виктор Сергеевич.

В кабинете воцарилась благоговейная тишина. Служкин сел на стол.

– Этот стих я сочинил в девятом классе ко дню рождения одноклассника по фамилии Петров. Петров был круглый отличник, комсорг школы и все такое. Называется стих «Эпитафия Петрову». Для тупых поясню: эпитафия – это надгробная надпись. Стих очень простой, смысла нет, рифмы тоже.

Помедли, случайный прохожий,  
У этих гранитных плит.  
Здесь тело Петрова Алеши  
В дубовом гробу лежит.  
Петров на общем фоне казался  
Чище, чем горный снег,  
И враз на него равнялся  
Каждый плохой человек.  
Но как-то однажды утром  
На самом рассвете за ним  
Пришел предатель Служкин  
И целая банда с ним.  
Сказал ему Служкин: «За совесть,  
За множество добрых дел  
Окончена твоя повесть  
Последней главой „Расстрел“».

Петров это выслушал гордо  
И свитер порвал на груди:  
«Стреляй же, империалистический агрессор,  
От красных тебе не уйти!  
А жизнь моя песнею стала,  
Грядущим из рельсовых строк,  
И на пиджаке капитала  
Висит уже мой плевок!»  
Поднял обрез свой Служкин  
И пулю в Петрова всадил,  
И рухнул Петров под грамотой,  
Которой его райком наградил.  
Застыньте, потомки, строем,  
Склоните знамена вниз:  
Душа Петрова-героя  
Пешком пошла в коммунизм!

Стихи красной профессуре страшно понравились, но вот проверочная работа на следующем уроке с треском провалилась.

## Ветка

Служкин позвонил, сначала за дверью было очень тихо. Потом почему-то раздался грохот, и дверь стремительно распахнулась.

– Привет, это я, твой пупсик, – входя, сказал Служкин.

– Витька-а!... – закричала высокая девушка в мелких черных кудряшках и повисла у него на шее.

Служкин ногой захлопнул за собой дверь. В прихожую из комнаты вышел хмурый мальчик лет пяти.

– Здорово, Шуруп, – сказал Служкин, ссаживая девушку.

– Чего ты мне принес, дядя Витя? – сразу спросил хмурый мальчик.

Служкин порылся в карманах куртки и вытащил пластмассового солдатика – монстра с собачьей мордой, в шипах, в шлеме, с бластером.

– Ты мне такого уже дарил, только он был зеленый, как понос.

– Шурка! – крикнула мама. – Грубиян, весь в своего папашу!

– Ну, давай обратно, – предложил Служкин. – Сам играть буду.

– Фиг, – подумав, ответил мальчик и ушел в комнату.

Служкин начал снимать куртку и поинтересовался:

– А благоверный где?

– Колесников-то? На работе, где же еще?

– Слава богу, – сказал Служкин и вытащил из куртки бутылку.

– Витька! Ты воще!... – выхватывая бутылку, закричала женщина. – Портвяга! Я сто лет уже мечтала нажраться! Пошли!

Проходя в кухню, Служкин флегматично заметил:

– С одного флакона не нажремся, Ветка.

– А ты Татку из садика сюда приводи, а я пока еще сгоняю. Татка же нормально с Шурупом играет...

– Нельзя, Ветка, – вздохнул Служкин, открывая бутылку.

– Жаль, – разливая портвейн по чашкам, призналась Ветка. – Ну, как там у тебя в школе? Молоденькие-то училки есть?

– Есть, да не про мою честь, – выпив и закулив, неохотно сказал Служкин. – Лучше ты рассказывай. Как там твой любовник-то? Все еще в кино тебя снимать хочет?

– Козлов-то? Козел – он и есть козел, – с чувством произнесла Ветка. – Я его уже послала, куда не ходят поезда. Я теперь, Витька, в другого влюбилась. В летчика. Точнее, бывшего летчика. Ему Колесников менял пьяные номера на обычные, он и пригласил в гости. Колесников меня с

собой взял. Сам нарезался и упал под стол, а мы с этим летчиком заперлись в ванной и трахались. Я чего-то боюсь, уж не залетела ли я тогда?...

– Хорошенькое дело – в ванной, – мрачно пробормотал Служкин. – Залетайте в самолетах «Аэрофлота»...

Из комнаты вдруг раздался басовитый рев. Ветка чертыхнулась, вскочила и убежала. Служкин снова закурил и открыл окно.

Веткин дом стоял недалеко от берега Камы, от черного, мрачного котла затона. Служкин курил и смотрел, как мимо дебаркадера, мимо разведенного наплавного моста, словно бы брезгливо оскалившись, проплывает высокий и длинный речной лайнер, возвращающийся на стоянку после навигации. Лайнер медленно плыл под яростным золотом зарослей на дамбе, от которого вода отмелей казалась древесного цвета, будто коньяк. Плыл мимо рыжих склонов, где валялся ржавый хлам – тросы, мятые бакены, какие-то гнутые и рваные конструкции, содранные с кораблей.

Вернулась Ветка, и Служкин выбросил окурочек.

– Как там у вас дела с Надькой? – спросила Ветка, снова разливая портвейн.

– Все чики-пуки, – сказал Служкин и, подумав, добавил: – Недавно порешили мы с ней прекратить наши постельные встречи, вот так. Ей неохота... да и мне неохота. Взяли и завязали.

– Хоба-на! – изумилась Ветка, вытаращив глаза. – И с кем ты?...

– Ни с кем.

– Ни фиги себе! – Ветка хлопнула полчашки портвейна. – А эта твоя дура, как ее... Ру... Ру... ну, Сашенька.

– Рунева, – подсказал Служкин. – Она Будкина любит.

– Ну и что? – искренне не поняла Ветка.

– Да ну тебя... Не объяснить. Нет, и все.

– Заведи любовницу, – посоветовала Ветка.

– Заведу, – согласился Служкин. – Тебя вот.

– А что? Классно! – оживилась Ветка. – Будем опять, как тогда, после школы, помнишь? Зашибись было! Ты не загружайся насчет этого. Подумаешь! Наплюй. Я-то тебя люблю, Витька, честно. С седьмого... нет, с девятого класса. Я тебе позвоню, как только Колесников свалит куда-нибудь на подольше. Приходи – оторвемся, как раньше!

– Приду, – кивнул Служкин. – Оторвемся, конечно. Заедет и на мой двор «КамАЗ».

...На Новый год родители потащили Витьку с собою к друзьям. Там же оказалась со своими родителями Веткина из восьмого «Б». Их обоих,

чтобы не мешали, отправили в дальнюю комнату смотреть «Голубой огонек». До этого Витька с Веткой даже не здоровался, даже не знал, как ее зовут, хоть и видел в школе каждый день. Витька молча повалился на диван, закутался в плед и стал смотреть телевизор. За стеной раздавалась музыка, звон посуды, смех, шарканье ног.

Ветка сидела на стуле, но ей было плохо видно. На экране с визгом плясали толстые женщины в полушубках и кокошниках. На них падал бутафорский снег. Ветка встала, закрыла дверь, щелкнула задвижкой и села поближе к телевизору на диван. Потом она сказала, что ей холодно, и укрыла колени уголком пледа. Потом сбросила тапки и забралась под плед. Она первая притиснулась к Витьке и полезла руками. Витька тоже потащил вверх ее юбку. До самого конца «Голубого огонька» они возились друг с другом. Потом попробовали сделать все как взрослые, но ничего не вышло. Потом Ветка уснула, и Витька, отвернувшись, тоже уснул.

Никакой дружбы после этого между ними не началось, словно бы и не было ничего вовсе. Они по-прежнему не разговаривали и не здоровались, только при случайных встречах в школьных коридорах Ветка начинала хохотать как ненормальная. Витька делал вид, что ее смех к нему не относится, хотя сам глубоко недоумевал и даже чувствовал себя уязвленным непонятно почему.

## Лена

Серым утром Служкин вышел из подъезда, ведя за ручку Тату.

– Папа, а я не хочу в садик, – сказала Тата.

– А я хочу, – признался Служкин, останавливаясь закурить. – Не понимаю, почему бы нам с тобой не поменяться?... Ты будешь ходить за меня на работу?

– А там бьют? – поинтересовалась Тата.

– Бьют, – честно ответил Служкин. – А тебя в садике разве бьют?

– Меня Андрюша Снегирев мучит. Щипает, толкает...

– Дай ему в рог, – посоветовал папа.

– Он Марине Петровне нажалуется.

– Тогда сама на него нажалуйся.

– Он еще сильнее меня мучить будет.

– Да-а... – протянул Служкин. – Заколдованный круг. Ладно, я поговорю с его мамой. Ты мне покажи ее, хорошо?

Они остановились у перекрестка, на котором лежало звездообразное озеро грязи. Посреди него в буром тесте сладострастно буксовала иномарка, выбрасывая из-под колес фонтаны. Служкин взял Тату под мышки и перенес на другой тротуар, высоко задирая колени.

– Папа, а ты мне купишь вечером жвачку с динозаврами?

– Куплю, – пообещал Служкин.

– А в зоопарке динозавры есть?

– Нету. Они вымерли давным-давно.

– А почему они умерли?

– Съели друг друга до последнего.

– А последний?

– Последний сдох от голода, потому что некого больше было есть.

– Папа, а они были злые?

– Да как сказать... – задумался Служкин. – По большей части они были добрые. Некоторые даже слишком. Но добрых съели первыми.

Служкин и Тата завернули в ворота садика, и Тата, вырвав ручку, побежала к дверям. В длинном голубом плащике и синей шапочке она была похожа на колокольчик.

Служкин вслед за Татой вошел в раздевалку. Здесь была только одна мама, которая возилась с сынишкой. Служкин посадил Тату на стульчик, опустил на корточки и стал расшнуровывать ей ботинки.

Сзади подошел мальчик с игрушечным пистолетом.

– Я тебя жаштрелю, – сказал он, наводя пистолет на Тату.

Тата испуганно глядела на Служкина.

– Андрюша, иди ко мне, – позвала мама, и мальчик отошел.

– Папа, это Андрюша Снегирев, – сказала Тата.

– М-м?... – удивился Служкин. – Понятно теперь...

Он переодел Тату и убрал все уличное в шкафчик с елочкой на дверке. Тата слезла со стула, Служкин поцеловал ее в щеку, и Тата побежала в группу. Оттуда донесся ее звонкий крик:

– Марина Петровна, здравствуйте!...

Служкин подошел к маме Андрюши Снегирева и дружелюбно сказал:

– Бойкий у вас мальчик.

– Да уж... – ответила женщина оборачиваясь.

– Лена?... – изумленно спросил Служкин.

– Витя?... – растерялась женщина.

Она тотчас опустила голову, застегивая сыну рубашку, но Служкин видел, как порозовели мочки ее ушей. Пораженный, Служкин молчал.

– Беги, Андрюша, – сказала Лена и легонько шлепнула сына.

Андрюша побежал в группу, по дуге обогнув дядю. Лена и Служкин переглянулись и молча вышли на крыльцо.

– Ты, значит, теперь Снегирева, а не Анфимова...

Лена виновато улыбнулась.

– А мне Андрюша говорил: «Тата Шушкина, Тата Шушкина»... Я думала – Шишкина или Сушкина...

– Или Пушкина. Сколько лет мы с тобой не виделись?

– Со школы, – тихо сказала Лена.

– А ты все такая же красивая... – задумчиво произнес Служкин. – Только располнела...

– А ты все такой же грубиян, – ответила Лена.

– Извини, – смутился Служкин.

– Ничего. – Лена ласково коснулась рукой его локтя. – Это я после Оли начала толстеть.

– Какой Оли?...

– Дочки Оли. У меня еще дочка есть. Годик с небольшим.

– Вот тебе и раз... – только и нашел что сказать Служкин, но тотчас поправился: – То есть вот тебе и два...

Лена засмеялась. Голос у нее был нежный и слабый.

– Мне торопиться надо, Витя, – пояснила она. – Дома с Олей муж сидит, а ему на работу. Ну... до свидания.

Она еще раз улыбнулась Служкину и пошла к воротам садика: светловолосая симпатичная молодая женщина в дешевом, мутно-бордового цвета плаще. Женщина, а не девушка и тем более не девочка, какой ее знал, а потом помнил Служкин.

...До репетиции клуба «Бригантина» Витька околачивался в школе. Он одиноко слонялся по пустым коридорам, рассматривал тысячу раз виденные плакаты, из интереса зашел в женский туалет, потолкался в двери кое-каких кабинетов, в спортзал. Наконец он увидел вдалеке Лену Анфимову и Колесникова. Неизрасходованная энергия забила в нем ключом. Несколько минут он вдохновенно шпионил, прячась за углами и в нишах. Потом Леночка и Колесников уселись на подоконник черной лестницы, и Витька бесшумно обогнул их по верхнему этажу, на цыпочках прокрался на лестничную площадку над ними. Негромкие голоса в тишине звучали вполне отчетливо.

– Ну и что? – спросил Колесников.

– Ничего, – ответила Лена.

– Они и не собирались.

– А мне какая разница?

– Ну... значит, ты остаешься дома?

– Дома.

– А как насчет моего предложения?

– Какого?... А-а... Я не знаю... Ну извини... Мне страшно...

– Чего страшного-то? Со мной же, не с кем-то.

– Все равно... Давай в другой раз...

– Фиг ли в другой-то, Ленка? Когда он будет?

– Ну, будет, наверное...

– Ага, «наверное»... Фиг ли время тянуть?

Леночка молчала.

– Ладно, я приду, – наконец тихо сказала она.

Витька отошел и перевел дыхание. В груди его ныла тоскливая ревность. Обидно, что Колесо все же подбило Леночку на какое-то совместное дело. Ну и фиг. Витька разозлился и пошагал прочь.

Вечером, когда Витька совсем было собрался идти к Будкину, в дверь позвонили.

Витька пошел отпирать и увидел Колесникова.

Витька уже устал изумляться житейской простоте Колесникова. Колесо был способен днем подраться с человеком, а вечером прийти кланчить у него, скажем, велосипед покататься.

Колесников прошел на кухню и стал наливать себе чай.

– Родичи-то твои когда приедут? – спросил он.

– В субботу.

– Везет тебе. Мои тоже обещали уехать к бабке в деревню, а сегодня передумали, козлы. А я уже одну бабу пригласил к себе домой. Чего ей теперь скажу, а?

– Какую бабу? – хмуро спросил Витька. – Анфимову, что ли?

– Ну.

– Она бы все равно не пришла, – почему-то сказал Витька.

– С фи́га ли? – хмыкнул Колесников. – Обещала уже, понял?

Витька помрачнел. Злоба на Леночку, на этого дурака Колесникова разъедала ему душу.

– Это от квартиры ключи? – спросил Колесников, цапая с подоконника связку. – Дай мне до завтра, а? У тебя же еще родительские ключи есть, да?

– Положи на место! – вскипел Витька.

Колесников быстро сунул ключи в карман.

– Че ты, – хихикнул он. – Потом отдам, не посею. Ты же вечером все равно с Будкиным гулять пойдешь, а я сюда с Анфимовой приду...

– Не пущу я тебя в квартиру! – возмущался Витька, не решаясь силком выдирать у Колесникова ключи.

– Ничего я твоей квартире не сделаю! Как пацана прошу... Или ты че, влюбился в Анфимову, да? Она же страшная, ее на горке даже мацать никто не хочет. Влюбился, да?

Сердце у Витьки тяжело заколотилось, а мысли смешались. С Колесом всегда так: не поймешь почему, но всегда делаешь то, чего ему надо.

Колесников удовлетворенно похлопал себя по карману с ключами и из другого кармана вытащил пачку презервативов.

– Зырь, – предложил он.

Он распечатал один, натянул его на палец, повертел пальцем перед глазами и заржал, словно в жизни ничего смешнее не видел.

– Я их у тебя оставляю, – сообщил он. – А то если мои предки найдут их, меня вообще зарежут. За что, спрашивается? Радоваться нужно, что сынуля ими пользуется, а не просто так.

Колесников открыл холодильник и положил презервативы в дверку.

– Тебе Анфимова все равно не даст, – безнадежно сказал Витька.

– Даст, – уверенно заявил Колесников. Подумав, он беззаботно добавил: – Ну, не даст, так я ей пососать велю.

Этот разговор каждым словом бил Витьку под дых. Он сидел скорчившись, молча. Колесников шумно хлебал чай.

– Колесников, а тебе самому кто-нибудь предлагал пососать? – мертвым голосом спросил Витька.

– Еще, Витек, не нашлось такого резкого парня.

– Колесников, а пососи у меня, – предложил Витька.

Наконец Колесников отвалил, выбросив презерватив, который он натягивал на палец, в мусорное ведро. Витька достал его оттуда, завернул в бумажку и сунул в карман, чтобы при случае выбросить. Мама с папой, наверное, тоже его зарезали бы, если бы увидели в ведре презерватив.

Потом прямо в одежде Витька забрался под одеяло и затащил с собой магнитофон. Он поставил кассету Высоцкого и слушал ее долго-долго. Постепенно ему становилось легче. Это его в санях увозили к пропасти кони. Это его, расписанного татуировками зэка, парила в бане хозяйюшка. Это он уносил на руках из заколдованного леса Леночку Анфимову.

Витька вылез из-под одеяла и пошел варить суп. Он рассчитывал, что родители завтра вернутся домой и он их сразу накормит. Не было только хлеба. Разделавшись с супом и выключив газ, Витька оделся, взял деньги и авоську и пошел в магазин.

Купив хлеба, Витька прежним путем направился обратно. Он уже почти вышел с территории Кирпичного Завода, как навстречу ему попались три пацана, которые заступили дорогу.

– Ты откуда? – спросил один. – С Речников?

– Из Кировского поселка, – соврал Витька, от страха облившись потом. Голос его сделался тоненьким. Кировский поселок был нейтрален и к Речникам, и к Кирпичному Заводу.

– Ну, из Кировского, – хмыкнул один из «кирпичей». – А чего зассал тогда? – спросил он напрямик.

Витька не сообразил, что ответить, и влип.

– Деньги есть? – осведомился «кирпич».

– Нету... – пропищал Витька.

– Дай ему в рыло, Пона, – предложил один из «кирпичей».

«Кирпичи» ухватили Витьку и обшарили карманы. Деньги они взяли себе, а ключи от квартиры и прочую ерунду, что нашлась, бросили в грязь. Один из «кирпичей» развернул извлеченный из Витькиного кармана бумажный комоч и обнаружил в нем презерватив.

– Зырь, мужики, – ошарашенно сказал он и спросил у Витьки: – Ты что, от Борозды идешь, что ли?...

– Ну, – ответил Витька, понятия не имея, кто такая Борозда.

– И она тебе дала?

– Еще и в рот взяла, – ляпнул Витька.

«Кирпичи» немного притихли.

– Ладно, рубль мы возьмем, а остальное – на, – порешили они, возвращая Витьке мелочь и поднимая ключи. – И больше нам не попадайся, понял?

«Кирпичи» обогнули Витьку и пошли дальше. Витька измученно поплелся домой. Несмотря на чудесное спасение, радости у него не было. Он шел и уныло считал, где и кто его может побить. «Кирпичи» – раз, шестнадцатая школа – два, за дорогой – три, детдомовские – четыре, Бизя и его банда – пять, за гаражами – шесть, пэтэушники – семь, ну и так, вообще, мало ли резких бывает...

Первое, что услышал Витька, когда вошел в свой подъезд, – это бодрый голос Колесникова и звон ключей. Витька тотчас вспомнил, что гнусное Колесо уволокло ключи от его квартиры, собираясь вечером затащить сюда Леночку Анфимову. Мгновенно разъярившись, Витька винтом взвился на свой этаж, но увидел лишь закрывающуюся дверь, а за ней – спину Колесникова. «Значит, Лена все-таки пошла!...» – с ужасом и отчаяньем подумал Витька, хватая дверь за ручку.

– Стой, Колесников! – крикнул он.

Колесников оглянулся, увидел Витьку, шепнул что-то в глубь квартиры и шустро выбежал на площадку. Дверь он прикрыл и прижал задом.

– Ты чего? – неестественно ухмыляясь, спросил он.

– Ты же говорил, вечером придешь... – задыхаясь от подъема, сказал Витька.

– А сейчас что, утро, что ли?

– Я это... – замялся Витька. – В общем, нельзя ко мне...

– Предки приезжают? – тревожно спросил Колесников.

– Нет... Я сам... не хочу, понял? – бормотал Витька, переминаясь с ноги на ногу и не глядя Колесникову в глаза.

– Ты чего, офигел, Витек? – обиделся заметно ободрившийся Колесников. – Сперва «давайте приходите», потом «пошли вон»! Так пацаны не поступают!

Колесников на глазах обретал напор.

– Не хочу я, чтобы вы тут... – растерянно повторил Витька.

– Ага, ну – ща! – взмахнул руками Колесников. – Ты чего, Витек, баба, что ли? Захлыздил? Анфимова и то не боится, а ты!... Не кани, про это, кроме наших, никто не узнает – слово пацана. Чего я Анфимовой-то скажу? Служкин, мол, козел, «уходите» говорит? Чего ты перед ней позоришься-то, как защеканец? Она кому расскажет, что ты зассал, так пацанам с тобой здороваться запаadlo будет! Ладно, не трусь, я никому не скажу – слово.

Витька сопел и молчал, сбитый с толку.

– Или ты сам с Анфимовой хотел? – Колесников попытался заглянуть Витьке в лицо. – Так она с тобой не пойдет, Витек. Я ее спрашивал про тебя, она говорит, что ты вообще какой-то пробитый, чухан, короче. Ну, в общем, дура она, ни фига в людях не понимает.

Колесников приоткрыл дверь и задом полез в щель. Витька стоял на площадке неподвижно, молча, опустив голову.

– А ты к Будкину иди, – посоветовал Колесников и захлопнул дверь. Потом он снова приоткрыл ее и добавил: – Я часов до семи. Анфимовой в восемь домой надо.

Дверь закрылась.

Витька еще постоял, раздавленный словами Колесникова, да и всем случившимся. Он совершенно потерялся и даже немного обалдел. Как это у Колесникова получается, что все делают для него то, чего им и делать-то противно?

Витька развернулся и поплелся вниз по лестнице, стуча батоном по прутьям перил.

Окончательно сломленный жизнью, Витька посидел у Будкина и побрел домой. Вздвинченность у него сменилась глухим, тоскливым страхом. Витьке от отчаянья хотелось взять пистолет, пойти и застрелить и Колесникова, и Леночку Анфимову, да и многих других. Пусть потом его лучше судят за убийство, чем за то, что было на самом деле – стыдное, трусливое, глупое. «Хоть бы ядерная война началась...» – тоскливо думал Витька. Бомба – трах! – и никаких проблем. Ни за что не надо отвечать. Чистая Земля. И пусть не станет его самого – никто ведь не заплачет. И плакать-то некому будет. Себя Витьке было не жалко. Правильно Лена Анфимова сказала про него – чухан. Так и надо. Но и остальным гибель тоже поделом будет. За что они все на Витьку напали? Ненавистью своею, или равнодушием, или даже своими удовольствиями, своим покоем за его счет – чего они все его мучают?

Витька посмотрел на часы: семь пятнадцать. Колесо уже должно укатиться. Интересно, что у него с Леночкой получилось?... А-а, плевать.

Витька сунул ключ в скважину замка, но повернуть не смог. Заперто изнутри на кнопку. Значит, Колесников и Лена еще в квартире? Озверев, Витька надавил на звонок и держал палец, пока Колесников не открыл.

– Чего растрезвонился-то?! – зашипел, отпихивая Витьку грудью и выходя на площадку.

Колесников был в трико и майке.

– Три часа кобенилась, я ее только-только уломал, тут ты звонишь!... –

выпучив глаза, сообщил он. – Погуляй еще часик, че тебе? У меня уже все на мази – вот-вот, и готово будет!

«Леночка еще не разрешила ему!...» – прострелило у Витьки в голове. Бешеная радость вмиг затопила грудь. Может, еще не все потеряно?...

– Уматывай! – решительно сказал Витька Колесникову. – Хорош! Я больше гулять не буду!

– Ну, еще полчасика, Витек...

– Все, Колесников!

Колесников вдруг юркнул за дверь. Витька успел вцепиться в ручку и рванул на себя. Колесников проворно высунул из-за двери босую ногу и пнул Витьку в живот. Витька ахнул, и выпустил ручку.

Дверь захлопнулась.

Витька повис на перилах и выпустил меж пролетов длинную, тягучую слюну. Дыхание сквозь спазм пробиралось обратно в грудь, как жилец в разрушенный дом. Из-за двери донеслось громкое кряканье пружин. Это Колесников разложил диван. Витька понял – зачем.

Он подскочил к двери и принялся звонить. Звонок поорал, а затем умолк – видно, Колесников выдернул провод. Тогда Витька стал пинать в дверь и кричать:

– Ко-ле-со!... Вы-хо-ди!... Ко-ле-со!... Вы-хо... Дверь неожиданно раскрылась, едва не двинув Витьке по лбу. Колесников, взбешенный, стоял на пороге.

Витька, не размышляя, ударил его в глаз. Тотчас Колесников звезданул Витьку в зубы, а потом коленом в пах. Из Витьки мгновенно вылетели все мысли и чувства. Боль заполнила его по самую пробку и свернула в зародыш.

Присев на корточки, Колесников посмотрел, как Витька корчится, и виновато сказал:

– Сам напросился, дурак...

Затем босые ноги Колесникова ушлепали в квартиру.

Витька еще повалялся на полу, а когда отпустило – сел. Из разбитой губы на подбородок текла кровь. Витька поднялся. Душа его была как футбольный мяч, проколотый сразу в нескольких местах и свистевший всеми дырками. На лестничной площадке в окне между двумя рамами у Витьки был тайник. Он достал из тайника сигарету и поплелся вниз.

У подъезда Витька сел на лавочку, освещенную окнами первого этажа, и неумело закурил. Фильтр лип к окровавленной губе, курить было противно, но Витька все равно курил. Он думал о Леночке Анфимовой, но думал без всякого чувства. Он был готов простить ей Колесникова, лишь

бы она сейчас пришла к нему и спасла его от одиночества.

Но он знал, что Леночка не придет. Также он понимал, что своей дракой с Колесниковым он, наверное, даже не остановил Леночку, а наоборот – дал Колесникову возможность забрать у нее то, чего она не осмеливалась отдавать. Там, наверху, Колесников сейчас скажет Лене: «Ну давай живее! Телилась тут три часа, как дура, а теперь этот гад пришел, и времени не осталось! Ложись скорей!» – именно этими словами. И Леночка не обидится, не уйдет, а сделает то, чего он приказывает. И даже не потому, что шибко его любит, а потому, что это – Колесников. Такая у Колесникова судьба. А у Витьки судьба другая. И о нем, о Витьке, Леночка и не вспомнит. Так всегда.

Дверь подъезда бабахнула на пружине, и Витька поднял голову. Мимо него, отвернувшись, прошла Лена. Она уходила домой одна, и Колесников ее не провожал. Витька глядел Лене вслед, в глубину улицы, редко освещенной синими фонарями. Когда Леночка почти скрылась, Витька вдруг вскочил и побежал за ней.

Леночка оглянулась, не узнавая Витьку, и пошла быстрее. Витька поравнялся с ней. Она испугалась, подавшись в сторону.

– Ленка, это я, – сказал Витька.

– Господи!... – выдохнула Лена. – Ты чего?

– Давай я тебя провожу... – тоскливо предложил Витька.

– Не надо, – ответила Лена и отвернулась.

Витька потащился следом, сам не зная зачем.

– Служкин, будь человеком, отвяжись, – жалобно попросила Лена.

Витька не ответил и не отвязался. Они шли молча.

– Уйди, уйди, уйди! – вдруг закричала Лена и побежала. Витька тоже побежал. Лена остановилась и разревелась. Витька затормозил поодаль. Он хотел ее утешить, но не знал как.

Они добрались до ее дома. Лена вошла в подъезд, а Витька остался на улице. Некоторое время он стоял под козырьком подъезда, но потом внезапно распахнул двери, влетел в подъезд и услышал шаги Леночки уже тремя этажами выше. В голове у Витьки что-то кувыркнулось, и он заорал на весь дом:

– Ленка Анфимова – ду-у-ура!...

## Отклонение от темы

Служкин проводил самостоятельную работу в девятом «Б». Заложив руки за спину, он вкрадчивой походкой перемещался вдоль рядов.

– Бармин, окосеешь. Петляева, вынь учебник из парты. Тютин, не с той страницы списываешь. Пospelова, я у тебя уже две тетрадки отнял и третью отниму! Чебыкин, я тебе честно говорю, что у Смирновой суццая ерунда написана, так что не вертись. Деменев, ты и фамилию у Шахова тоже спиши – для честности.

На учительском столе высилась стопа конфискованных учебников и тетрадей. Быстро развернувшись, Служкин рывкнул:

– Рукавишников, если еще раз попытаешься украсть тетрадь с моего стола, сразу поставлю единицу, ясно?

Класс шумел, шептался, ерзал. На доске белели два столбика вопросов для самостоятельной: вариант «а» и вариант «б».

– Время! – наконец объявил Служкин и стал бесцеремонно выдирать листочки прямо из-под рук ожесточенно строчивших учеников.

Собрав работы, Служкин раскрыл журнал и сказал:

– Ну а теперь выясним, как надо было отвечать на вопросы. Первый вариант, первый вопрос – Пospelова.

Наугад вызывая девятиклассников, Служкин с трудом добился всех ответов, выставил десять оценок и спросил:

– И кто же на все вопросы ответил правильно?

Над макушками девятого «Б» косо поднялась единственная рука.

– Овечкин – пять, – сказал Служкин, выводя в журнале пятерку, а листочек отдавая Овечкину. – Вы дураки, – дружески пояснил он всем. – В плечах аршин, а на плечах кувшин. Вы же понимаете, что я еще всех вас не запомнил. Ну, так за одной партой и писали бы вдвоем один вариант. Уж на тройку-то натянули бы.

– Так вы бы сразу сказали, Виктор Сергеевич!... – обиженно закричал девятый «Б».

– Что я, себе враг, – усмехнулся Служкин.

– А мы с Демоном так и сделали! – счастливо смеясь, сообщил Шахов, и Служкин, ухмыляясь, тотчас выставил двойки Шахову и Деменеву в журнал.

– Дураков на сказки ловят, – под хохот класса пояснил он. – Итак, записываем тему урока: «Исторически сложившиеся экономические

регионы России».

Изнывая и сетуя, девятый «Б» склонился над тетрадами.

– А вы, Виктор Сергеевич, сами-то бывали там, про что нам рассказываете? – недоверчиво спросил Чебыкин.

– Кое-где бывал.

– А на Черном море, про которое пишем, бывали?

– Черное море большое, – резонно заметил Служкин.

Девятиклассники начали выкрикивать названия черноморских городов, в которые затесались Юрмала и почему-то Красноярск.

– Виктор Сергеевич, а свозите нас всем классом куда-нибудь на юг! – попросил неугомонный Чебыкин. – Вы же географ!

– Не-ет, братцы, – отказался Служкин. – Юг нам сейчас не по карману...

– Ну, куда по карману, – согласился девятый «Б». – В поход какой-нибудь... Вы ведь наверняка в походы ходите?

– Бывает, – кивнул Служкин.

– А сколько килограммов рюкзак вы можете поднять? – расширив глаза, спросила Пospelова.

– Ну, килограммов триста, – небрежно ответил Служкин.

– А в какие походы вы ходите? – поинтересовался дотошный и обстоятельный Бармин по кличке Борман. – Пешком, в горы или по речке?

– Люблю по речкам сплавляться.

– У нас физичка тоже в походы ходит, – сообщил Тютин. – Она обещала нас сводить, только не сводила.

– Виктор Сергеевич, сводите нас в поход!... – нестройно и умоляюще заныли девятиклассники. – Сводите, Виктор Сергеевич!... Ну пожалуйста! Сводите!... Пока тепло, на речку!...

– А школа? – озадачился Служкин.

– Да нас отпустят! Только рады будут избавиться!...

– Ну, я подумаю... – неуверенно согласился Служкин.

– Нет! – отчаянно закричал девятый «Б». – Физичка тоже подумала! Вы точно обещайте! Мы вам всю географию выучим! Мы весь год писать будем молча, как у Розы Борисовны! Только обещайте!

– Давайте об этом после урока поговорим, – пошел на компромисс Служкин. – Мне же надо вам еще новый материал рассказать...

– Не хотим! Не хотим географию! – орали со всех сторон. – Расскажите нам лучше про походы, в которые вы ходили!...

– А исторически сложившиеся экономические регионы?

– Мы дома сами по учебнику прочитаем!...

– Мне однажды девятый «А» уже обещал нечто подобное и надул меня, как Кутузов Наполеона.

Возмущенный рев прокатился по классу.

– По девятому «А» людей не судят, – значительно произнес Овечкин.

– Ладно, сделаем так, – все-таки сдался Служкин. – Вы читаете учебник и во вторник пишете самостоятельную. Вопросы будут сложные, на понимание. Кто напишет на «пять» – тех беру в поход.

Он вздохнул, сел на свой стол и начал рассказывать, как переворачиваются в стремнине байдарки и пороги валами смывают экипаж с катамарана, как по весне вздувшиеся реки прут через лес, как зарастают лопухами летние перекаты, как скрипят над головами старые деревянные мосты, как парусят на ветру палатки, как ночами горят красные костры на черных крутых берегах, как в полдень воздух дрожит над раскаленными скалами, как в напряженных руках сгибается в гребке весло и какая великая даль видна с вершины любого прибрежного утеса. Это была самая интересная география и для Служкина, и для всех прочих. Прозвенел звонок, и девятиклассники тучей облепили служкинский стол, забрасывая географа вопросами о походе.

– Потом! Потом! – отмахивался Служкин.

– Виктор Сергеевич, вот список тех, кто пойдет в поход. – Овечкин просунул между чужих локтей мятую бумажку с фамилиями.

– Во вторник узнаем, кто пойдет, – настоял на своем Служкин.

## Отлучение от мечты

В понедельник после первой смены в кабинете физики проходил педсовет. Служкин явился в числе первых и занял заднюю парту. Кабинет постепенно заполнялся учителями. В основном это были пожилые тетеньки с добрыми лицами и женщины средних лет с размашистыми движениями и сорванными голосами. Пришли физрук и две физручки – все трое похожие на лошадей, одетые в спортивные костюмы, со свистками на груди. Молоденьких учительниц тоже было порядком, но в их облике не хватало какой-то мелочи, отчего даже самые симпатичные из них вызывали желание лишь крепко пожать им руку.

Вошел директор, блестя очками. Затем, беседуя одновременно с двумя или тремя учителями, вплыла Роза Борисовна. Все расселись, шум голосов затих, и только педсовет начался, как в дверь постучали. Угроза тихо закипела.

– Прошу прощения, – направляясь вдоль стены в глубь класса, хладнокровно сказала опоздавшая учительница.

– Педсовет для всех начинается в одно и то же время, Кира Валерьевна, – ледяным тоном сказала Угроза.

Служкин с интересом уставился на Киру Валерьевну, которую до сих пор еще не встречал в учительской. Строгий черный костюм и отточенная, надменная красота Киры Валерьевны не оставляли сомнения в ее праве опоздать на минуту, на час, на год на все педсоветы мира. Кира Валерьевна села за соседнюю со служкинской парту и невозмутимо раскрыла перед собой яркий журнал мод.

Служкин не слушал, что говорили Угроза и директор. Он смиренно сложил руки и глядел в окно. За окном стоял холодный осенний день и была видна лишь бесконечная линия верхних этажей длинного высотного дома. Его крыша как ватерлиния отсекала нижнюю часть сизого облака, которое медленно ехало вдоль небосклона. Облако напоминало авианосец, и на фоне этого дрейфа профиль Киры Валерьевны выглядел особенно выразительно.

От созерцания профиля Служкина оторвало собственное имя, произнесенное Розой Борисовной. Служкин перевел взгляд.

– ...вопрос с дисциплиной тоже стоит довольно остро, – говорила Угроза. – Я понимаю, что Виктор Сергеевич не имеет никакого опыта педагогической деятельности. Но ведь уже прошел определенный срок, что

позволяет спросить о результатах. Учителя соседних классов жалуются на постоянный шум в кабинете географии.

Кабинет географии находился в тупике коридора, а рядом с ним был только кабинет истории. Историчка сидела со страдальческим выражением лица и не глядела на Служкина.

– На уроках географии стиль общения учителя с учениками весьма фриволен, – продолжала Угроза. – Учитель, не соблюдая дистанции, держит себя наравне с учениками, вступает в перепалки, сидит на столе, отклоняется от темы урока, довольно скабрёзно шутит, читает стихи собственного сочинения...

Среди учителей послышался шум и смешки. Служкин окаменел скулами, глядя в никуда, но краем глаза увидел, что профиль на фоне авианосца на некоторое время превратился анфас.

– Естественно, что подобное поведение учителя провоцирует и учеников. Следствие того – катастрофическое падение дисциплины и очень слабая успеваемость. А в пятницу мне сообщили, что в ближайшем будущем Виктор Сергеевич планирует еще и туристический поход с девятым «бэ». Причем посоветоваться с администрацией он не счел нужным. Но как можно допустить этот поход? Я не ставлю под сомнение туристический опыт Виктора Сергеевича, но если у него в путешествии будет такая же дисциплина, как в школе, то это может закончиться катастрофой. Я не дам добро на подобное мероприятие.

Разделав Служкина, Угроза переключилась на другую тему. Озлобленный, багровый Служкин еле дождался конца педсовета и сразу ринулся к Угрозе.

– Свои аргументы я уже изложила, – холодно сказала ему Угроза.

– Тогда, Роза Борисовна, изложите их и тем ребятам, которые собирались пойти со мной, – отчаянно заявил Служкин. – Я не хочу в их глазах быть, как они говорят, Обещалкиным по вашей вине.

Роза Борисовна осмотрела Служкина с головы до ног.

– По – вашей – вине, – отдельно произнесла она. – И если вы не нашли в себе мужества посоветоваться о походе со мной, то найдите его, чтобы самому расхлебать кашу, которую, извините, заварили.

– С вами я не посоветовался потому, что обещал взять в поход лишь тех ребят, кто напишет на «пять» самостоятельную, а самостоятельная будет только завтра, – пояснил Служкин. – И я не идиот, чтобы брать в поход тех, кто не станет мне подчиняться.

– Даже если они напишут самостоятельную на «пять»?

– Они напишут ее на такую оценку, на какую мне будет нужно.

Завышать оценку я не собираюсь, но занижить можно всегда.

– У вас интересный подход к оценкам. Боюсь только, что он идет вразрез с традиционным. Но видимо, вы его активно применяете, если судить по количеству двоек по вашему предмету.

– Количество двоек по географии у всех классов – или у девятого «вэ», который вы имеете в виду, – не имеет отношения к моему походу с десятью – пятнадцатью учениками из девятого «бэ».

– Ошибаетесь, Виктор Сергеевич. Успеваемость по предмету всегда зависит от учителя. Не бывает хороших учителей, у которых все ученики двоечники, поверьте моему опыту. Следовательно, низкий уровень успеваемости говорит о том, что вы – плохой педагог. И этим походом я не хочу создавать плохому учителю ложную популярность. Благо вы в этом преуспели и без турпоходов.

## Мясная порода мамонтов

Будкин сидел за рулем и довольно хекекал, когда «запор» особенно сильно подкидывало на ухабах. Усердно тарахтя, «запор» бежал по раздолбанной бетонной дороге. Параллельно бетонке тянулись рельсы, и некоторое время слева мелькали заброшенные теплушки. За ними влажной сизой полосой лежала Кама. Небо было белое и неразличимое, словно его украли, только полупрозрачные столбы света, как руины, стояли над просторной излучиной плеса. В текучем и водянистом воздухе почти растворился дальний берег с бурыми кручами песка и косой фермой отшвартованной землечерпалки. На реке бледно розовел одинокий бакен.

Бетонка и рельсовый путь вели на завод. Уже началась дамба, и справа от дороги в голых низинах блестели плоские озера на заливных лугах. В этих озерах заканчивался рукав затона. Заросли кустов и редкие деревья вдоль обочины стояли голые, прохудившиеся, мокрые от холодной испарины утреннего тумана.

Служкин и Надя сидели на заднем сиденье «запора». Надя держала Тату, одетую в красный комбинезон, а Служкин читал газету, которой была закрыта сверху сумка, что стояла у него на коленях.

– Будкин, – раздраженно сказала Надя, – если ты на шашлыках будешь пить, я обратно с тобой не поеду. Пойду с Татой пешком.

– Фигня, – хехекнув, самоуверенно заявил Будкин. – Я по этой дороге полным крестом миллион раз ездил. К тому же чего мне будет с двух бутылок красного вина на троих. Это Витус сразу под стол валится, когда я только-только за гармонь хватаюсь.

– Ну скажи ему что-нибудь, папаша! – Надя гневно взглянула на Служкина, и Служкин виновато вздохнул.

– Пишут, что в бассейне Амазонки нашли секретную базу фашистов времен Второй мировой, – сказал он.

– И чего там на ней? – поинтересовался Будкин. – Секретные фашисты?

Будкин лихо свернул на фунтовый съезд, уводящий в кусты.

– Цистерна, а в ней семнадцать тонн спермы Гитлера.

– К-кретин!... – с бессильным бешенством выдохнула Надя.

«Запор» продрался сквозь акацию и, весь облепленный серыми листьями, точно камуфляжем, выехал на площадку у берега затона. Площадку живописно огораживала реденькая роща высоких тополей.

Площадка была голая и синяя от шлака. Посреди нее над углями стоял ржавый мангал, валялись ящики. Вдали в затоне виднелся теплоход – белый-белый, вплавленный в черную и неподвижную воду, просто ослепительный на фоне окружающей хмари, походивший на спящего единорога. Все вылезли из машины: Будкин ловко вынул наружу Тату, а Служкин долго корячился со своей сумкой.

– Ну и чего здесь хорошего? – мрачно огляделась Надя.

– Традиция у нас – есть шашлыки именно на этом месте, – пояснил Будкин. – Летом тут хорошо, травка всякая. Мы без трусов купаемся – никого нет.

– Только на это у вас ума и хватает...

– Надя, а мы приехали? – спросила Тата.

– Приехали, – убито вздохнула Надя.

Тата присела и начала ковырять лопаткой плотно сбитый шлак.

– Так, – деловито распорядился Будкин. – Сейчас я, как старый ирокез, пойду за дровами, а ты, Надюша, доставай мясо из уксуса и насаживай на шампуры.

– Я тебе домохозяйка, что ли? – возмутилась Надя.

– Надю-ша, не спорь! – игриво предостерег ее Будкин, обнимая за талию и чмокая в щеку. – Мужчина идет за мамонтом, женщина поддерживает огонь.

– Кто тут мужчина-то? – с презрением спросила Надя.

– Поговори мне еще! – прикрикнул на нее Будкин. – Хоу!

Он метнул в тополь маленький туристский топорик. Топорик отчетливо тюкнул, впиваясь в ствол. Будкин нырнул в машину, включил на полную мощность встроенный магнитофон, а затем развинченной, боксерской трусцой, не оглядываясь, побежал за топориком и в рощу.

– Хам, – заметила Надя, подняла сумку и понесла к мангалу.

– Папа, а песок не копается, – сказала Тата.

– Да бес с ним... Пойдем лучше на корабли смотреть, – предложил Служкин. – Давай садись мне на шею.

– Не урони ее! – издали крикнула Надя.

С Татой на плечах Служкин вышел на тракторную колею и двинулся к кораблям.

– Папа, а куда Будкин пошел?

– На охоту за мамонтом. Он его на шашлык порубит, мама пожарит, и мы съедим. Мамонт – это слон такой дикий, волосатый.

– А ему больно будет?

– Нет, что ты, – успокоил дочку Служкин. – Он специальной породы –

мясной. Когда его на шашлык рубят, он только смеется.

– А почему мы его не видели, когда на машине ехали?

– Ты не видела, а я вот видел. Они все мелкие, шашлычные-то мамонты, – размером с нашего Пуджика.

– А Пуджика можно на шашлык порубить?

– Конечно, – заверил Служкин. – Только для этого его надо долго откармливать отборными мышами, а он у нас ест одну лапшу и картошку.

Служкин дошел до ближайшего катера. Катер лежал на боку, уткнувшись скулой в шлаковый отвал – словно спал, положив под щеку вместо руки всю землю. Красная краска на днище облупилась, обнажив ржавчину, открытые иллюминаторы глядели поверх головы Служкина, мачты казались копьями, косо вонзенными в тело сраженного мамонта.

– А что корабли на земле делают? – спросила Тата.

– Спят. Они как медведи – на зиму выбирают на берег и засыпают. А весной проснутся и поплывут – в Африку, на реку Амазонку, на Южный полюс. А может, и в Океан Бурь.

– А мы на них будем плавать?

– Обязательно, – заверил Служкин.

С Татой на плечах он поднялся повыше по осыпи. За катером на мелководье лежала брошенная баржа, зачерпнувшая воду бортом, как ковшом. За баржей тянулись стапеля и груды металлолома. Темнели неподвижные краны. Заводские корпуса были по случаю воскресенья тихие и скучные. Вдали у пирса стояла обойма «ракет», издавала похожих на свирели. В черной, неподвижной воде затона среди желтых листьев отражалась круча берега с фигурной шкатулкой заводоуправления наверху.

Служкин посмотрел в другую сторону и увидел, что мангал уже дымится, а Будкин и Надя рядышком сидят на ящике. По жестикуляции Будкина было понятно, что он рассказывает Наде о чем-то веселом. По воде до Служкина донесся Надин смех. Непривычный для него смех – смех смущения и удовольствия.

## Кира Валерьевна

Служкин сидел в учительской и заполнял журнал. Кроме него, в учительской еще четверо училок проверяли тетради. Точнее, проверяла только одна красивая Кира Валерьевна – водила ручкой по кривым строчкам, что-то черкала, брезгливо морщилась, а три другие училки – старая, пожилая и молоденькая – болтали.

– Я вчера, Любовь Петровна, в очереди простояла и не посмотрела шестьдесят вторую серию «Надеждою жив человек», – пожаловалась пожилая. – Что там было? Урсула узнала, что дочь беременна?

– Нет, еще не узнала, – рассказала старая. – Письмо-то Фернанда из шкатулки выкрала. Аркадио в больницу попал, и пока он был на операции, она его одежду обшарила и нашла ключ.

– Так ведь Хосе шкатулку забрал к себе...

– У него же эта... как ее?...

– Ребека, которая Амаранту отравила, – подсказала молодая.

– Вот... Ребека же у Хосе остановилась под чужим именем, а он ее так и не узнал после пластической операции.

– Почему? Он же подслушал ее разговор с Ремедиос...

– Он только про Аркадио успел услышать, а потом ему сеньор Монкада позвонил и отвлек его.

– Я бы на месте Аркадио этого сеньора на порог не пустила, – призналась пожилая.

– Это потому, что мы, русские, такие, – пояснила старенькая. – А они-то нас во сколько раз лучше живут? Там так не принято.

– Еще бы не лучше! – возмутилась молодая училка. – Фернанда – простая медсестра, а у нее квартира какая?

– Она же на содержании у этого американца, – осуждающе заметила старенькая.

– Я бы и сама пошла на такое содержание, – мечтательно заметила молодая. – Кормит его одними обещаниями, и больше ничего...

Служкин закрыл журнал, поставил в секцию и начал одеваться.

На улице уже темнело, накрапывал дождь, палая листва плыла по канаве, как порванное в клочки письмо, в котором лето объясняло, почему оно убежало к другому полушарию. Служкин закурил под крышей крылечка, глядя на светящуюся мозаику окон за серой акварелью сумерек.

Сзади хлопнула дверь, и на крыльцо вышла Кира Валерьевна. В одной

руке у нее была сумка, раздутая от тетрадей, в другой руке – сложенный зонтик.

– Подержите, пожалуйста, – попросила она, подавая Служкину сумку.

– Тяжелая, – заметил Служкин. – Может, вам помочь донести?

– Я близко живу.

– Это как понять?

– Как хотите, – хмыкнула Кира Валерьевна, выпалив зонтом.

– Хочу вас проводить. – Служкин выбросил окурок, и тот зашипел от досады. – Давайте мне и зонтик тоже, а сами возьмите меня под руку.

Кира Валерьевна, поджав губки, отдала зонтик и легко взяла Служкина под локоть. Они сошли с крыльца.

– Отгадайте загадку, – предложил Служкин. – Моя четырехлетняя дочка сочинила: открывается-закрывается, шляпа ломается. Что это?

– Зонтик, – сухо сказала Кира Валерьевна. – Я бы не подумала, что у вас уже такая взрослая дочь...

– Так что ж, человек-то я уже пожилой... – закричал Служкин. – А у вас кто-нибудь есть? Сын, дочка, внук, внучка?...

– То есть вам интересно, замужем я или нет?

– А разве найдется какой-нибудь мужчина, чтобы ему это было не интересно, особенно если он красив и чертовски умен?

Кира Валерьевна снисходительно улыбнулась.

– Не замужем. – Она вызывающе посмотрела на Служкина.

– Я так и надеялся. А какой предмет вы ведете?

– Немецкий.

– Когда-то и я изучал в университете немецкий, – вспомнил Служкин. – Но сейчас в голове осталось только «руссиш швайн» и «хенде хох». Не подскажете, как с немецкого переводится сонет: «Айне кляйне поросенок вдоль по штрассе шуровал»?

Кира Валерьевна засмеялась:

– Вы что, литературу ведете?

– Географию, прости господи.

– Точно-точно, припоминаю. – Она скептически кивнула. – Что-то про вас говорили на педсовете... Стихи вы какие-то, кажется, ученикам читали, да?

– Жег глаголом, да назвали балаболом, – согласился Служкин.

– В самокритичности вам не откажешь.

– Посмеяться над собой – значит лишиться этой возможности других, – назидательно изрек Служкин. – Это не я сказал, а другой великий поэт.

Они остановились у подъезда высокого девятиэтажного дома.

– Мы пришли. – Кира Валерьевна забрала сумку и зонтик. – Спасибо.  
– А мы еще, Кира, вот так же прогуляемся? – спросил Служкин.  
– А разве мы пили на брудершафт?  
– А разве это трудно? – улыбнулся Служкин.  
– Что ж, дальше будет видно, – усмехнулась Кира. – Как хоть тебя?...  
Витя? До свидания, Витя.  
Она развернулась и вошла в подъезд.

## Проблемы в памяти

Служкин в длинном черном плаще и кожаной кепке, с черным зонтом над головой шагал в садик за Татой. Небо завалили неряшливо слеplенные тучи, в мембрану зонта стучался дождь, как вечный непокой мирового эфира. Служкин не полез через дыру, а чинно обошел забор и вступил на территорию садика с главного входа. Под козырьком крылечка он увидел Лену Анфимову с Андрюшей.

– Привет, – сказал Служкин. – Вы чего здесь стоите?

– Да вот зонтик сломался, – виновато пояснила Лена. – Теперь ждем, когда дождь пореже станет...

– Ну, к зиме распогодится, – пробормотал Служкин, поглядев на небо. – Давай я вас под своим зонтом провожу.

– Может, Тату сначала заберешь? Нам на остановку надо...

Служкин посмотрел на часы.

– Успею еще, – заверил он. – Времени завались.

Он подставил локоть. Лена, улыbnувшись, взяла его под руку. Они неторопливо двинулись к воротам. Лена вела Андрюшу.

– Расскажи мне, Лен, как хоть ты поживаешь, – попросил Служкин. – А то ведь я так ничего и не знаю.

– Да мне, Витя, нечего рассказывать. – Лена пожала плечами. – Нет у меня ничего интересного. Как замуж вышла, так из декрета в декрет, и с утра до вечера готовлю, стираю, глажу, прибираю, за Олей и Андрюшей смотрю... Я уж и сама стала забывать, что я человек, а не машина хозяйственная... В кино уже три года не была...

Лена не жаловалась, просто рассказывала так, как есть.

– Могу сводить тебя в кино, – бодро заявил Служкин, еще не перестроившись на слова Лены. – С превеликим удовольствием...

– Нет, Витя, я же не напрашиваюсь... – Лена помолчала. – Мне некогда, да и перед мужем неудобно.

– А кто у тебя муж? Какие у вас отношения?

Служкин отдал Лене зонтик, подхватил Андрюшу, перенес его через канаву по мосткам и подал Лене руку. Лена оперлась о нее тяжело, неумело, как о перила.

– Он у меня работает шофером. Дома мало бывает – все возится с автобусом. А отношения?... Какие могут быть отношения? Пока Андрюша не родился, так что-то еще имелось. А сейчас оба тянем лямку. Тут уж не

до отношений. Живем спокойно, ну и ладно. Поздно уже что-то выгадывать, да и не умею я...

– Денег-то он много зарабатывает? – наивно спросил Служкин. – Я слышал, водители просто мешками их таскают.

– А я слыхала, что учителя, – сказала Лена, и они рассмеялись.

– А вышла ты по любви? – напрямик спросил Служкин.

Лена, вопреки обычному, не смутилась. Видимо, для нее это было так же далеко, как двойки по рисованию.

– По любви. Только какая разница теперь?

– Лен, скажи, – помолчав, попросил Служкин. – А чем у тебя кончился тот школьный роман с Колесниковым?

– Разве ты не знаешь? – удивилась Лена. – Ты же дружишь с Веткиной... Хотя, в общем, и рассказывать тут нечего, – Лена пожалала плечами. – Ничем. Дружили после школы полгода, потом он в армию ушел. Я сначала писала ему, ждала. Потом забывать начала. Потом с Сашей познакомилась – с будущим мужем. Вот так. А Колесников тоже не особенно переживал. На моей свадьбе напился, всем надоед своими армейскими историями, к каждой девчонке приставал...

– А ведь мы всем классом с таким благоговением относились к твоему роману с Колесниковым! Как же, десятиклассник, на машине ездит – и нашу Ленку Анфимову любит!...

– Только к машине вы и испытывали уважение, – улыбнулась Лена. – Глупые все были... Сейчас у мужа автобус целый, ну и что?

– Н-да-а... – протянул Служкин. – Как-то все это... Вроде бы когда-то огромное значение имело, а оказалось – ерунда. И останется только грустно шутить. Ты же самая красивая девочка в классе была... Все думали, что ананасы в Париже кушать будешь...

Лена чуть покраснела.

– Гм, гм, – смущенно покашлял Служкин. – А я ведь, Лен, так в тебя влюблен был...

– Я знала, – засмеялась Лена. – Да и весь класс знал.

– И тебе не жалко меня было, когда ты с Колесниковым крутила?

– Нет, – мягко сказала Лена. – Тогда ведь казалось, что всего еще сколько угодно будет. Не ценили, когда любят. Маленькие были.

Они шли вдоль рощицы старых, высоких сосен, вклинившейся в новую застройку. Подлесок здесь был вытоптан детьми и собаками. Андрюша, пользуясь тем, что внимание мамы отвлекает дядя с зонтиком, брел по лужам, поднимая сапогами черные буруны. Показалась автобусная остановка – голая площадка на обочине шоссе.

– Я вас посажу на автобус, – сказал Служкин.

Они молчали, вглядываясь в призрачную, дождливую перспективу дороги, откуда в брызгах, шипя, вылетали легковушки и проносились мимо, вихрем закручивая морось. Служкин переложил зонт в другую руку и чуть приобнял Лену, словно хотел ее немного согреть.

– Андрюша, встань ко мне поближе, – велела Лена, подтаскивая сына за руку. – У тебя и так капюшон уже промок...

– А помнишь, как нас четыре года Чекушка сватала? – спросил Лену Служкин. – Всегда сажала за одну парту...

Лена слабо улыбнулась.

– Скажи, Лен, а вот тогда, на дискотеке, ты меня вправду поцеловала или случайно в темноте ткнулась?

– Не помню, – удивленно сказала Лена и засмеялась. – Витя, а это не ты подсунил мне в портфель записку на Восьмое марта?

– И я не помню, – честно ответил Служкин. – А ты помнишь, как на День Победы нам вдвоем давали читать «Жди меня»?...

– А ты помнишь?...

Лена медленно менялась – усталость и покорность уходили с ее лица, казалось, что солнце скоро покажется из-за глухих туч. К ней даже вернулось почти забытое школьное кокетство – она искоса лукаво глянула на Служкина, как некогда глядела, проходя мимо него в школьном коридоре. Служкин и сам оживился, стал смеяться, жестикулировать и не заметил автобуса.

Они одновременно замолчали, с какой-то обидой глядя на открывающиеся двери. Лена сникла. И вдруг Служкин наклонил зонтик вперед, отгораживаясь им от автобуса как щитом, и смело прижался губами к холодным и твердым губам Лены, забыто вздрогнувшим в поцелуе.

– Иди, – сказал он. – Мы ведь еще увидимся...

Покачивая тяжелым задом, автобус уполз по шоссе. Служкин задумчиво пошагал обратно. Он шел минут пять. Вдруг встрепенулся, быстро захлопнул зонтик и бросился бегом. Дождь плясал на его кепке, под ногами взрывались лужи, полы плаща болтались, как оторванные. Служкин бежал напрямик через газоны, через грязь, прыгал над канавами, проскочил в дыру в заборе вокруг садика и влетел в раздевалку.

Тут было уже пусто. Дверь в группу была раскрыта, и Служкин остановился на пороге. В дальнем углу зала за столом сидела и что-то писала воспитательница. На маленьких столиках вверх ножками лежали маленькие стульчики. Свежевымытый пол блестел. Тата – одна-единственная – строила из больших фанерных кубов кривую башню. В

своем зеленом платишке на фоне желтого линолеума она казалась последним живым листком посреди осени.

– Тата!... – охрипнув, позвал Служкин.

Тата оглянулась, помедлила и молча кинулась к нему через весь зал. Служкин инстинктивно присел на корточки, поймал ее и прижал к грязному плащу, к мокрому лицу.

– Тата, я больше никогда не опоздаю... – прошептал он. – Честное слово, никогда... Честное папино...

## Выпускной роман

К утру газоны становились седыми, а воздух каменел. Люди шли сквозь твердую, кристальную прохладу, как сквозь бесконечный ряд вращающихся стеклянных дверей. На заре по Речникам метлою проходил ветер и обдувал тротуары, отчего город казался приготовленным к зиме, как покойник к погребению. Но снега все не было. И вот будто стронулось само время – первый снег хлынул как первые слезы после долгого, молчаливого горя.

Служкин ходил проводить Сашеньку, но не застал ее на работе. У него еще оставалось полтора часа свободы до конца смены в садике, и он отправился побродить вдоль затона, посмотреть на корабли.

Снег валил густо и плотно, словно его скидывали сверху лопатами. У проходной Служкин неожиданно увидел продрогшего, танцующего на месте Овечкина с сугробом на голове.

– Какими судьбами? – задержавшись, поинтересовался Служкин.

– Человека жду... одного... – проклацал зубами Овечкин.

– В мае влюбиться надо, – посоветовал Служкин.

На мосту в ржавые бока понтонов тяжело толкалась стылая вода. Понтоны раскачивались, дощатые трапы между ними злобно грохотали.

Затон, плотно заставленный кораблями, походил на какую-то стройку. Мачты, антенны, стрелы лебедек торчали как строительные леса. На крышах и палубах снег лежал ровными пластами. Иллюминаторы смотрели на Служкина невидяще, рассеянно, исподлобья, как смотрит человек, который почти уснул, но вдруг зачем-то открыл глаза.

Служкин остановился у навеса лесопилки, под которым уныло качался и позвякивал цепями тельфер. В белой мгле Кама выделялась контрастной черной полосой, потому что снег, падая на воду, странно исчезал. Служкин стоял, курил и разглядывал высокий и массивный нос ближайшей самоходки, у которой в клюзах торчали якоря, словно кольцо в ноздрах быка.

На дорожке из снегопада появился маленький заснеженный человек, и Служкин с удивлением узнал в нем Машу Большакову из девятого «А».

– Маша, ку-ку, – окликнул он ее.

– Ой, Виктор Сергеевич!... – Маша даже испугалась.

– Ты чего здесь делаешь?

– К папе ходила. Мама просила ему записку отнести.

- Это не тебя там у проходной Овечкин дожидается?
- Меня, – покраснев, созналась Маша.
- Э-эх, жаль, – вздохнул Служкин. – А я хотел проводить...
- До проходной еще далеко, – кокетливо ответила Маша.

Они медленно пошли рядом, не глядя друг на друга. Наконец, не выдержав, Маша подняла на Служкина глаза и улыбнулась:

- А вы что здесь делаете, Виктор Сергеевич? Только не врите.
- Да ничего не делаю. Шляюсь. Чего мне тут делать? Хожу и вспоминаю времена, когда сам девочек дожидался.

- А почему на заводе?
- Ну... как сказать... Хотел увидеть один теплоходик, про который есть что вспомнить. «Озерный» называется.

– Я в кораблях не разбираюсь... А что у вас за история, Виктор Сергеевич, которую вы вспоминаете?

– История моей последней школьной любви, – важно пояснил Служкин.

- Расскажите, – лукаво улыбаясь, предложила Маша.
- Ой, Машенька, – заныл Служкин. – Это история очень старая. Она длинная и скучная, со слезами и мордобоем. Тебе будет неинтересно.
- Очень интересно, Виктор Сергеевич! – горячо заверила Маша.

– Ну, ладно, – довольно согласился Служкин и полез за сигаретами. – Было это в июне, когда я окончил десятый класс и шли выпускные экзамены, – начал он. – Дружил я тогда с одноклассницей. Красивая девочка была, но характер – спаси господи! Вздорная, склочная, задиристая – хуже Ясира Арафата. Звали ее Наташа Веткина, а кличка – просто Ветка. Дружили мы давно, однако ничего особенного: так, гуляли, болтали, в кино ходили, целовались потихоньку. А тут как дошло до всех, что скоро навсегда расстаемся, так и заводитьсь начали, нервничать. Ну, я-то еще с детства мудрый был, лежал себе спокойненько на диване. А Ветка, видно, решила под конец урвать кусок побольше и завела роман с другим нашим одноклассником. Звали его Славкой Сметаниным, а кличка была, конечно, Сметана. Он был парень видный, отличник, но нич-чегошеньки собой не представлял. Смотрю, в общем, это я: Ветка со Сметаной каждый день туда-сюда рассекает. Что, думаю, за блин? Попытался я Ветке мозги прочистить, она и ляпнула мне: не суйся, мол, и катись отсюда. Я, понятно, разозлился благородно. Ну, думаю, жаба, ты у меня покукарекаешь еще.

И вот был у нас экзамен по химии. Подхожу я это утром к школе и вижу, что Ветка со Сметаной под ручку прется. Я сразу понял: сегодня точно чья-то кровь будет пролита. Химичка нам кабинет открыла и куда-то

ушла. Ветка тоже учесала. Сидим мы в кабинете вдвоем: я и Сметана эта дурацкая. Я злость коплю. Сметана тетрадку свою с билетами читает. А надо сказать, что в кабинете том был здоровенный учительский стол. Сверху кафелем выложен, чтобы кислотой не попортить, а сбоку большой стеклянный вытяжной шкаф с трубой наверху. Я все прикинул, обмозговал, потом встал, тетрадку у Сметаны из рук хватить, на этот стол скок, да и запихал ее в трубу. Сметана озверела, сперва за мной между парт погонялась, потом полезла в шкаф за тетрадью. И только она в вытяжной шкаф проникла, я тут же подскочил, дверку у шкафа закрыл и запер со всей силы на шпингалет. А после вышел из кабинета и дверь защелкнул.

Вот и время экзамена наступило. У кабинета толпа мнется. Подгребает экзаменационная комиссия, открывает дверь, вваливается в кабинет... А там этот дурак на столе в стеклянном шкафу сидит, как обезьяна в аквариуме. Учителя сразу в визг, остальных со смеху скосило. И главное – шпингалет никто открыть не может, так я его засобачил. Пока слесаря искали, полшколы в химию поржать прибежало. А мне же, чудотворцу и выдумщику, ни слова не говоря по химии трояк впечатали и с экзамена под зад коленом. Я не стал переживать, только радовался, когда вспоминал, как Ветка позеленела.

Маша смеялась. Ободренный, Служкин заливался соловьем.

– Тем же вечером сижу я дома, вдруг звонок в дверь. Я только дверь открыл, а мне Ветка сразу по морде тресь!... Но я – воробей стреляный, я сразу присел. И она со всего размаха рукой по косяку как засадила, аж весь дом вздрогнул! Тут на грохот моя мама в коридор выбегает. А мама моя страсть любила, когда в гости ко мне девочки приходят. Схватила она Ветку и на кухню поволокла. Сразу чай, конфеты, все такое. Говорит мне: познакомь, мол, Витя, с девушкой... Меня, естественно, черт за язык дернул. Такая и сякая, говорю, моя невеста. От этих слов Ветка чуть не задымилась. Ну, чай допила, с мамой моей попрощалась культурно и ушла, а на меня и не взглянула. Так, думаю, Виктор Сергеевич, ожидает тебя бой не ради славы, ради жизни на земле.

Служкин сделал паузу, закуривая. Маша, улыбаясь, ждала продолжения. Они пошагали дальше. Сигарета во рту у Служкина дымилась, как крейсерская труба.

– В день выпускного бала вручили нам в торжественной обстановке аттестаты. Дальше в культурной программе значилось катание на теплоходе. Загнали нас, выпускников, на этот вот «Озерный». Здесь дискотека, шведский стол, прочая дребедень. Погода просто золотая! И поплыли мы, значит, на прогулку. В салоне музыка играет, все пляшут. А

Ветка, зараза, всю дорогу только со Сметаной и танцует. Если же я ее приглашаю, то мне непристойные вещи руками и пальцами показывает. Отозвал я ее в сторонку и спрашиваю: что такое? Она вместо ответа сорвала у меня с головы бейсболку и за борт кинула. Совсем обидно мне стало, ушел я. А когда вернулся обратно в салон, где банкет бушевал, то взял со стола банку с майонезом и сел рядом со Сметаной. Раз уж Ветка со мной не хочет, то со Сметаной не сможет. Улучил я момент, когда Сметанин, скотина, за колбасой потянулся и зад свой приподнял, и вылил ему на стул полбанки. «Теперь, – говорю, – твоя фамилия не Сметанин, а Майонезов», – и ушел. А Сметанин как приклеился к месту. Ветка его тащит танцевать, а он только улыбается и говорит, что нога болит.

Тут пароход наш причалил к берегу, чтобы мы, значит, в лесочке порезвились. Сошел на берег и я. Через некоторое время подруливает ко мне Ветка: вся цветущая, улыбается. Отойдем, говорит, на минутку. Ну, отошли мы, и далеконько отошли. Только остановились на полянке, она и набросилась на меня, как Первая Конная на синежупанников. Разворачивается и с маху мне в челюсть р-раз!! Я только зубами лязгнул. А с другой стороны уже вторая граната летит. Я Веткину руку успел поймать. Тут и я со злости стукнул ее в поддыхало – она пополам согнулась. Жалко мне ее стало, дуру. Поднял я ее, отряхнул, извинился и обратно потащил. Выходим мы наконец на берег – и что же? Пароход-то наш – ту-ту! – уплыл! Так и остались мы в лесу.

– И что, на выпускной бал не попали? – изумилась Маша.

– Нет, конечно. Я сориентировался: до ближайшей пристани километров десять. А что делать? Потащились. Пока через всякие буреломы лезли, как Дерсу Узалы, уж вечер наступил, погода испортилась, дождь хлынул. Вымокли. Но тут нам повезло. Шли мимо какого-то котлована, и там на краю экскаватор стоял. Не торчать же нам под дождем всю ночь! Залезли в кабину. Я в кресло сел, она ко мне на колени хлопнулась. Обогрелись, обсохли. Я Ветку конфетами угостил, которые на банкете по привычке со стола стырил. Ветка вроде отмякла. И тут как давай мы с ней целоваться! Всю ночь напролет целовались! Только вот задницей своей толстой она мне все ноги отсидела – это меня и сгубило. Часа в четыре утра, как светать начало, порешили мы снова в путь тронуться. Ветка первая из кабины выскочила. И пока я разминал занемевшие ноги, она схватила какую-то палку и всунула ее в ручку дверцы – заперла меня, значит, в кабине, змея! А сама спокойно одна пошагала.

Я орал-орал, дверь таранил-таранил – ничего не выходит. Тогда осерчал я, вырвал какую-то железяку и разбил окно. Выпрыгнул, да

неудачно. Упал на дно котлована и вывихнул ногу. Ну, беда! Выполз наверх, рыча, выломал себе дубину суковатую и с ней поковылял, как Мересьев. Ветку догнать уж и не мечтал.

Доплелся до деревни, пришел на пристань. Ветки нигде нет. А, думаю, хрен с тобой, старая дура. Купил билет, тут «ракета» подходит. Погрузился я, сижу, гляжу. И вижу, что как черт из табакерки появляется на пристани моя Ветка и начинает уламывать контролершу, чтоб ее без билета на борт взяли. Денег-то на билет у нее нету! Я, как благородный человек, с парохода долой – и в кассу. И пока я на своих полутора ногах ковылял, «ракета» наша стартовала! Следующая только через пять часов. А мы с Веткой уже устали как сволочи, даже ругаться сил нет. Ушли мы за деревню, нашли песчаную косу, купались, загорали. Ветка тихая-тихая была, виноватая, добрая. В конце концов дождались мы следующей «ракеты», сели. Ветка всю дорогу спала у меня на плече. Приплыли, сошли на берег родной. Лодыжка моя распухла, болит, еле ступаю. С грехом пополам довела меня Ветка до дому, всю дорогу поддерживала. У подъезда стали прощаться. И только я хотел поцеловать ее напоследок, она ка-ак пнет меня в больную ногу! Я на спину брык, заорал и ногами засучил. А она убежала. Больше мы с ней не виделись.

Служкин замолчал.

– Никогда?... – с сочувствием, осторожно спросила Маша.

– Никогда, – грустно подтвердил Служкин.

Маша задумалась. Они вдвоем уже подошли к наплавному мосту. Маша покачала головой и призналась:

– Вы так рассказывали, Виктор Сергеевич, – я будто кино смотрела. Никогда бы не подумала, что так бывает...

– А так и не бывает, – улыбнулся Служкин. – Я все сочинил, чтобы тебе скучно не было.

Маша остолбенела. Служкин, улыбаясь, погладил ее по голове.

– Дальше иди одна, а я постою, – сказал он. – А то меня Овечкин приревнует.

## Градусов

Прозвенел звонок. Служкин, распахав плотную кучу девятого «В», толпившегося у двери кабинета, молча отпер замок и взялся за ручку. Ручка была мокрая. Вокруг восторженно заржали.

– Это не мы харкнули на ручку! Мы не знаем кто! – закричали сразу с нескольких сторон.

В кабинете Служкин положил журнал на свой стол и долго, тщательно вытирал ладонь тряпкой, испачканной в мелу – чтобы видели все. Потом посмотрел на часы. От урока прошла минута сорок секунд. Значит, остается еще сорок три минуты двадцать секунд.

Заложив руки за спину, как американский полицейский, Служкин стоял у доски и ждал тишины. В общем-то это ожидание было не более чем жестом доброй воли, ритуалом. Для зондер-команды этот ритуал был китайской церемонией. Зондер-команда гомонила. Служкин выждал положенную минуту.

– Ти-ха!! Рты закрыть! Урок начинается! – заорал он.

Он двинулся вдоль парт, глядя в потолок. Не расцепляя рук за спиной, до предела напрягая голосовые связки, он начал:

– Открыли! Тетради! Записываем! Тему! Урока! Машиностроительный! Комплекс!

Кто-то действительно открыл тетрадь, но шум лишь увеличился: Служкин говорил громко, и девятиклассникам приходилось перекрикивать его, чтобы слышать друг друга. Служкин, надсаживаясь, гнал голый конспект, потому что рассказывать или объяснять что-либо было невозможно. Интонации Служкина были такие, что после каждой фразы хотелось крикнуть: «Ура!»

Пять минут... Десять... Пятнадцать... Диктовка конспекта – это еще цветочки. А вот что начнется при проверке домашнего задания!... Двадцать минут. Время. Служкин прощально посмотрел в окно.

– Так, а теперь вспомним прошлый урок. Вопрос: «Какие основные отрасли производства в нефтехимическом комплексе?»

Гам как на вокзале. И тогда Служкин нырнул в омут с головой.

– Сколько можно орать!!! – орал он. – У вас четверть заканчивается!!! Одни двойки!!! И никто слушать не желает!!!

Пока Служкин неистовствовал, на первой парте рыжий и носатый Градусов азартно рассказывал соседу:

– ...а у него тоже на «липе», но синие. Я его спрашиваю: ты, дурак, где брал?

После общей морали Служкину полагалось найти и растерзать жертву. Служкин бухнул классным журналом по парте перед Градусовым.

– Помолчи!!! – взревел он. – Я битый час добиваюсь тишины, а ты рта не закрывал!!! Ты лучше меня географию знаешь, да?!! Давай отвечай, какие основные отрасли нефтехимического комплекса?!!

– Я это... – соображал Градусов. – Я болел на прошлом уроке...

– Встань, я стою перед тобой! – грохотал Служкин.

Градусов неохотно совершил странное телодвижение, перекосившись в полустоячем-полулежащем положении.

– Раз на том уроке не был, так на этом слушать должен!!!

– Да ч-щ-що ваша география... – презрительно прошипел Градусов, постепенно приходя в себя после первого замешательства. – Слушал я!...

– Это не моя география, а твоя география! – теснил Служкин. – Я свою географию десять лет назад всю выучил! Чего ты слушал? Только что я про Тюменскую область говорил – назови мне хоть главный город там!...

– Эта... Моек... – опять сбился Градусов.

– Два!!! – торжествующе рявкнул Служкин.

– Вам же хуже, – хмыкнул Градусов, валясь обратно за парту. – Все равно исправлять будете...

– Там посмотрим! – Служкин схватил классный журнал. – Фамилия?

И это был его тактический просчет. Теперь он мог Градусову хоть голову отрубить, но только не одолеть его. Градусов приосанился.

– Забыл, – ухмыльнулся он.

– Как его фамилия? – обратился Служкин к классу.

И это был второй тактический просчет, потому что в конфликт ввязывался весь класс.

– Ергин! – закричали Служкину. –  
Черезвысокозабороногопередерищенко! Воробьев! Шварценеггер!

– Это я Шв-в... В-воробьев, не ставьте двойку!...

– Ладно, я сам дознаюсь, – заверил Служкин, распахивая журнал. – Агафонов, ставлю два!

– Вороб... Так, ясно. Горохов!

– Горохов он! Горохов! – заорали с задних парт. – Горохов в больнице лежит! – закричали девицы. – Чего не признаешься, Градусов?... Ой!

– Кор-ровы безрогие! – злобно прорычал Градусов девицам.

– Теперь дневник, – выведя в журнале двойку, велел Служкин.

– Дома забыл, – хмуро заявил Градусов и бросил на парту свой

портфель-ранец с надписями и катафотами. – Общайте, если не верите.

– Не верю, – согласился Служкин.

Отступить ему было поздно – гонор сшибся с гонором. Служкин двумя пальцами поднял открытый ранец за нижний уголок и высыпал на пол все его содержимое.

– Ни фиги себе! – завопил Градусов. – Собирайте мне теперь!...

Служкин носком ботинка откинул пару учебников.

– Тетради нет, учебника нет, дневника и того нет, – безглаголиво сказал он. – Иди домой за дневником, иначе не отдам портфель.

Он демонстративно бросил градусовский ранец на свой стол.

– Т-щ-щ это я пойду, мне и тут хорошо, – скривился Градусов, растекаясь по парте, как тесто.

Служкин обошел его и взял за ухо.

– Руки уберите!... Уй-я-а!... – заорал Градусов, вылезая из-за парты вслед за своим ухом. – Убер-ри, сказал!...

Служкин наклонился к его оттянутому уху и шепнул:

– Только дернись, гад, рожей в стенку суну.

Он провел согнутого Градусова к двери и вышиб в коридор.

– Козел Географ!... – заорал Градусов оттуда.

– Едем дальше, – мрачно сказал Служкин, запирая дверь. – Итак, какие основные отрасли в нефтехимическом комплексе?

## Будкин

Было воскресенье – день, когда водопроводчики отключают воду. По этой причине Надя раздраженно гроыхала на кухне тарелками, поливая на них из чайника. В комнате на письменном столе громоздились сцепленные проводами магнитофоны. Будкин, напялив наушники, что-то переписывал с одной кассеты на другую. В такт неслышной музыке он кивал головой и открывал рот как будто подпевал. На полу играла Тата: укладывала Пуджика в коляску.

– Спи, дочка, – говорила она, укрывая кота кукольным одеялком.

Служкин лежал на кровати и проверял самостоятельную у девятого «А». Он прочитал работу Скачкова и красной ручкой написал в тетради:

*«Ты говоришь, что у тебя по географии трояк, а мне на это просто наплевать».*

Цитата Скачкову была отлично известна. Служкин подтвердил ее оценкой – 3.

Будкин щелкнул выключателем, снял наушники, встал, потянулся и, перешагнув через Пуджика, пошел на кухню.

– Когда, Надюша, обедать будем? – ласково спросил он.

– Здесь тебе столовая, что ли? Я на тебя не готовлю!

– Я же один живу... Никто меня не любит, никто не кормит...

– Меня это абсолютно не интересует! – отрезала Надя.

– Ну, я хоть полсантиметрика колбаски скушаю...

Жуя, Будкин вернулся в комнату и сел на кровать к Служкину.

– Пуджик, кс-кс, – позвал он. – Колбасы хочешь? А нету! – И он положил колбасу в рот. Пуджик проводил ее глазами.

– Будкин, не буди мою дочку! – гневно сказала Тата.

– Ладно, не буду, – согласился Будкин. – Слушай, Витус, дай мне потрепаться твою синюю рубашку? Мне завтра в гости.

– Возьми, – безразлично согласился Служкин.

Будкин открыл в шкафу дверку и начал рыться в вещах. Вдруг он вытянул длинный лифчик.

– Витус, а это ты зачем носишь? – озадаченно спросил он.

Лифчик вылетел у Будкина из руки – напротив него, захлопнув шкаф, очутилась разъяренная Надя.

– Ты чего в моем белье роешься?! – заорала она.  
– А мне Витус разрешил... – глупо ответил Будкин.  
– Ты что, совсем спятил? – налетела на Служкина Надя.  
– Там раньше мое барахло лежало... Спутал он полку.  
– Пусть у себя дома путает! – бушевала Надя. – Как хозяин тут всем распоряжается! Я за него замуж не выходила!

– Так выходи, – хехекнул Будкин и приобнял ее за плечи.  
Надя истерично крутанулась, сбрасывая его ладони.  
– Убери руки и не лапай меня! Проваливай вообще отсюда!...  
– На-дя, – предостерегающе сказал Служкин.  
– Что «Надя»?! Пускай к себе уходит! У самого есть квартира! Сидит тут каждый день – ни переодеться, ни отдохнуть! Жрет за здорово живешь, а теперь еще и в белье полез! Ни стыда ни совести! Надоело!... – крикнула Надя, выбежала из комнаты и заперлась в ванной.

Тата молча сидела на полу и переводила с мамы на папу испуганные глаза. Пуджик вылез из-под кукольного одеяла и запрыгнул к Служкину на кровать. Будкин неуверенно хехекнул и достал кассету.

– Воды-то в ванной нет... – пробормотал он.  
Служкин молчал.  
– Я смотаюсь минут на двадцать, – решил Будкин. – Пока она успокоится... К обеду вернусь.  
– Возвращайся, – согласился Служкин. – Но если Надя тебе череп разможжит, я не виноват.  
Хехекая, Будкин оделся и ушел, шаркая подошвами.

*«А мне говорят, что Волга впадает в Каспийское море, а я говорю, что долго не выдержу этого горя, – записал в очередной тетради Служкин. – 4».*

Пуджик повертелся рядом с ним, точно утаптывал площадку в сугробе, и свалился, пихая Служкина в бок и бурча что-то в усы. Тата взялась за кукол.

Надя выскочила из ванной в том же озверелом состоянии. Видимо, отсутствие воды помешало ей погасить злость.

– Ты чего молчишь, когда он меня при тебе же лапает? – набросилась она на Служкина. – Хоть бы слово сказал!... Муженек!... Он меня раздевать начнет – ты не пикнешь!...

– Пикну, – не согласился Служкин, глядя в тетрадь.  
– Гос-споди, какой идиот!... – Надя забежала по комнате.

– Надя, там у меня детский сад! – закричала Тата.  
– Не трогаю я твоих кукол!...  
– Не ори на нее.  
– Если бы я знала, какой ты, ни за что бы замуж не вышла!...  
– А какой я? – спокойно поинтересовался Служкин.  
– Слова от тебя человеческого не дождешься, одни шутки!...  
– Без шутки жить жутко.  
– Так у тебя кроме шуточек и нет ничего больше!... Пусто за душой! Ты шуточками только пустоту свою прикрываешь! Ничего тебе, кроме покоя своего, не нужно! Ты эгоист – страшно подумать какой!  
– Думать всегда страшно...  
– Тебя не только любить, тебя и уважать-то невозможно! – не унималась Надя. – Ты шут! Неудачник! Ноль! Пустое место!  
– У тебя лапша пригорит, – ответил Служкин.  
– Провались ты со своей лапшой! – взорвалась Надя.  
Она умчалась на кухню. Служкин взял новую тетрадь – с обгрызенным углом. Однажды он уже написал в ней:

*«Зачем обглодал тетрадь? Заведи новую. География несъедобна».*

Теперь под записью имелся ответ:

*«Это не я обглодал, а моя собака».*

Служкин проверил самостоятельную, поставил оценку и продолжил диалог:

*«Выброси тетрадь на помойку. Можешь вместе с собакой. В третий раз этот огрызок не приму».*

Он сунул тетрадь под кота, как под пресс-папье, и встал с кровати.  
– Тата, ты на кухню не ходи, я курить буду, – попросил он.  
– Хорошо, – солидно согласилась Тата. – Я буду читать сказку.  
Надя стояла у окна и глядела на грязный двор, сжимая в кулачке ложку.  
Служкин убавил газ под лапшой и сел за стол.  
– Ну, не расстраивайся, Наденька, – мягко попросил он. – Пока еще ничего не потеряно. Я тебе мешать не буду. Не вышло со мной – выйдет в другой раз. Ты еще молодая...  
– Не моложе тебя... – сдавленно ответила Надя.

– Ну-у, я особый случай. Ты на меня не равняйся. У тебя ведь нету столько терпения, сколько у меня. Я всегда побеждаю, когда играю в гляделки.

– Ты мне всю судьбу поломал. Куда я теперь от Таты денусь?

– Если бы тебе была важна только Тата, ты бы мне не наговорила всего того, что я услышал.

– Тебе говори не говори, никакой разницы. Ты тряпка.

– Вот и найди себе не тряпку.

– Кого я найду в этой дыре?!

– Ну, кого-нибудь... Мне, что ли, самому тебе нового мужа искать? У меня никого, кроме Будкина, нет.

– Видеть не могу этого дурака и хама.

– Он не дурак и не хам. Он хороший человек. Только, как и я, тоже засыхать начал, но, в отличие от меня, с корней.

В прихожей затрещал звонок. Служкин раздавил сигарету в пепельнице и пошел открывать. Через некоторое время он впихнул в кухню сияющего Будкина. Жестом факира Будкин извлек из-за пазухи пузатую бомбу дорогого вина.

– Это, Надюша, в качестве моего «пардон», – заявил Будкин, протягивая Наде бутылку.

– О нем поминки, и он с четвертинкой... – сказал Служкин. – Не злись на него, Надя. Если хочешь, он тебе свои трусы покажет, и будете квиты... Это ведь твое любимое вино?

– Сообразил, чем подкупить, да? – агрессивно спросила Надя.

– Смышлен и дурак, коли видит кулак, – пояснил Служкин, пошел в комнату, повалился на кровать и открыл очередную тетрадку.

Тетрадка оказалась Маши Большаковой. После безупречно написанной самостоятельной Служкин прочел аккуратный постскрипtum: «Виктор Сергеевич, пожалуйста, напишите и мне письмо, а то Вы в прошлый раз всем написали, а мне нет». Служкин нащупал под Пуджиком красную ручку и начертал:

*«Пишу, пишу, дорогая Машенька. Читать твою самостоятельную было так же приятно, как и видеть тебя. 5. Целую, Географ».*

## Мертвые не потеют

Служкин проторчал на остановке двадцать минут, дрожа всеми сочленениями, и, не выдержав, пошел к Кире домой.

– Ты чего так рано? – удивилась Кира. Она была еще в халате.

– Выброси свои ходики на помойку, – буркнул Служкин. – Кино начнется через полчаса.

– Черт, – с досадой сказала Кира. – Ну ладно. Подожди меня тут.

– На лестнице? – разозлился Служкин, ловко выставляя ногу и не давая закрыть дверь. – Пятый класс для меня уже пройденный этап.

Кира помолчала, разглядывая его.

– Ладно, пройди. Но я тебя не приглашала. Смотри не пожалей.

– Не из жалостливых... – проворчал Служкин, впираясь в прихожую.

– Ну, я объясняла тебе, в кино иду, – уйдя в комнату переодеваться, раздраженно сказала кому-то Кира.

В комнате послышался хруст дивана, щелканье ременной пряжки, и на порог вышел атлетически сложенный молодой человек с квадратными плечами.

– Этот, что ли, тут самый крутой? – оглядев Служкина, спросил он.

– Вернись и не лезь в бутылку! – одернула его Кира.

В лифте, взяв Служкина под руку, Кира насмешливо сказала:

– Ты, наверное, хочешь спросить, кто это был?

– Я и так знаю. Брат. Или сантехник.

– И как ты к этому относишься?

– Никак. – Служкин пожал плечами. – Атлет объелся котлет.

– Вообще-то он тебе соперник.

– Победила дружба.

Они спустились с крыльца и зашагали по мокрому асфальту. Недавно выпавший снег не удержался, растаял, а грязь замерзла. Газоны, по которым разворачивались легковушки в тесном дворе, превратились в барельефы, в черную фигурную лепнину. Студеная поздняя осень старчески слеpla. Туманная морось покачивалась между высокими многоэтажками. С их крыш медузой обвисало рыхлое и дряблое небо.

– Если тебе все безразлично, давай вернемся, – сердито сказала Служкину Кира, памятуя об атлете.

– Ты же сама хотела пойти этот фильм посмотреть. Билеты на руках, Будкин вечером нас встретит. Поздно оглобли поворачивать. И вообще, я

же предупреждал, что не люблю американские боевики...

– А я вот люблю, и будь добр это стерпеть. Только в них и можно настоящего мужика увидеть.

Они успели приехать вовремя и даже не очень пострадали в автобусе. На щите перед кинотеатром был изображен летящий в звездном небе мотоцикл с голой девкой верхом. Гардероб в фойе не работал, вешалки торчали за барьером как рога оленей. В зеркальном, музыкальном и разноцветно иллюминированном баре красивая продавщица торговала баночным пивом и сигаретами. По фойе слонялась толпа крепышей в расстегнутых пуховиках. Крепыши были с девушками; они, угрозительно глядя исподлобья, пили пиво, мяли банки и с грохотом бросали их в урны.

– Новое поколение выбирает опьянение... – бормотал, озираясь, Служкин. – Молодежь тянется к культуре: пришла узнать, чем отличается Тинторетто от «Амаретто»...

– Слушай, помолчи, – поморщилась Кира.

Но Служкин на всем скаку остановиться не мог. Они прошли в зал, сели, фильм начался, а Служкин все еще дребезжал:

– Многомиллионный город терроризирует маньяк-убийца, – подражая интонациям рекламного ролика, шептал он. – Полицейский-одиночка вступает в единоборство с бандой. Погони, схватки, каскад головокружительных трюков, настоящие мужчины и прекрасные женщины – все это в новом американском супербоевике «Мертвые не потеют». В главных ролях – неподражаемые Реп Паренн и Хруст Реббер...

Сюжет фильма был замысловат. Злобный Маньяк крошил всех подряд, носясь на мотоцикле во главе Банды. Банда гнездилась на верхнем Этаже заброшенного небоскреба. Лестницы в нем были взорваны. К себе на Этаж Банда попадала, прыгая с разгона на мотоциклах с крыши соседнего, тоже заброшенного небоскреба.

– Это главная художественная находка авторов фильма, – прокомментировал ситуацию Служкин.

Банда поймала Девку и изнасиловала ее. Причем сам Маньяк делал это, привязав Девку к мотоциклу и носясь по крыше. Потом Банда выбросила Девку вниз со своего миллионного Этажа. Девка, естественно, шлепнулась в машину с мусором и выжила. Девка пошла скандалить в полицию. А начальником полиции был брат-близнец Маньяка. Он Девку арестовал и хотел вернуть огорчившейся Банде, чтобы та все-таки прикончила Девку как следует. Девку охранял Лучший Друг Полицейского. Когда Банда пришла за Девкой, он в страшной Битве погиб, защищая жертву, но успел направить Девку к своему лучшему другу –

Полицейскому. Девка застала Полицейского дома одного, он в слезах листал альбом с фотографиями Лучшего Друга.

– А по выходным он обычно ловит сачком бабочек, – развил образ Полицейского Служкин.

Полицейский был необыкновенно молчаливым и нелюдимым типом. Начальство он презирал, никогда с ним не разговаривал и всегда поступал вопреки приказам. Девку он ненавидел, а Маньяка вообще не считал за млекопитающее. Во всех случаях жизни он произносил только одно слово «Фак!».

– Сейчас Полицейский станет всех рубить в капусту, а начнет с самого наглого и мозглявого, – предупредил Служкин.

– Если ты уже смотрел, то дай и мне! – прошипела Кира.

– Разве бы я выдержал дважды прожевать эту ботву?...

Дело пошло по служкинскому прогнозу. Братец-Начальник упек Полицейского за решетку, а Девку отдал Банде. Маньяк повез Девку убивать.

– Дурак, – расстроился за Маньяка Служкин. – Ему надо было сделать пластическую операцию и сдать русским. Может, и выжил бы.

Но Маньяк был глупее Служкина и жить совсем не хотел. Он привез Девку на свой пресловутый Этаж, опять раздел ее и привязал к «Харлей Дэвидсону», собираясь с Бандой повторить всю Программу. Тем временем Полицейский поднял в тюрьме Бунт, все там погнул и сломал и убежал, повиснув на шасси вертолета. Потом Нью-Йоркский воздушный флот начал биться с ним среди громад Манхэттена. Из горящего вертолета Полицейский прыгнул на Этаж Маньяка. Свой вертолет, потерявший актуальность, он направил на соседний дом, с которого Банда и прыгала в свое логово. Дом разнесло к едрене-фене. Пока Полицейский разделялся с Бандой, Маньяк быстро поумнел и решил удрать. Девка погналась за ним, напялив шлем, но ничем не прикрыв срама. Маньяк, Девка и Полицейский дружной стайкой долго носились по карнизам и балконам на мотоциклах. Наконец, Маньяк изловчился прыгнуть, как обычно, на соседний дом – а дома-то уже и не было. И он гробанулся о мостовую так, что оторвалась непутевая Голова. Голова, кстати, прилетела точно в машину Сенатора, который совсем запутался в близнецах и темных делишках и хотел взорвать Нью-Йорк атомной бомбой. А Полицейский пулей – конечно, последней – разнес колесо у мотоцикла Девки, которая хотела повторить полет Маньяка. Девка осталась жива и долго целовалась с Полицейским на фоне финальных титров.

Свет в зале зажегся, и публика, уважительно побрякивая, вразвалку

двинулась к выходу.

– Ты мне испортил все удовольствие, – вставая, с холодным бешенством сказала Служкину Кира.

Служкин только стонал и держался за голову, волоча ноги.

Они вывернули из-за угла кинотеатра на площадку. Уже совсем стемнело – по-осеннему густо, мглисто, неровно. Синий неоновый свет передней стеклянной стены кинотеатра выпукло и однотонно выделял ряд блестящих автомобилей, похожих на клавиши рояля.

– Вон наш экипаж. – Служкин кивнул на будкинскую «вольво».

Кира неохотно взяла Служкина под руку.

И тут из темноты возле машины появилось пятеро каких-то типов. Трое остановились в стороне, один подошел к капоту, а еще один сунулся в открытое окошко, где светилась багровая искра сигареты Будкина. О чем была беседа, никто не слышал, но тип у дверки полез в окно рукой, чтобы открыть машину. Второй тип по-хозяйски уселся на капот.

Через мгновение тот парень, что лез в машину, вдруг растопырил руки, словно восклицая: «Да ба-а!...» – и задом сел в грязный газон. Дверка открылась, Будкин вылез и деловито съездил снизу в челюсть седоку на капоте – тот, мелькнув подошвами, кувыркнулся на другую сторону. От троицы отделился еще один боец, который добежал до Будкина, а потом резко развернулся и поковылял прочь. Он скрючился, выпятив зад и обеими руками скомкав в горсть штаны в паху – так отжимают плавки купальщики, не желающие раздеваться. Через миг вся компания исчезла в кустах.

Кира присвистнула и сощурилась, разглядывая Будкина.

– За что бился? – подходя, спросил Служкин.

– Парнишки номером автобуса ошиблись, – пояснил Будкин.

– Знакомся, старый пень: это Кира, моя... м-м... коллега.

– Очень приятно. – Будкин сдержанно приложился к ручке Киры.

– Ну, гони к цыганам, – распорядился Служкин.

– Я бы покаталась, – нейтрально заметила Кира.

– Э-э... – озадачился Служкин. – Я же отец семейства, народный учитель... Мне домой надо.

– А мне не надо.

Они втроем замолчали. Будкин грустно поглядел на Киру, тяжело хекекнул и отошел в сторону покурить.

– Ты что-то хочешь спросить? – поинтересовалась Кира у Служкина.

– Да, в общем, нет, – подумав, сказал Служкин и открыл перед ней переднюю дверцу.

## Торжество

Который год подряд первый тонкий, но уже прочный зимний снег лег на землю в канун служкинского дня рождения, и Служкин, проснувшись, вместе с диваном поплыл в иглистое белое свечение, такое яркое и неожиданное после темных и тяжелых красок поздней осени.

Прямо с утра началась подготовка к празднеству. Надя сердито застучала на кухне ножом. Служкин на четвереньках ползал под кроватью с пылесосом. Пуджик, раздувшись огромным шаром, сидел в прихожей на полке для шапок и шипел на пылесосный шланг. Тата за письменным столом старательно черкала в альбоме цветными карандашами.

Потом Служкин носился из кухни в комнату с тарелками. Пуджик, напевая, в своем углу пожирал обильные селедочные обрезки, а Тата пыталась повязать ему на хвост свой бантик.

– Не понимаю, зачем каждый год устраивать такой кутеж? – недовольно ворчала Надя, шинкуя морковь. – Ладно бы еще – дата была круглая!... А так?... Лишь бы нажраться.

– Встреча с друзьями – это способ выжить, а не выжрать.

– Нашел друзей! Ладно – Будкин, он все равно припрется. А зачем с ним Рунева? Невежливо тащить с собой подругу, пока она не стала женой. И Колесниковых тоже зачем позвал? Они разве звали тебя на свои дни рождения? Ветке главное напиться, а муж ее вообще дурак, куда он нужен? Тем более они с сыном придут...

– Ну, не ругайся хоть сегодня, – примирительно попросил Служкин.

– Я вообще могу молчать весь день! – раздраженно крикнула Надя.

К трем часам они поссорились еще раз, но праздничный стол был готов. Надя и Тата поздравили именинника: Надя осторожно поцеловала и вручила набор из одеколона, дезодоранта и крема для бритья, а Тата подарила папе аппликацию – домик с трубой в окружении елочек. Служкин поднял Тату на руки и поцеловал в обе щеки.

В половине четвертого звонок затрещал, и явился Будкин.

– Хе-хе, плешивый мерин, – сказал он. – Поздравляю. Теперь на год скорее сдохнешь... Это тебе. – И он вручил Служкину цветастый двухтомник.

– Знаешь, что купить, сучье вымя!... – посмотрев на обложку, сдавленно промычал Служкин и двинул Будкина в грудь кулаком.

Затем в дверь стеснительно звякнула Саша Рунева. Она подарила

Служкину рубашку в целлофановой упаковке и извинилась:

– Мне показалось, что тебе подойдет...

Она робко поцеловала его и вытерла помаду платочком.

– Ну зачем же!... – обескураженно завопил Служкин, хватаясь за щеку, будто у него стрельнуло в зуб.

Последними прибыли Колесниковы. Ветка, визжа, повисла на Служкине, а потом перецеловала всех – и Сашеньку, с которой была едва знакома, и Надю, про которую знала, что та ее недолюбливает, и Будкина, который для такого дела охотно выбежал из сортира. Колесников потряс всем руки и протянул Наде толстую бутылку – свой подарок. Надя несколько театрально улыбалась гостям. Шуруп вышел из-за родительских ног и солидно пробасил:

– Дядя Витя, я тебя тоже проздравляю.

– Вот, знакомьтесь, – предложил Служкин Колесникову. – Вы еще не встречались, хотя я всем все про всех рассказывал. Вовка, это Саша Рунева. Сашенька, это Вовка, муж Ветки.

Сашенька и Колесников странно переглянулись.

– Ну что? – спросил Служкин. – Метнемся к станкам? – Он царственным жестом указал на стол.

Празднество началось. Пока звучали традиционные тосты – за именинника, за родителей, за жену и дочку, за гостей, – Служкин еще сдерживался в речах и поступках, но затем развернулся во всю прыть. Он исхитрялся быть сразу во всех местах, подливал в каждую рюмку, разговаривал со всеми одновременно и в то же время вроде бы сидел на своем месте, не отлучаясь ни на миг, принимал положенные чествования, однако на нем уже похрустывала подаренная рубашка, рядом с локтем скромно притулилась уже на треть початая бутылка Колесниковых, которую Надя спрятала в холодильник, а в двухтомнике, лежащем на телевизоре, очутилась закладка из конфетного фантика на середине второго тома. Первым захмелел Колесников. Он рассказывал Сашеньке людоедские истории о своей службе в милиции. Покраснев и расстегнув воротник, он раздвинул посуду в разные стороны и на свободном пространстве стола ладонями изображал различные положения.

– Мы вот тут, в кустах сидим, а с этой стороны у нас вторая засада. Они приезжают, все на «джипах», все шкафы, в коже, со стволами под мышками. Сходятся на разборку. А мы внезапно по мегафону: «Не двигаться! Бросить оружие!» Куприянов своим кричит: «Атас, засада!» – и Залымову пулю в грудь! Ну, тут мы...

Сашенька слушала невнимательно, крутила в пальцах рюмку, куда со

словами «Где Петрушка, там пирушка!» – то и дело подливал вино именинник. Сашенька механически пила и глядела на Будкина, который учил Тату есть колбасу с помощью ножа и вилки. Тата, пыхтя и высоко задирая локотки, неумело мочалила колбасный кружок, а Будкин брал отрезанные кусочки пальцами и клал себе в рот, всякий раз ехидно подмигивая Наде. Надя, смеясь, возмущалась этим хамством и путано рассказывала Ветке рецепт нового торта. Ветка карандашом для глаз поспешно записывала рецепт на салфетке и рвала грифелем бумагу. Пользуясь свободой, Шуруп покинул компанию и возле кровати безуспешно усаживал Таточкину куклу на спину Пуджика, что лежал в позе сфинкса и невозмутимо дремал.

– Вовка, кончай Сашеньке уши компостировать!... – кричал Служкин.

Через некоторое время он выбежал из-за стола, включил магнитофон и начал отплясывать, как павиан в брачный период. Но его пример никого не воспламенил. Тогда Служкин задернул шторы, погасил люстру и переключил кассету. Медляки сыграли свою роль, и теперь никто не остался сидеть. Колесников приклеился к Саше, Будкин облапил Надю, а Служкину досталась Ветка.

– Что-то твой благоверный предпочтение отдает новым знакомым, – прошептал ей Служкин.

– А-а, плевать, фиг с ним, – беспечно отозвалась Ветка, прижимаясь к нему грудью и жарко дыша в ухо. – Нам же лучше, да, Витька? Я сейчас такая пьяная, мне крутой порнухи хочется... Давай его накачаем, чтобы он у вас заночевал, а потом ты пойдешь меня домой проводить, там и оторвемся...

– Женщина – лучший подарок, – ответил Служкин.

В дальнем углу, в темноте, Колесников умело и жадно мямлил Сашеньку, не переставая бубнить:

– На операцию втроем поехали: я и еще двое, омовцы...

Когда Служкин повел Надю, Надя сказала, что ему хватит пить.

– Но долго буду тем любезен я народу, – доверительно пояснил ей Служкин, – что чувства добрые я литрой пробуждал...

В доказательство после танца он озорно опрокинул еще рюмку.

Колесников пошел в туалет, и Саша наконец перепала Служкину.

– Витенька, я так рада нашей дружбе, – прошептала она, положив голову Служкину на грудь.

– Это не дружба, – тотчас поправил ее Служкин. – Это несостоявшаяся любовь.

– Помнишь, я тебе говорила, что у меня ухажер появился?... Ты не

думай ничего такого... Ну, цветы дарит, гулять зовет, с работы встречает, и все. С ним легко, ни о чем думать не надо, – он дурак. Знаешь, кто это? Это Колесников.

– Ну и ну! – удивился Служкин. – Ай да Виктор Сергеевич, старая толстая сводня!... Значит, тут все мужики – твои поклонники?

– Одного я терплю, другого люблю, а без третьего жить не могу...

Сашенька потянулась к Служкину губами, и они долго поцеловались.

– А что Будкин? – напомнил потом Служкин Сашеньке.

– Я не уверена, что он вообще заметил мое присутствие...

На кухне, где они курили, Будкин, хекекая, заявил:

– Врет она все, Витус. Она уже напросилась ко мне сегодня на ночь. Вот там и замечу ее присутствие. Просто ей пожаловаться охота больше, чем потрахаться. Давай задушевничай с ней – тебе же нравится.

В дверь неожиданно позвонили, и открыл Колесников.

– В чем дело? – услышал Служкин его милицейские интонации. – Кто вы такие? Кого надо? По какому делу? – Видимо, в паузах звучали и ответы, не доносящиеся до кухни. Колесников подумал и крикнул: – Виктор, тут к тебе какие-то малолетние преступники пришли.

## Отцы

Служкин выбежал в прихожую и увидел в коридоре Деменева, Тютин, Бармина, Овечкина и Чебыкина с гитарой.

– А мы вас поздравить пришли, – улыбаясь, сказал Чебыкин.

– Джастен момент! – крикнул Служкин, вернулся в кухню, схватил колесниковскую бутылку, металлические стопки и помчался обратно. Со школьниками он поднялся по лестнице вверх на два марша, и там все расселись на ступеньках. Служкин разлил.

– Ну, с днем рождения вас, – солидно сказал Бармин и пригубил вино. Все, кроме Овечкина, выпили.

– Овчину хорошо, – завистливо сказал Тютин, вытирая ладонью рот. – Ему пить нельзя. Он на одной площадке с Розой Борисовной живет, и мамаша его с ней дружит...

– Чего там сегодня новенького в школе? – спросил Служкин.

– Сушку довели. Она деньги считала, а мы украли с ее стола столтник. Она целый урок выясняла, кто украл. Так и не нашла.

– На фиг? Чего на сто рублей купишь?

– Да просто так, на спор. Еще сегодня мы химичке в ящик стола дохлую мышь бросили. Только она ящик на уроке не открывала, а то бы мы поржали, как она визжит.

– Мы не так над учителями прикалывались, – пренебрежительно заявил Служкин, снова разливая вино. – Вот, помню, ходила у нас по классу записка: «Это твой носок висит на люстре?» Каждый прочитает и сразу на потолок посмотрит. Наша классная по кличке Чекушка записку отняла, прочитала и сама глазами вверх зырк. Тут мы все и рухнули.

Служкин захохотал над собственным воспоминанием.

– Давайте еще клюкнем, и я вам расскажу, – распорядился он, и все клюкнули. – Тоже, помню, был какой-то съезд, и у нас в комсомольском уголке повесили ящик с надписью: «Твои вопросы съезду». Через месяц его сняли, а там один-единственный листочек: «А когда в нашей школе откроется мужской туалет на втором этаже?»

Отсмеявшись, все снова приняли по рюмке.

– Ну что, Виктор Сергеевич, в поход-то в мае месяце идем? – спросил Деменев и подмигнул.

– Отцы, блин! – возмутился Служкин. – Еще полгода до мая, а вы мне уже плешь проели! Сказал «идем» – значит, идем.

– У нас уже половина девярых с вами собирается.

– Я столько не подниму, вы чего? Не агитируйте зря. Только из вашего класса. Остальные пусть вон физрука просят.

– Не-е, все хотят с вами, потому что вы учитель клевый.

– Раздолбай я клевый, а учитель из меня – как из колбасы телескоп, – опять разливая вино, честно сообщил Служкин.

– У вас на уроках зыко: и побазарить можно, и приколоться... А на других уроках – только дернись. Вас и доводить-то неохота...

– Ну да. Вон Градусов как через силу старается – пот градом.

– Градусов – фигня. Зато к вам на урок, наоборот, двоечники идут, а отличники не хотят. Это потому что вы какой-то особенный учитель, не брынза, как Сушка или там немка...

– Вы Киру Валерьевну не трогайте, – обиделся Служкин. – Не доводите ее, она мне нравится.

– А мы видели, как вы с ней гуляли.

– Видели – так помалкивайте. Лучше вон про Градусова говорите... Отцы понимающе заржали.

– Градусов пообещал вашего кота повесить за то, что вы ему двойку за первую четверть вывели.

– Пятерки, бывает, я ставлю зря, а двойки – нет. Пусть учит географию, дурак. Я, конечно, понимаю, что никому из вас эта география никуда не упирается, да и устаревает моментально... Однако надо. А Градусова я и сам повешу за... Ну, узнает, когда повешу.

– Он, Виктор Сергеевич, про вас песню сочинил. Ругательную.

– Ну-ка, отцы, давайте, наяривайте.

Чебыкин перетащил гитару со спины на живот, заиграл и запел на мотив старого шлягера «Миллион роз»:

Жил-был Географ один,  
Карту имел и глобус.  
Но он детей не любил,  
Тех, что не метили в вуз.

Он их чуханил всегда,  
Ставил им двойки за все,  
Был потому что глиста,  
Старый, вонючий козел...

Служкин хохотал так, что чуть не упал с лестницы.  
– А вы, говорят, Виктор Сергеевич, тоже песни сочиняете?  
– Кто говорит?  
– Машка Большакова из «А» класса, – сознался Овечкин.  
– Спойте нам песню, – жалобно попросил Тютин.  
– За мах, – согласился Служкин. – Я пьяный, мне по фиг.  
Он взял у Чебыкина гитару, забренчал без складу и ладу и надрывно завопил на весь подъезд:

Когда к нам в Россию поляки пришли,  
Крестьяне, конечно, спужались.  
Нашелся предатель всей Русской земли,  
Ивашкой Сусаниным звали.

За литр самогону продался врагу  
И тут же нажрался халявы.  
Решил провести иноземцев в Москву  
И лесом повел глухотным.

Идут супостаты, не видно ни зги,  
И жрать захотелось до боли.  
И видят: Сусанин им пудрит мозги,  
Дорогу забыл алкоголик.

От литра Сусанин совсем окосел.  
Поляки совсем осерчали,  
Схватились за сабли и с криком «Пся крив!»  
На части его порубали.

Но выйти из леса уже не могли,  
Обратно дорога забыта.  
И, прокляв предателя Русской земли,  
Откинули дружно копыта.

От служкиных воплей в подъезд вышла Надя.  
– Ты что, с ума сошел? – спросила она. – Молодые люди, как вам не стыдно пьянствовать с ним? Ладно – он, он ни трезвый, ни пьяный не соображает, что можно, а чего нельзя учителю. Но вы-то должны понимать,

что можно, а чего нельзя ученикам!...

– Все-все, Надя, – торопливо поднялся Служкин. – Дома разберемся...

– Он пошел вниз, оглянулся и подмигнул: – Спасибо, что поздравили, отцы. А сейчас мне задницу на британский флаг порвут. Пока!

– Нашел с кем дружить! – с невыразимым презрением сказала Надя в прихожей, запирая дверь.

– Бог, когда людей создавал, тоже не выбирал материала, – мрачно отозвался Служкин.

## Темная ночь

– Вовка, я с Шурупом домой пошла! – громко объявила Ветка. – Ты оставайся, если хочешь, а меня Витька проводит. Надя, отпустишь его?...

Надя фыркнула.

Шуруп был усталый и сонный, молчал, тяжело вздыхал. На улице Служкин взял его за руку. Тьма была прозрачной от свечения снега.

– Представляешь, Ветка, я недавно одной своей ученице рассказывал историю нашего выпускного романа, – неожиданно признался Служкин. – Приврал, конечно, с три короба... Она затащилась, а мне грустно стало. Давай как-нибудь съездим снова на ту пристань?

– Зачем в такую даль ехать, когда и дома можно?

– Дура ты, – огорчился Служкин.

Они по заснеженным тротуарам тихонько дошли до клуба, и тут Служкин обнаружил, что забыл дома сигареты.

– Блин, Ветка, – пробормотал он. – Можно я до киоска сгоняю?...

– Сгоняй, – согласилась Ветка. – Только не долго. Я жду тебя дома.

Служкин побежал по улице, оставив Ветку с Шурупом, обогнул здание клуба и углубился в парк, который все называли Грачевником. Фонари здесь не светили, и Служкин сбавил ход до шага. В Грачевнике стояла морозная, черная тишина, чуть приподнятая над землей белизной снега. Тучи над соснами размело ветром, и кроны казались голубыми, стеклянными. Дьявольское, inferнальное небо было как вспоротое брюхо, и зеленой электрической болью в нем горели звезды, как оборванные нервы. Служкин свернул с тропы и побрел по мелкой целине, задрал голову. Ноги вынесли его к старым качелям. В ночной ноябрьской жути качели выглядели как пыточный инструмент. Смахнув перчаткой снег с сиденья, Служкин взобрался на него и ухватился руками за длинные штанги, будто за веревки колоколов.

Качели закрипели, поехав над землей. Служкин приседал, раскачиваясь всем телом и двигая качели. Полы его плаща зашелестели, разворачиваясь. Снег вокруг взвихрился, белым пуделем заметался вслед размахам. Служкин раскачивался все сильнее и сильнее, то взлетая лицом к небу, то всей грудью возносясь над землей, точно твердь его не притягивала, а отталкивала. Небосвод как гигантский искрящийся диск тоже зашатался на оси. Звезды пересыпались из стороны в сторону, оставляя светящиеся царапины. Со свистом и визгом ржавых шарниров

Служкин носился в орбите качелей – искра жизни в маятнике вечного мирового времени. Разжав пальцы в верхней точке виража, он спрыгнул с качелей, пронесся над кустами как черная, страшная птица и рухнул в снег.

Кряхтя и охая, он поднялся и поковылял дальше. Опустевшие качели, качаясь по инерции, стонали посреди пустого ночного парка.

Служкин выбрался к автобусной остановке и прилип к киоску.

– Бутылку водки, и откройте сразу, – как пиво, заказал он.

Он сунул в окошко деньги и вытащил бутылку.

– Паленая? – спросил он и приложился к горлышку.

– Настоящая, – соврали из окошка. – Закусить надо?

– После первой не закусываю, – сказал Служкин и пошел прочь.

Возле подъезда Ветки он долго щурил глаза и считал пальцем окна. Свет у Ветки не горел. Ветка не дождалась его и легла спать.

В Веткинском подъезде Служкин сел на лестницу и начал пить водку. Постепенно он опростал почти полбутылки. Сидеть ему надоело, он встал и пошел на улицу.

Потом началось что-то странное. Бутылка утерялась, зато откуда-то появились так и не купленные сигареты. Какая-то мелкая шпана за сигарету пыталась перетащить Служкина через какой-то бетонный забор, но так и не смогла. Потом Служкин умывался ледяной водой на ключике, чтобы привести себя в чувство. Потом у бани пил какой-то портвейн с каким-то подозрительным типом. Потом спал на скамейке. Потом на какой-то стройке свалился в котлован и долго блуждал впотьмах в недрах возведенного фундамента, пытаясь найти выход. Выбрался оттуда он грязный, как свинья, и почти сразу же рядом с ним остановился милицкий «уазик».

Служкин пришел в себя только в ярко освещенном помещении отделения милиции.

– Ой! – испуганно сказал он. – Где я? В вытрезвителе, что ли?...

– Сидеть! – заорал на него через стойку сержант.

Служкин присмирел, озираясь, и потрогал физиономию – цела ли? Из коридора напротив донесся рев и пьяный мат. Одна из дверей распахнулась, и наружу вывалился мужик в расстегнутой рубашке и трусах. Ему выкручивал руку второй милиционер.

– Хазин, помоги уложить! – закричал он.

– Убью, если пошевелишься! – пообещал сержант Служкину и с дубинкой побежал на помощь коллеге.

Едва оба милиционера заволокли мужика в комнату, Служкин метнулся к телефону на стойке и набрал номер Будкина.

– Будкин, это Служкин, – быстро сказал он. – Выручай, я в трезвяке!...

Вернулся сержант Хазин, сел, подозрительно ощупал Служкина взглядом и начал скучно допрашивать, записывая ответы. Изображая предупредительность, Служкин отвечал охотно и многословно, но все врал.

Минут через пятнадцать в отделение решительно вступил Будкин. Он уверенно пошагал сразу к стойке. Его расстегнутый плащ летел ему вслед страшно и грозно, как чапаевская бурка. Служкин дернулся навстречу Будкину, и Будкин одновременно с сержантом свирепо рявкнул:

– Сидеть!

– У вас, значит, этот голубь, – проговорил Будкин, по-хозяйски опираясь на стойку. – А я ищу его который час... Какие с ним будут формальности?

Не меньше получаса прошло, пока Будкин заполнял какие-то бланки и расплачивался. Наконец он грубо подхватил Служкина под мышку и потащил на выход, прошипев краем рта:

– Ногами скорее шевели, идиот!...

От милицейского подъезда они дунули к ближайшей подворотне.

– Ты чего, в ментовке бомбу заложил?... – задыхаясь, спросил Служкин.

– Быстрее надо было, пока этот сержант меня не вспомнил, – пояснил Будкин и хехекнул: – Я в школе у него два года в сортире мелочь вытрясал... А ты где пропадал? Почему грязный такой? Надька мне уже сто раз звонила. Чего ты бесишься-то, Витус?

– Я не бесюсь... не бешусь... Короче, все ништяк.

– Да-а... – Будкин закурил, печально рассматривая Служкина. – Вот сейчас тебе и будет ништяк...

– А у тебя нельзя отсидеться? – робко спросил Служкин.

– У меня негде. Там сейчас Рунева с Колесниковым.

– Ни фиги себе! – удивился Служкин. – А чего они делают?

– Чего ты с Веткой делал? Торпеду полировал. Вот и они тоже.

– А ты чего?...

– Че-че, – хехекнув, передразнил Будкин. – Варю суп харчо. Пусть трахаются, палас не протрут. Пойдем лучше пиво пить. Угощаю.

Только на рассвете Служкин позвонил в свою дверь. Ему открыла осунувшаяся Надя и посторонилась, пропуская в прихожую.

– Это я, твой пупсик, – беспомощно сказал Служкин.

– Ну что, удовлетворила тебя Ветка как женщина? – поинтересовалась Надя, недобро сощурившись.

– Нет... – виновато сознался Служкин.

– Жаль, что квартира твоя и я не могу тебя выгнать... Я надеюсь, что сегодня твой день рождения уже кончился?

– Кончился, – покорно согласился Служкин.

– Ну и у меня с тобой все кончилось, – спокойно заявила Надя и с размаха съездила ему по скуле.

## **Часть II. Ищу человека**

## Выбираем «лошадь»

В зеленоватом арктическом небе не было ни единого облака, как ни единой мысли. Серебряное, дымное солнце походило на луну, с которой сошлифовали щербины. Замерзшие после оттепели деревья в палисадниках переливчато вздымались хрустальными люстрами и свешивали в разные стороны ледяные гроздья отяжелевших ветвей.

Служкин запустил девятый «А» в кабинет и раскрыл классный журнал. В нем лежала иносказательная – чтобы не поняли другие учителя – записка, написанная им самому себе в прошлую пятницу.

– Так, – сказал Служкин, когда красная профессура, рассевшись, утомилась. – У меня к вам, господа, вопрос: почему это вы всем классом в прошлую пятницу сбежали с урока, а?

– Кто? Мы?! – искренне изумились девятиклассники. – Это вы сбежали! Это вас не было! Мы ждали, мы стучались! И когда дверь пинали, вы тоже не орали! И в замочной скважине вас не было!

– Не было вас, – авторитетно подтвердил Старков. – Мы честно проторчали семь минут после звонка и только потом ушли.

– Почему же я, как пень, сидел весь шестой урок один?

– У нас география четвертым была! – закричала красная профессура. – А на пятом-шестом мы на физре, как сволочи, три километра бегали!

– Расписание-то изменили, – пояснил Старков.

– Посмотреть-то его не судьба была? – фыркнула Митрофанова.

– А у нас в учительской на расписании никаких перемен не было!... – обескураженно развел руками Служкин.

– Ага, а мы виноваты, – расстроилась красная профессура.

– Ладно, не нойте, – махнул рукой Служкин. – Что делать будем, если так вышло? Есть три выхода. Первый – честно рассказать все Розе Борисовне, и пусть она решает. Второй – сегодня провести дополнительный урок. Третий – сделать вид, что «я не я и лошадь не моя». Что предпочтете?

– «Лошадь»! – дружно закричала красная профессура.

– Роза Борисовна всех убьет, и вас, и нас, – рассудительно сказал Старков, – и заставит проводить все тот же дополнительный урок. А на него придет только полкласса, да и то вас слушать не будут. Так что лучше уж сразу «лошадь», Виктор Сергеевич.

– Тогда два условия. Первое: вы самостоятельно учите дома еще один

параграф и в следующий раз по нему – проверочная...

– Не пройдет, – прокомментировал Старков. – Никто учить не будет. А впрочем, мы никогда не учим географию, а все проверочные пишем на пятерки. Ладно, принимаем это условие. Давайте второе.

– Второе – чтобы об этом не узнала Роза Борисовна.

Волнение концентрическими кругами пробежало по классу и сошлось наконец почему-то на Маше Большаковой.

– Она не узнает, – чуть покраснев, пообещала за всех Маша.

В учительской Служкин оживленно пересказал историю своего договора с девятым «А» Кире Валерьевне.

– Знаешь, – поморщившись, сказала Кира, – я не люблю, когда мне показывают голый, грязный зад и при этом радуются.

Служкин осекся, помолчал и ответил:

– А я не люблю, когда ставят сапоги на пироги.

– Ты ничего не забыл? – холодно поинтересовалась Кира.

Служкин возвел глаза и начал вспоминать, загибая пальцы:

– Зубы почистил... Ботинки зашнуровал... Ширинку застегнул...

– А где журнал девятого «А»? – устало спросила Кира.

– Роза Борисовна забрала, – блекло ответил Служкин.

Едва он вошел в квартиру, заорал телефон.

– Витька, это ты? – раздался голос Ветки. – Ты чего, с ума сошел? Куда ты пропал тогда? Колесникова всю ночь дома не было! Мы бы с тобой так оторвались!...

В это время дверь открылась, и в прихожую вбежала Тата.

– Ветка, потом поговорим, – торопливо сказал Служкин и положил трубку.

– Папа дома! – ликующе крикнула Тата Наде.

– Ты рыбу коту купил? – не здороваясь, спросила Надя. – Нет? Своим ужином его кормить будешь. Пока не разделся, сходи в подвал, поищи его. Потом мусор выброси.

С ведром в руке Служкин вышел из подъезда. Он направился вдоль фундамента дома, кискистая в разбитые подвальные окна. Из одного окна в ответ раздалось задумчивое бурчание и скрежет когтей по водопроводным трубам. Служкин присел возле этого окна на корточки и позвал снова:

– Кис-кис-кис... Пуджик, гад... Кис-кис-кис... Ты чего сбежал? Кормят, что ли, плохо? Или дорогу домой забыл? Кис-кис-кис... Иди сюда, куда исчез?... Кис-кис-кис... Опять пропал, сволочь... Кис-кис... Ладно – я, а ты-то чего выпендриваешься?

## Собачья доля

После школы Служкин пошел не домой, а к Будкину.

– Ты чего в таком виде? – мрачно спросил он Будкина, открывшего ему дверь в трусах и длинной импортной майке.

– Я же дома, – удивился Будкин. – А в каком виде мне ходить?...

– Как я – на коне и в броне, – пробурчал Служкин.

На кухне он грузно уселся на табуретку и закурил. Будкин, хехекнув, продолжил поедание обеда – водянистого пюре из картофельных хлопьев. Больше он ничего не умел готовить. Чтобы было не так противно, Будкин закусывал шоколадными конфетами «ассорти» из коробки.

– Чего такой злой? – поинтересовался он.

– Школа достала.

– Так уволься, – просто посоветовал Будкин.

– Уволься... – недовольно повторил Служкин. – А я вот не хочу. Вроде отвратно, а тянет обратно. Наверное, это первая любовь.

– Ну, валяй, рассказывай, – предложил Будкин. – Для этого пришел?

– Опять у меня сегодня баталия с зондер-командой была, – начал Служкин. – У нас при столовке ошивается шавка, помой там жрет – болонка, белая, как плесень, злющая, трусливая, в общем, гадость на ножках. И вот перед самым уроком Градусов затащил ее в кабинет.

Все развеселились, орут: она у нас новенькая, она географию учить хочет, запишите в журнал... А я уже усвоил, что зондер-команде ни в малейшем уступать нельзя. Со всемирными потопами компромиссов не бывает. Ну, я и заявляю Градусову: либо ты на уроке, либо эта шавка.

А Градусову только того и надо. Напустился он на собачонку, как черт на репу. Ловить стал. Носился по всему классу, прыгал с разбега, под парты кидался. Схватил швабру, строчил из нее, как из пулемета, метал, как копье, пока я не отнял. Он тогда стал засады устраивать, гавкал, мяукал, умолял собачонку сдаться, головой об пол стучал, рыдал. Собачонка визжит, класс свистит, топчет, хохочет. Я не выдержал, в удобный момент сцапал Градусова и вышиб в коридор.

Он сразу в дверь пинать начал. Я открыл – он убежал. А зондер-команду после Градусова разве утихомиришь? Я поорал, побегал между парт, пригоршню двоек поставил – хоть сам успокоился. Тут стук в дверь. Я купился, открываю – Градусов в кабинет рвется, чуть меня с ног не свалил, поганец. Вовпит: пацаны, портфель мой заберите! Я снова его вытурил. В

классе – рев, как на пилораме. Я еще чуток побегал, дневники поотбирал, наконец стал писать на доске тему урока. И тут снова в дверь барабанят. Ну что за хреновина!... Я дверь распахиваю – а в коридоре темнотища, смерти своей не разглядишь – и с разгону как рявкну: еще раз в дверь стукнешь – шею сверну!... Глядь – а там Угроза Борисовна.

Меня едва Кондрат не треснул. Вплывает она в кабинет. За ней Градусов, как овечка, семенит. Зондер-команда вмиг преобразилась, я даже остолбенел: все сидят, все пишут без помарок, все хорошисты, все голубоглазые. Один я Д'Артаньян стою: глаза повылазили, из свитера ключья торчат, с клыков капает и в руке указка окровавленная. Ну, Угроза сперва зондер-команду по бревнышкам раскатала, потом за меня взялась. Дети, мол, ходят в школу не для того, чтобы слоняться по коридорам, а если из вас педагог, как из огурца бомба, так вы – трах-тарарах-тах-тах. От меня после этого вообще одна икебана осталась. Посадила Угроза Градусова на место, пожурила и ушла. А я стою перед классом, как сортир без дверки.

Мерзкая же собачонка, про которую все уже забыли, тем временем тихо пристроилась за моим столом у доски и – бац! – наложила целую кучу. У зондер-команды истерика, а у меня руки опустились. Все, говорю. Урок вы мне сорвали – хрен с вами. Но отсюда не уйдете, пока дерьмо не уберете. Журнал под мышку и вон из класса.

Покурил на крылечке – полегчало. Тут звонок на перемену. Я возвращаюсь к своей двери – зондер-команда колотится, вопит. Я спрашиваю: убрали? Оттуда: сам убирай, географ, козел вонючий! Добро, говорю, сидите. Пошел на их следующий урок, объяснил все училке в пристойных выражениях. Она и рада от зондер-команды отделаться, тем более за мой счет.

Целый урок бродил вокруг школы, на перемене вернулся. Как настроение? – через дверь спрашиваю. Убрали, говорят. Но я не лыком шит. Разойдись от двери, приказываю, я в замочную скважину посмотрю. Не расходятся. Значит, врут. Ладно, хорьки, говорю, пошел второй тайм. Они орут: дверь выбьем, окна высадим, выпрыгнем!... Валяйте, соглашаюсь, и пошел со следующей училкой договариваться.

Осада продолжается. Этот урок у них последний по расписанию. На перемене традиционно стою у двери. Зондер-команда орет, стучит, уже паника начинается: мне ключи отдать надо! Меня ждут! В туалет хочу! Ну, думаю, дело сдвинулось с мертвой точки. Пока не уберете, говорю, будете сидеть хоть до вечера, хоть до утра, хоть до второго пришествия.

На уроке от двери не отхожу, подслушиваю. В кабинете до меня уже

никому дела нет, там гражданская война. Орут: это ты притащил, ты и убирай! – это ты придумал! – это ты подговаривал! – сволочи вы все! – и кто-то уже рыдает. Но звонка я дождался.

Со звонком спрашиваю: убрали? Убрали, кричат. Разойдись от двери, говорю, я смотреть буду! Заглянул в скважину – и правда, перед доской чисто. Отомкнул я замок, они лавиной хлынули. Умчались. Зашел я в кабинет – мамочки!... Все окна раскрыты, накурено, парты повалены, пол замусорен, мой стол и стул обхарканы, доска матюками про меня исписана. А самое-то главное, что дерьмо собачье попросту шваброй мне под стол свезли, и все! Так ничего я и не добился. Урок сорвал, учителям напакостил, себе обеспечил разборку с Угрозой, да еще и все драить пришлось самому...

Служкин умолк. Оживление его угасло. Он сидел усталый, подавленный. Будкин достал сигареты и протянул ему. Служкин закурил.

– Может, побить твоего Термометра? – предложил Будкин.

– Я по женщинам и детям не стреляю.

– Ты не добрый, Витус, – сказал Будкин, – а добренький. Поэтому у тебя в жизни все наперекосяк. И девки поэтому обламывают.

– Да хрен с девками... – Служкин махнул рукой.

– А я не девок, а больше Надю имею в виду.

– А что, заметно? – грустно спросил Служкин.

– Еще как. Видно, что она тебя не любит.

– Ну да, – покорно согласился Служкин. – А также не уважает. Уважение заработать надо, а у нас с ней расхождение в жизненных ценностях. Вот такая белиберда, блин.

– Ты-то сам как к Наде относишься?

– А как можно долго жить с человеком и не любить его?

– Интересно, как она с тобой спит...

– Никак. Может, потому она и зверствует. Хоть бы любовника себе завела, дура...

– Да-а... – закричал Будкин. – И чего делать будешь?

– А ничего, – пожал плечами Служкин. – Не хочу провоцировать ее, не хочу ограничивать. Пусть сама решит, чего ей надо. Жизнь-то ее.

– Ой, Витус, не доведет это тебя до добра...

– Сам знаю. В конце концов я во всем и окажусь виноватым. Такая уж у меня позиция: на меня все свалить легко. Однако по-другому жить не собираюсь. Я правильно поступаю, вот.

– Может, и правильно, – подумав, кивнул Будкин, – вот только, Витус, странно у тебя получается. Поступаешь ты правильно, а выходит – дрянь.

– Судьба, – мрачно хмыкнул Служкин.

## Станция Валёжная

– Эй, парень, станция-то ваша...

Служкина тормозил дед, занимавший скамейку напротив. Служкин расклеил глаза, стремительно вскочил в спальнике на колени и посмотрел в верхнюю половину окна – нижняя толсто заросла дремучими ледяными папоротниками. Мимо электрички по кособокому увалисто тянулись серые, кособокие домики Валёжной.

– Атас, отцы!... – заорал Служкин. – Валёжную проспали!...

Отцы в спальниках полетели со скамеек на пол.

Пустой вагон был полон белого, известкового света. Электричка завывала, притормаживая, и под полом вагона инфарктно заколотилось ее металлическое сердце. Динамики лаконично квакнули: «Валёжная!»

Заспанные, со съехавшими набок шапочками, в расстегнутых куртках и задравшихся свитерах, отцы лихорадочно заматались по вагону, сгребая в ком свои спальные мешки, шмотки, раскрытые рюкзаки.

Служкин взгромоздился на скамейку и крикнул:

– Выбрасывайте все как есть! Потом соберем!...

Электричка встала. В тамбуре зашипели разъезжающиеся двери. Запинаясь друг об друга, налетая на скамейки, теряя шмотки и размахивая незавязанными шнурками лыжных ботинок, отцы ордой кинулись к тамбуру. Из раскрытых дверей электрички рюкзаки и спальники полетели прямо в сугроб на перроне.

– Тютин – держи двери! Деменев – на стоп-кран! Овечкин, Чебыкин – за лыжами! Бармин, проверь вагон! – командовал Служкин.

– Не успеем, Виктор Сергеевич! Не успеем же! – стонал Тютин.

Овечкин и Чебыкин схватили по охапке лыж и палок, с грохотом поволокли их в тамбур. Бармин как пловец нырнул под скамейку за потерянными варежками. Служкин жадно пожирал глазами вагон – не осталось ли чего?

– Уходим! – крикнул он, как партизан, подорвавший мост.

Они горохом высыпались из тамбура в сугроб. Двери зашипели и съехались. Электричка голодно икнула, дернулась и покатилась. Рельсы задрожали, а вдоль вращающихся колес поднялась искристая снежная пыль.

Ускоряясь, мелькая окнами, электричка с воем и грохотом проструилась мимо. И, улетев, она как застежка-молния вдруг распахнула

перед глазами огромную, мягкую полость окоема. Вниз от путей текли покатые холмы, заросшие сизым лесом. Далеко-далеко они превращались в серые волны, плавно смыкающиеся с неровно провисшей плоскостью седовато-голубого облачного поля над головой.

Они стояли на пустом перроне среди разбросанных вещей. Эти вещи среди снега чем-то напоминали последнюю стоянку полярного капитана Русанова. Служкин закурил.

– Вот и приехали, – сказал он. – С добрым утром, товарищи.

Неторопливо собравшись, они пошагали от станции в гору по улице поселка, по глубоким отпечаткам тракторных гусениц.

Здесь, оказывается, была глубокая и глухая зима. Дома по ноздри погрузились в снег, нахлобучили на глаза белые папахи и хмуро провожали отцов темными отблесками окон. Над трубами мельтешил горячий воздух – дыхание еще не остывших за ночь печей. Каждая штакетина длинных заборов была заботливо одета в рукавичку. По обочине тянулись бесконечные поленницы, чем-то похожие на деревянные календари.

Словно бы из последних сил поднявшись на косогор, Валёжная кончилась кривой баней. Дальше расстилалась чисто подметенная, сонно-обморочная равнина. Дорога улетала по ней, устремившись к какой-то своей неведомой цели. Отцы дошагали до излучины и встали.

– Напяливайте лыжи, – сказал Служкин. – Здесь мы свернем и по целине дойдем до лога. На другой его стороне будет торная лыжня, которая и приведет нас к Шихановской пещере.

– А вдруг не будет лыжни? – пал духом Тютин.

– Будет, – заверил Служкин.

Отцы надевали лыжи, хлопали ими по дороге, отбивая снег, налипший на еще непромерзшие полозья. Хлопанье лыж особенно контрастно выделило тишину, стоящую над полем, над косогором, над Валёжной. Казалось, в этой тишине не стоит ничего говорить, не подумав, – такое большое таилось в ней значение.

Служкин подумал и сказал:

– Я стою на асфальте, ноги в лыжи обуты. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый.

– Виктор Сергеевич, – вдруг негромко позвал Овечкин. – А у меня лыжа сломалась, когда из вагона выкидывали...

Он отнял у лыжи загнутый носок и поковырял щепу на изломе.

Отцы молча смотрели на него, словно боясь произнести приговор.

– Я, пожалуй, вернусь на станцию... – мертвым голосом сказал Овечкин.

Служкин снял шапку и поскреб затылок рукояткой лыжной палки.

– Встречать Новый год в электричке – это паршиво, – наконец заявил он. – Да и бросать тебя одного – по-волчьи. А возвращаться всем – обидно. Что делать-то?... Пойдем так. Я надену твои лыжи.

– Я и сам могу... – вяло запротестовал Овечкин. – Зачем вы?...

– Не спорь, – твердо возразил Служкин. – Во-первых, я все на свете умею, случалось уже. А во-вторых, я дорогу знаю, и мне она не покажется такой длинной, как вам.

Отцы подождали, пока Служкин и Овечкин переобуются.

– Давайте тогда я ваш рюкзак понесу, – предложил Овечкин.

– Это – пожалуйста, – охотно согласился Служкин.

Они перелезли снеговой бруствер на обочине дороги и выбрались на целину. Первым деловито торил лыжню Бармин. За ним путь утаптывал Чебыкин. Третьим шел Деменев – Демон, который в своей длинной черной курточке и остроконечной черной шапочке и вправду напоминал мелкого демона для незначительных поручений. Четвертым двигался Овечкин с самым большим, служкинским рюкзаком. За ним осторожно, будто на цыпочках по первому льду, крался Тютин. И замыкал шествие Служкин, заметно хромающий на правую лыжу.

Они пробороздили поле и вышли к склону большого оврага, съехали по скорлупе наста на дно и остановились. Здесь по насквозь промерзшему ручью бежала лыжня. Служкин потыкал в нее палкой и назидательно сказал Тютину:

– Вот она. А ты рыдал, как вдова.

Лыжня, словно бы кряхтя – такая она стала ухабистая, – полезла на другой склон оврага, а потом перешла в подъем на очередной косогор. На сломанной лыже Служкин тащился последним, время от времени зачерпывая рукавицей снег и засовывая его в рот. С вершины косогора открывался вид на Валежную, скатившуюся куда-то вниз, ближе к дальним сизым лесам. Впереди лежали протяжные увалы, по которым шла старая лесовозная просека. Небо нехотя повторяло рельеф увалов, но у горизонта бессильно свисало до самых еловых верхушек.

– Старт, отцы, – сказал Служкин, глядя на убегающую лыжню.

И отцы двинулись вперед. Сперва они побежали слишком резво, но потом сбавили темп, обретая мерный, монотонный ход. Поначалу они о чем-то переговаривались, перекрикивались, ржали, но вскоре замолчали и покраснелись, словно в первый раз признались в любви. Помаленьку наступила тишина, в которой слышен был только свист лыж да редкий, случайный стук палки о пенек на обочине.

Плавню ныряя и выныривая, просека тянулась сквозь лес, по колену стоящий в сугробах. Из снеговых валов кое-где торчали жалкие прутья погребенного подлеска. Ветер стряхнул снег с ветвей, и лес стоял серый, простоволосый, словно измученный каким-то непонятным ожиданием.

Бежали долго, часа два, пока просека с размаху, как копье, не вонзилась в бок огромной трассе газопровода. Толстая труба газопровода, покрытая белой жестью, как мост, висела на звенящих от напряжения стальных тросах, натянутых на решетчатые железные вышки. Труба эта блестящей струной вылетала из невообразимой мгlistой дали, проносилась мимо и улетаала дальше, в невообразимую мгlistую даль. Лыжня стремительно проскользнула под ней, и труба прошла над головами, хлестнув по глазам, как ветка по лицу.

За трубой стал виден брошенный трелевочный трактор. Красный, он выглядел на общем фоне серо-бело-сизого пейзажа как свежая ссадина. Только вблизи стало заметно, что он уже не красный, а ржавый. Он стоял накренившись, по гусеницы утонув в сугробах, и напоминал оставленный экипажем катер, который волею стихий посадило на мель. Окна его были выбиты, дверка висела на одной петле, на крыше лежала снежная шапка, и длинным языком снег взбирался вверх по его наклоненному щиту.

Возле трактора сделали привал, кое-как рассевшись на обледеневших бревнах. Чебыкин достал термос с горячим чаем, а Бармин – холодные, окаменевшие баранки, твердые, как кольца якорной цепи.

Дальше просеки уже не было: лыжня уходила прямо под еловые лапы. Прежде чем войти под сталактитовые своды ельника, Служкин оглянулся. По блестящей трубе газопровода бежал солнечный блик. Это, оказывается, ветер разбуянился среди туч и на севере промыло полынью, в которой ярко горело пронзительно-синее небесное дно. Сами тучи как-то яснее выявили свои косматые объемы и разделились извилистыми руслами просини. Что-то ясное и ледоходное сквозило в этом небесном кочевье.

Черный ельник тенью надвинулся со всех сторон. Снег не пролезал вниз сквозь густые еловые лапы и громоздился на деревьях огромными глыбами, но изредка они все же продавливали преграду и хлопались на землю. Сугробов здесь не было. Лыжня шустро петляла по тонкому снеговому слою, торопливо исписанному темной клинописью опавших хвоинок.

Через некоторое время ельник начал редеть. Вершины дальних деревьев рисовались уже на фоне неба, засветившегося между стволами. Ели становились все толще, кряжистее. Наконец показалась опушка, и лес кончился, словно бы в досаде топнув последними, самыми могучими

деревьями.

Отцы, пораженные, остановились на опушке. Отсюда открывалась вся долина между двумя грядами пологих, заснеженных гор. Долина сияла нетронутыми снегами, как чаша прожекторного рефлектора. Редкие рощицы на склонах внизу срастались в сплошную полосу вдоль извилистой речки, которая словно бы состегивала, как шов, два крыла долины. Ветер расчистил небо, слепив остатки облаков в несколько грандиозных массивов. Их лепные, фигурные, вычурные башни висели в неимоверной толще химически-яркой синевы, которая, казалось, столбом уходит от Земли вверх во вселенную. Солнце горело, словно бесконечный взрыв. От пространства, вдруг открывшегося глазам, становилось жутко.

– Зашиб-бонско... – произнес Чебыкин.

– Как с самолета, – добавил Овечкин.

Тени облаков бесшумно скользили по снежным полям.

– А теперь нам вниз к речке, – сказал Служкин.

– Тут ведь шею сломаешь на спуске... – ужаснулся Тютин.

Отцы выстроились над склоном в ряд. Служкин сказал:

– Кто последний, кроме меня, тот чухан. Вперед!

Отцы пригнулись, оттолкнулись палками и дружно заскользили вниз. Сперва они летели все рядом, быстро уменьшаясь, но затем строй их начал расходиться веером. Пять пышных кометных хвостов протянулись по склону, а потом они начали взрываться снежными фонтанами, когда лыжники катились с копыт. Один только Демон, скрючившись и растопорщившись, ловко несясь вперед, к речке.

Служкин переступил на его лыжню, присел на корточки и медленно, как в инвалидной коляске, поехал. Склон разворачивался перед ним как свиток. Служкин ехал, вертел головой и рассматривал метеоритные кратеры в снегу. В одной воронке он увидел зеленую варежку и подцепил ее острием лыжной палки.

Отцы дожидались Служкина в зарослях на берегу речки. Они стояли в облаке пара, мокрые, с красными лицами и фиолетовыми руками, с открытыми ртами и вытаращенными глазами.

– То-то, отцы! – важно сказал им Служкин. – Это вам не пистоны бабахать!

– А куда дальше, Виктор Сергеевич? – поинтересовался Бармин.

– Дальше – через речку.

Служкин снял лыжи и первым шагнул на лед.

Ветер сдул со льда снег, и устоять на речке не смог никто. Пока шли вдоль другого берега, отыскивая место, пригодное для подъема, даже

Служкин грохнулся пару раз, а Тютин пластанулся так, что лыжи из его рук разлетелись, точно бумеранги. Тютин ползал за ними на четвереньках. Лед под ногами был зеленовато-голубым, в полупрозрачных разводьях, с гроздьями мелких алмазных пузырьков. Подо льдом мерцала и смутно шевелилась таинственная, темно-синяя, студеная жизнь.

Служкин вскарабкался по обрыву, цепляясь за ветки, и сверху за руки повыдергивал отцов к себе, как репу из грядки. Дальше простерлась горбатая, каменистая, малоснежная равнина, усыпанная битым угловатым камнем и заросшая длинной желтой травой, которая космами торчала из снега. За равниной стоял густой перелесок, а за ним – высокая насыпь. Отцы поднялись на нее к двум ржавым рельсам узкоколейки. Вдалеке на рельсах громоздилась небольшая двухосная теплушка.

– Да-а... – протянул Чебыкин, заглянув внутрь. – Все схвачено...

Туристы давно облюбовали вагончик для ночлега. Перегородка из обломков фанеры и досок, сколоченных сикось-накось, делила вагончик пополам. Одна половина была спальней: здесь щели законопатили тряпками и рваным полиэтиленом. Другая половина служила трапезной. Здесь в потолке зияла дыра – дымоход, а под ней на полу лежал гнутый железный лист – очаг. На пирамидках из камня лежал железный прут – перекладина для котелков. Вокруг валялись ящики разной степени сохранности – сиденья для гостей.

– А куда ведет узкоколейка? – спросил Бармин.

– Туда – на старый лесоповал. А туда – в заброшенный поселок.

Сняв рюкзаки и перевооружившись, отцы вслед за Служкиным зашагали по насыпи к пещере.

Стена Шихана напоминала измятую и выправленную бумагу. На ее выступах лежал снег, кое-где бурели пятна выжженных холодом лишайников. В громаде Шихана, угрюмо нависшей над долиной, было что-то совершенно дочеловеческое, непостижимое ныне, и весь мир словно отшатнулся от нее, образовав пропасть нерушимой тишины и сумрака. От этой тишины кровь стыла в жилах и корчились хилые деревца на склоне, пытающиеся убежать, но словно колдовством прикованные к этому месту. Шихан заслонял собою закатное солнце, и над ним в едко-синем небе горел фантастический ореол.

– Шихан – это риф пермского периода, – пояснил Служкин.

И это слово «риф» странно было слышать по отношению к доисторическому монолиту, который на безмерно долгий срок пережил океан, его породивший, и теперь стоит один посреди континента и посреди совершенно чуждого ему мира, освещаемого совсем другими созвездиями.

Прямо под скальной стеной имелась утоптанная площадка, покато стекавшая к длинной и узкой горизонтальной щели, похожей на приоткрытую пасть утеса. Из этой пасти тянуло теплым дыханием.

– Вот и пещера, – сказал Служкин и бросил в ее зев шишку.

– Может, с нами пойдете? – тоскливо спросил у Служкина Тютин.

– Нет, отцы, – отрекся Служкин. – Я там уже был, и ничего там опасного нету. И вообще, не люблю я пещеры. Ползаешь там, ползаешь, как свинья, в глине и темноте и башкой по всем углам бренчишь. Если я в школу с фингалом приду, кто мне поверит, что я его не в пьяной драке под Новый год получил? Лезьте давайте, а я вас в вагончике подожду.

Первым решился Бармин. Он присел на корточки, всматриваясь в темноту, и осторожно полез вперед, светя фонариком. Пятки его скрылись. Отцы ждали. Из пещеры донесся гулкий вопль:

– У-у-ы-ы!... Скелеты, скелеты!...

Отцы по одному полезли вслед за Барминым. Последним обреченно уполз Тютин, который перед этим долго и прощально смотрел на небо.

Служкин постоял немного, развернулся и пошел обратно. Вокруг него тихо густели вечерние краски. В них словно бы добавили на капельку больше, чем нужно, синевы. Серая, оснеженная скала стала сизой. Перелески слились в зубчатые полосы. Солнце из красного сделалось лиловым. В ядовито-синем, полярно озаренном небе проступила зеленая луна.

Служкин вернулся к вагончику и занялся хозяйством. Он нарубил в «спальню» лапника и распотрошил рюкзаки. В один угол он составил припасы: мешочек со своей кашей, торт Овечкина, чай и консервы Деменева, ватрушки Бармина, печенье Чебыкина и пять тютинских банок тушенки. Бутылки с водкой Служкин сунул в сугроб. Расщепив ящик, он развел костер, набил снегом и подвесил котелки, сел перед огнем и стал допивать из термоса горячий кофе.

Отцы вернулись часа через полтора. Из лощин поднимался багровый дым, и отцы вышли из него как черти из преисподней – черные от грязи и копоти, закапанные парафином свечей.

– Зыкая пещера! – восхищенно сказал Служкину Чебыкин.

– Здоровенная, как не знаю что, – добавил Овечкин.

– Еле обратно выбрались, – поделился Тютин.

Отцы столпились у костра, протягивая к огню ладони.

– А где кофе? Горячего хочу! – Чебыкин поискал глазами термос.

– Выпил я кофе, – сознался Служкин.

– Вы такая сволочь, Виктор Сергеевич...

– А мы сейчас с вами водки дерябнем, – возразил Служкин, составляя кружки и отвинчивая с бутылки колпачок. – А потом вы пошуршите в поселок за дровами. И поскорее, резину не тяните.

Отцы заныли, но разобрали кружки, чокнулись и выпили. Потом, охая, выбрались из вагончика и побрели по рельсам в сторону заброшенного поселка. Скоро они скрылись за поворотом, а Служкин остался сидеть на ящике перед маленьким костерком. Он курил, потихоньку замахивал водку и глядел по сторонам.

А закат разгорелся всеми красками, что остались не израсходованными за уходящий год. Угольно-красное, дымное солнце висело над горизонтом. Небо отцветало спектром: лимонно-желтая узкая полоса заката плавно переходила в неземную, изумрудную зелень, которая в зените менялась на мощную, яркую, насыщенную синеву. И к востоку концентрация этой синевы возрастала до глубокой черноты, в которой загорелись звезды, словно от неимоверного давления в ней начался процесс кристаллизации.

Земля же отражала небо наоборот: на западе черный, горелый лес неровными зубцами вгрызался в сумрачный диск светила, а под сводом тьмы на востоке лес мерцал будто голубой, освещенный изнутри айсберг. Снега стали зеркальными и кроваво полыхали.

Но самым загадочным было бесшумное движение, охватившее мир. Грузно и устало погружалось солнце. Удлиняясь, зловеще ползли тени, ощупывая перед собой дорогу и змеино ныряя в складки лощин. Сверху катился прилив мрака, отмывая все новые и новые огни. Багровый дым, клубясь, устремился вслед за солнцем мимо насыпи, и казалось, что вагончик тоже поехал куда-то под уклон земного шара, увозя Служкина, склонившегося над огнем.

Отцы вернулись из звездной темноты с огромными охапками досок, выломанных из заборов брошенного поселка. Костер живо разгорелся, и отцы расселись вокруг. Их лица, непривычно освещенные снизу, сделались похожими. Быстро закипел чай и оживилась каша. Она родилась из горсти сухой гречки, как Афродита из пены. Под крышкой котла она возилась, устраиваясь поудобнее, и все охала, жаловалась, что-то бурчала себе под нос – она была женщина нервная и впечатлительная.

– Да-а, Виктор Сергеевич, – протянул Чебыкин, облизывая ложку. – У нас такого Нового года еще не было...

– Так Новый год встречать в сто раз лучше, чем дома, – заметил Овечкин. – Наши-то, наверное, только-только от родителей смылись, сейчас нажрут где-нибудь в подъезде, да и весь праздник.

– Вы Новый год каждый раз так встречаете?

– Нет, в первый раз, – ответил Служкин.  
– Что? Вы здесь в первый раз?! – поразился Тютин.  
– В Новый год впервые. А просто так я здесь сто раз бывал.  
– Здесь зыко, – согласился Чебыкин. – И я бы сюда хоть каждую неделю ходил.

– Я очень люблю ходить на Шихан, – признался Служкин. – И не ради пещеры, а просто так, ради всего этого... – Служкин неопределенно махнул рукой. – В девятом классе я даже стих про это сочинил...

– Прочитайте, – тут же предложили отцы.  
– Так ведь это лирический стих, не «Поляки»...  
– Ну и что. Нам по фиг.  
– Как хотите, – сказал Служкин.

Снежная, таежная станция Валёжная.  
Тихо-неприметная, сонно-предрассветная.  
Небеса зеркальные, а леса хрустальные.  
Из снегов серебряных  
Подымалось медленно  
От мороза красное  
Солнце над тайгой.  
Снегопады белые,  
Что же вы наделали?  
Мне бродить до полночи  
В тишине такой.  
Над землею снежною темнота безбрежная.  
Тонкий месяц светится, а над ним Медведица.  
Синевой охвачена, ветром разлохмачена.  
Станция Валёжная,  
Ты судьба дорожная:  
Приезжаешь – радуйся,  
Уезжаешь – плачь.  
Скоро поезд тронется,  
Взмует ветра конница,  
И над косогорами  
Понесется вскачь.

Отцы слушали непривычно серьезные.

– А вы, оказывается, Виктор Сергеевич, талант, – уважительно

сообщил Чебыкин.

– Бог с тобой, – отрекся Служкин. – В этом стихе нет ничего особенного. Хороший посредственный стих. Я люблю его, потому что он простой и искренний. А хорошие стихи может писать любой человек, знающий русский язык. Нет, отцы, я не талант. Просто я – творческая личность.

– Наверное, поэтому вы и ходите в походы, – сделал вывод Бармин.

– Эх, блин, так в поход захотелось... – вздохнул Чебыкин. – Виктор Сергеевич, вы уже придумали, куда мы пойдем?

– Отстаньте от меня, еще сто лет до весны. Сами еще миллион раз передумаете, а меня уже всего затеребили...

– Нет, я не передумаю, – пообещал Тютин.

– А про тебя, Тютин, может быть, я сам передумаю. Уж больно ты ныть горазд.

– Я не ною! – воскликнул Тютин. – Я просто человек такой! Тоже творческий! Ну и предусмотрительный!

– И все-таки, Виктор Сергеевич, – не отставал Чебыкин, – куда?

– Есть хорошая речка, – сдавшись, рассказал Служкин. – Называется Ледяная. Первая категория сложности с одним порогом четвертой категории. Вот на Ледяную и пойдем.

Дощатые стены вагончика, озаренные качающимся костром, создавали ощущение уюта и защищенности. Только в углах, колеблясь, дрожала паутина мрака. Служкин поглядел на часы, включил приемник и сдвинул шкалу настройки, чтобы ни одна станция мира не отвлекла отцов от его речи.

– Отцы, – сказал Служкин. – До Нового года остается полчаса. Прошедший год был разный – хороший и плохой, тяжелый и легкий. Давайте в оставшееся время помолчим и вспомним то, чего потом не будем уже вспоминать, чтобы войти в будущее без лишнего багажа.

Отцы замолчали, задумчиво глядя в огонь. Молчал и Служкин. Стояла новогодняя ночь с открытыми, всепонимающими глазами – сфинкс среди северных снегов. Это было время негатива, когда белая земля светлее, чище и больше черного неба. Приемник свистел, шипел, булькал, словно торопился сказать людям что-то важное, нужное. Земля летела сквозь таинственные радиопояса вселенной, и холод мироздания лизал ее круглые бока. Тонкие копыта вечной тишины хрустальными остриями глядели в далекое, узорчато заиндевшее небо. Искры бежали по невидимым дугам меридианов над головой, а из-за горизонта тянулся неслышный звон качающихся полюсов. Дым от костра сливался с Млечным Путем, и

казалось, что костер дымит звездами.

– Время, – сказал Служкин и снова шевельнул шкалу настройки.

Гулкая тишина в динамике замаялась, заняла, и вдруг как камень в омут ахнул первый удар колокола. Следом за ним перезвоном рассыпались другие колокола, словно по ступенькам, подсакивая, покатилося ведро. Вслед за последним звуком жуткое молчание стянуло нервы в узел, и вот, каясь, чугунным лбом в ледяную плиту врезался главный колокол и начал бить поклоны так, что шевельнулись волосы, и каждому стало больно его нечеловеческой мукой. Служкин встал, и отцы поднялись на ноги. Губы подрагивали, отсчитывая удары.

Дюжина.

– С Новым годом, – сказал Служкин.

– С новым счастьем, – нестройно отозвались отцы, сдвигая кружки.

И бряканье этих кружек было трогательным провинциальным отголоском державного грома кремлевских курантов.

## Фотография с ошибкой

Служкин зашел за Татой в садик, но ее уже забрала Надя. В раздевалке среди прочих мам и детей Лена Анфимова одевала Андрюшу.

– С наступившим, Лен, – сказал Служкин. – Привет, Андрюха.

По инерции он заглянул в шкафчик Таты и увидел на верхней полочке завернутый в газету пакет. Видимо, его забыла Надя. Служкин взял его и развернул. В пакете лежали три цветных фотографии с новогоднего утренника. Тата стояла под елкой с большим медведем в руках. Елка была украшена разнокалиберными шарами и большими звездами из фольги, но без гирлянд, мишуры, дождика – казенная, неживая, зря погубленная елка. Медведя Служкин видел и раньше. Медведь сидел в группе на верхушке стеллажа. Играть с ним не разрешалось, с ним можно было только фотографироваться. Тата неловко прижимала к себе медведя, словно бы отпрянувшего от нее, и испуганно глядела в объектив. На ней было надето незнакомое, мешковатое платье Снежинки, которое совершенно не смотрелось с красными туфельками и бантом.

Служкин долго рассматривал фотографию, потом подошел к Андрюше и присел. Лена в это время натягивала Андрюше валенок.

– Андрюха, а чье это платье на Татке? – спросил Служкин.

– Это Машки Шветловой.

– А почему Тате надели это платье?

– Вошпитательница шкажала, што у нее коштом плохой.

Служкин вышел на крыльцо садика и закурил. Был вечер. Небо за домами смущенно розовело, и в нем висела зеленоватая, как незрелое яблоко, луна. Детские домики, горки и веранды на площадках среди высоких сугробов казались уютным, заповедным городом гномов. Вдали в сизой мгле сочно багровел рубин светофора.

Сзади на крыльцо вышли Андрюша и Лена, волочившая санки.

– Ты что, Витя, расстроился? – заметила Лена, вынула из кармана его пуховика фотографии и посмотрела снова. – Платье, конечно. Плохо сидит – велико... – словно оправдываясь, сказала Лена.

Служкин пожал плечами и неохотно пояснил:

– Тата в красном костюме хотела быть на утреннике, а не в платье.

– Ну это же мелочь – костюмчик... – примирительно сказала Лена.

– Мелочь, – согласился Служкин. – Но именно мелочи глубже всего задевают. Так вроде уже со всех сторон корой зарос, и вдруг – бац... По

такой мелочи и чувствуешь, что ребенок твой – это как душа без оболочки. Просто, Лен, ошпаривает понимание того, как дети беззащитны и в то же время – такая несправедливость! – уже отдельные от нас существа...

– Они с самого начала от нас отдельные, – грустно улыбнулась Лена. – Андрюша, садись в санки... Если бы ты, Витя, сам родил да возился с ребенком, убирал, кормил, пеленки стирал, то не расстраивался бы так по мелочам, проще относился.

– Я возился, стирал, – вяло ответил Служкин.

– Все-таки красный костюмчик – не для Нового года. – Лена мягко коснулась руки Служкина. – Надо было, Витя, надеть ей белое платье. Мало ли чего ей хотелось. Балуеть ты ее.

– Да я не балую... У меня ощущение страшной вины перед ней...

– Какой вины, ты чего?

– Ну как какой?... Папаша я никудышный, семьи толком нет... Если Тата сейчас семейной любви не увидит, она в будущем себе всю судьбу покривит. А все мои отношения с Надей только и держатся на том, что у нас дочь. Вырастет Тата и поймет, что из-за нее у родителей жизнь не в ту сторону пошла, – и каково ей будет жить с этой виной, в которой она-то и не виновата? Каково ей будет, если она поймет, что родилась нежданная, нежеланная, по залету, по нашей ошибке? Что она о нас думать будет и о себе самой?... Извини, Лен, что я тебе все это говорю. Ты ведь поймешь меня, да? Ведь день твоей свадьбы и день рождения Андрюши нетрудно сопоставить...

Лена тяжело молчала. Она была одета в длинную недорогую шубу, в валенки, на руках – расшитые бисером рукавички. В овале теплого толстого капора ее лицо, чуть румяное от мороза, казалось иконописным ликом, но все равно оставалось живым – тонким, красивым, усталым русским лицом. Андрюша возился в санках, усаживаясь поудобнее.

– А тебе, Витя, не хотелось бы начать все сначала? – негромко вдруг спросила Лена.

Служкин помолчал.

– Этот вопрос нельзя задавать, – сказал он. – И думать об этом тоже нельзя. Желать начать все сначала – это желать исчезновения нашим детям.

– Ну... не детям... хотя бы ошибки исправить...

– Мы никогда не ошибаемся, если рассчитываем на человеческое свинство, – сказал Служкин. – Ошибаемся, лишь когда рассчитываем на порядочность. Что значит «исправить свои ошибки»? Изжить в себе веру в людей?... Самые большие наши ошибки – это самые большие наши победы.

– Ты всегда думал в таких широких масштабах... – усмехнулась Лена.

– Наоборот, – возразил Служкин. – Я думаю в самом узком масштабе – только человек. Я, Лена, стараюсь думать лишь о том, что рядом, – как получается, конечно.

– Наверное, ты прав, – кивнула Лена. – Я тоже чувствую, что это плохо – когда желаешь вернуться обратно... И все равно иногда очень хочется начать все сначала.

## «Эти глаза не против»

С утра отключили воду – всю: значит, надо было идти на ключик. Неумытый и раздраженный, Служкин напялил пуховик и ботинки и потопал в подвал, в кладовку. Канистру он нашел сразу, а в поисках крышки от нее пришлось перевернуть весь хлам – мешки со старыми игрушками, связки макулатуры, узлы тряпья, обрезки досок и фанеры, обломки лыж, какие-то чайники, коробки, пыльные бутылки, хоккейные каски, велосипедные рамы, рваные раскладушки и вообще невесть для чего хранящиеся вещи вроде половинки корпуса от стиральной машины или упаковки минерального удобрения.

Пока Служкин рылся, хлопнула дверь подвала, чьи-то плечи шаркнули по стене, и в дверях кладовки появился багровый от натуги Будкин, приволокший два пластмассовых ящика с банками.

– Здорово, Витус, – пропыхтел он. – За водой собрался?...

– За дерьмом, – мрачно ответил Служкин и сел в санки покурить.

Будкин опустил ящики на верстак и захекекал.

– Слушай, а можно я их у тебя поставлю? – спросил он.

– Ставь, – безразлично кивнул Служкин. – А с чем они?

– С дерьмом, – сказал Будкин и сел на канистру.

Служкин достал из ящика длинную банку и повертел перед глазами.

– Слива в крепленном вине, – прочел он. – Попробуем?

– Это же на продажу... – замялся Будкин.

– Продашь, деньги выручишь – все равно пропьешь.

Будкин грустно хехекнул, подумал, взял с верстака стамеску и пробил в банке две дырки. Банку он протянул Служкину, а себе достал вторую и открыл подобным же образом. Они начали пробовать.

– Чего давно в гости не заходил? – спросил Служкин.

– Дела, – неопределенно ответил Будкин и закурил.

– Брехать – не кувалдой махать... Из-за Нади?

– Н-ну... – сознался Будкин. – Достала она меня.

– Мне-то чего врешь? – Служкин приложился к банке. – Я-то вижу.

– Чего ты видишь?

– Что влюбилась она в тебя.

Будкин ничего не говорил, яростно дымя сигаретой.

– Ну, продолжай, – подтолкнул его Служкин.

Будкин зажег вторую сигарету от первой, хехекнул, помолчал и

неожиданно кратко и твердо сказал:

– Да.

– И что, крепко? – усмехнулся Служкин.

– Крепко, – кивнул Будкин. – Ты же знаешь, Витус, со мной такого никогда не бывало, а вдруг случилось... Ну, я и решил держаться подальше. А что делать-то? Посоветуй. Ты же здесь командир.

– Командир пропил мундир... Кому советовать-то? Тебе? Так в этих делах я перед тобой просто щенок. Вам самим решать надо, а не играть в Штирлица с Мюллером, как детям малым.

– Ну тогда, блин, держи ее на цепи! – рявкнул Будкин. – А за себя я ручаюсь!

– Я не умею! – Служкин развел руками с банкой и сигаретой.

– Что же ты, презентуешь мне ее? – растерялся Будкин.

– Она мне не принадлежит. Я ее свободы не умаляю.

Будкин допил банку, повертел в руках и бросил в ведро.

– Нет, я так не могу, – подвел он итог. – Друг все-таки...

– Вот как! – крикнул Служкин и тоже допил банку. – Ехали-ехали, да никуда не приехали. Ты для себя реши, а за меня не бойсь. Я-то ничего не теряю, у меня нет ничего. А Наде я счастья желаю, я перед ней виноват. Если уж ей такое счастье выпадает – пусть будет такое.

– Как-то дико все это, Витус... – Будкин обеими руками стал скрести голову. – Душа разрывается... Да и не верю я тебе...

– Ну, хочешь, пойдем к тебе, я позвоню Наде и скажу, что ты ее любишь? – предложил Служкин. – Тогда ты согласишься, что я зла не держу? Сидишь тут мрачнее навозной кучи...

– Пойдем, – убито согласился Будкин.

Они заперли подвал и пошли к Будкину. Не разуваясь, ввалились в комнату. Будкин набрал номер и протянул Служкину трубку.

– Алло? – произнесла Надя.

– Надя, это я, – сказал Служкин. – Мы тут с Будкиным хорошо поговорили, и я должен тебе сказать, что он тебя любит.

– Вы что, пьяные? – яростно спросила Надя.

– А что, тебя любить только спьяну можно?

– Передай ему, что он козел! – крикнула Надя и бросила трубку.

Будкин стоял и глядел на Служкина собачьими глазами.

– Она дала понять, что очень рада, – пояснил Служкин, опуская трубку на рычаг. Он ненадолго застыл, глядя куда-то в пустоту. – Старая я толстая сводня, – сказал он. – Виктор Сергеевич Служкин... Пойдем обратно в подвал, вмажем еще по банке, а потом на ключик слетаем – тебе ведь тоже

водой запастись надо?

Через час, красные, расхристанные, они вывалились из подвала, волоча за собой по ступенькам санки. В санках громоздились две канистры – толстая пластиковая Служкина и тощая алюминиевая Будкина. Канистры чем-то напоминали опальных боярыню Морозову и протопопа Аввакума. У дверей подъезда, расстелив по снегу пушистый хвост, сидел Пуджик и смотрел на Служкина спокойными, как копейки, желтыми глазами. Пока Будкин, прикрывшись воротником, закуривал, Служкин, почти встав на четвереньки, гладил кота и бормотал:

– Не трать, солдат ребенка не обидит...

Взявшись под локоть, как супружеская пара, Служкин и Будкин твердо двинулись вперед, а сзади санки оставляли извилистый след на заметном тротуаре.

– Споем? – предложил Будкин, когда они проходили мимо школы.

– Какое петь! Я же, блин, на хрен, педагог! – осадил его Служкин.

На позвоночнике скелета теплицы сидели Чебыкин и Градусов.

– Виктор Сергеевич! Здравствуйте! – заорал Чебыкин.

– Здравствуйте... – Служкин вяло махнул рукой.

– Вы куда пошли?

– В публичный дом, – ляпнул Служкин.

Чебыкин и Градусов превратились в изваяния наподобие химер собора Парижской Богоматери, а потом восхищенно заржали.

– Географ глобус пропил! – ликуя, завопил Градусов.

– Это Градусов, знакомься, – сказал Служкин Будкину.

– Пойдем ему в торец дадим, – предложил Будкин.

– Да фиг с ним...

Будкин все равно оглянулся и зорко всмотрелся в Градусова.

– Вот ты какой, северный олень... – пробормотал он.

Они пересекли Новые Речники, пересекли Старые Речники и выбрались на крутой берег затона.

– Эти глаза напро-о-отив!... – самозабвенно пел пьяный Будкин.

– Эти глаза не про-о-отив!... – самозабвенно пел пьяный Служкин.

По тропинке, ведущей к ключику, в обе стороны двигались многочисленные фигурки с санками и бидонами.

– Блин, неохота в очередюге дрогнуть на таком ветродуе!... – поежился Служкин. – Давай лучше в санках с горы покатаемся?

Будкин посмотрел вниз, себе под ноги, и хехекнул. Они выбросили канистры в сугроб и вдвоем взгромоздились на санки, еле уместившись. Отталкиваясь руками, они, как паук, подползли к обрыву, качнулись и

канули вниз. Свистнул ветер, сдвинув шапки на затылок. На убитом склоне санки вмиг развили сверхзвуковую скорость. Корявая береза, росшая посреди склона, неуверенно шагнула вправо, влево и остановилась прямо на пути, широко расставив ноги и растопырив тысячу кривых рук.

– Катапультируемся! – взвыл Будкин.

Они разом повалились набок, покатались кубарем и вопящим комом шлепнулись об ствол. Служкин сипло захохотал.

– Это был первый выход в космос человека без скафандра! – сказал он Будкину, который еле отклеился от его спины и медленно пополз вверх, к желтому небу. Он охал и потирал поясницу.

– Ну что, повторим? – бодро спросил Служкин Будкина, когда и сам поднялся на обрыв.

Будкин сидел в сугробе, держал в зубах перчатку и пальцем протирали часы на запястье.

– Не-е... – помотал он головой. – Мне хватит...

– Да ла-адно! – Служкин сзади подхватил его под мышки и почти силком воткнул обратно в санки. Деловито плюхнувшись ему на колени, Служкин дернулся всем телом, и санки скользнули под уклон.

Они промчались по крутояру так, что береза, промелькнув мимо, только рывкнула. Масса санок отлилась в такую инерцию, что они с разгона вылетели на камский лед и врылись носом. Тесно сцепившихся Будкина и Служкина единым телом унесло вперед на задах, они прорыли широкую борозду и остановились, увязнув по грудь в снегу.

Они взбирались обратно вверх, ногтями отцарапывая со штанов ледяную корку.

– Ну давай еще разик поглиссируем... – ныл Служкин. – Ну последний... Бог троицу любит...

– Глиссируй один, – сердито отрезал Будкин.

Вздохнув, Служкин натянул шапку поглубже, оседлал санки один и кинулся вниз. Его траектория вильнула из стороны в сторону, выпрямилась и нацелилась в березу.

– Виту-у-ус!... – истошно завопил Будкин.

Но было поздно. Санки, как снаряд, врезались в комель. Служкина поставило в полный рост, шмякнуло об ствол и отбросило. Он пластом хлопнулся в сугроб и остался неподвижен.

Будкин постоял, подергиваясь от ужаса и холода, и, не выдержав, неловко, как баба через плетень, полез вниз. Он добрался до Служкина и потолкал его в бок.

– Витус, ты жив?... – растерянно спросил он.

Служкин повернул к нему красное, мокрое лицо с испуганными глазами и ошарашенно пробормотал:

– У меня в ноге что-то хрустнуло...

– Где? – забеспокоился Будкин и пощупал его ногу.

– Уй-я-а!... – взвыл Служкин.

– П-переломчик... – заикаясь, произнес Будкин.

Служкин перевел сумасшедший взгляд на свою ногу.

– Не слишком ли много для одного человека? – спросил он.

## Посетители

На тех же санках Будкин отвез Служкина в больницу, и там ему наложили гипс. С тех пор Служкин сидел дома, а в школе началась третья четверть.

Проснувшись, как обычно, после обеда, Служкин в мятой майке и драном трико, босиком, небритый, непричесанный, валялся на диване и от скуки пихал костылем в живот Пуджика, развалившегося на полу. В прихожей затрещал звонок. Служкин вскочил, подтянул штаны и шустро попрыгал открывать. За дверью стояли занесенные снегом Маша Большакова и Люся Митрофанова. Служкин обомлел.

– Виктор Сергеевич, нас Роза Борисовна прислала! – затараторила Люська. – Она просила узнать, выйдете ли вы на работу в феврале!...

– Нет, – сказал Служкин и тотчас спохватился: – Да что же это я!... Вы заходите, девочки, немедленно!... – Обретая напор, он взял Машу за рукав шубки. – Заходите!... Это я растерялся – то не было ни шиша, то луку мешок... Митрофанова, залетай!

Маша вошла неуверенно, нехотя, а Люська любопытно озиралась.

– Раздевайтесь, будем чай пить, – объявил Служкин.

Маша хотела возразить, но он закричал: – Нет-нет! Вода дырочку найдет! – И ловко упрыгал на костылях в кухню.

Девочки вошли в кухню, смущенно оправляя кофточки и юбки. Люська из-за Машиного плеча зыркала по сторонам, вертя головой.

– Вранье на третьей парте написано, что у меня на кухне календарь с лесбиянками висит, – сказал ей Служкин. – Рассаживайтесь.

Он неловко поднял чайник, опершись на костыль всей тяжестью.

– Давайте я вам помогу, – тихо сказала Маша и, не глядя на Служкина, обеими руками перехватила у него чайник.

– И не читала я, что там написано на третьей парте! – возмутилась Люська, усаживаясь. – Больно надо еще...

Служкин облегченно свалился на табуретку, вытянул ногу в гипсовом сапоге и костылем незаметно задвинул за холодильник стоящую на полу пустую банку из-под сливы в крепленном вине. Страдая, он несколько раз навещал подвал и проделал в алкогольно-финансовых планах Будкина внушительные прорехи.

– Вы извините меня за мой вид затрапезный, – вспомнил он.

– Ерунда, – улыбнулась Маша, тоже присаживаясь за стол.

– Ну, что там в школе новенького? Рассказывайте, – велел Служкин. Маша задумалась и пожала плечами.

– Пока вы болели, ваш кабинет обокрали! – выпалила Люська и уставилась на Служкина так, будто с ним от этого известия должен был случиться паралич.

– Что сперли? – поинтересовался Служкин.

– Глобус!

Служкин покачнулся, прижал ладонь к сердцу, закрыл глаза и тихо спросил:

– А карту Мадагаскара? А портрет Лаперуза? А жемчужину моей коллекции – кусок подлинного полевого шпата?

– Не-ет, – виновато сказала Люська.

– Ну, тогда ладно, – ожив, быстро успокоился Служкин.

– Виктор Сергеевич, – осторожно спросила Маша, – а как вы ногу сломали?

– Градусов говорит, что вы пьяный с берега упали, – добавила Люська. Она пила чай из блюдца, поднимая его к губам и дуя.

– Поклеп это, – отрекся Служкин. – Просто я ключи дома забыл.

– Ну и что?

– Как что? Дверь заперта, а войти надо. Ну, я вспомнил детство в Шао-Лине, решил дверь ногой выбить. Разбежался, прыгнул, да силы не рассчитал. Дверь высадил, пролетел через всю квартиру, проломил стену и рухнул вниз с четвертого этажа. Нога пополам.

Люська обожглась чаем.

– Врете вы все, – с досадой сказала она, вытирая губы. – Непонятно даже, как вы, такой, учителем стали...

– А я и не учитель, – пожал плечами Служкин.

– А кто вы по образованию?

– Сложно объяснить. Вообще-то я окончил Подводно-партизанскую академию по специальности «сатураторщик», но диплом вот защищал по теме «Педагогические проблемы дутья в маленькие отверстия».

Люська проглотила это, не моргнув глазом. Маша опустила голову и покусывала губы, уши ее покраснели.

– Как же вы географию-то учить попали? – удивилась Люська.

– Это история романтическая... – вздохнул Служкин.

– Расскажите, – предложила Люська. – Вы здорово рассказываете.

– Язык Златоуста, да мыслей негусто... – Служкин поскреб затылок. – Ну-у, у одного моего друга младший брат учится в вашей параллели. Как-то я рассматривал у него школьные фотографии и увидел одну девочку. Тут же

влюбился, конечно. Познакомиться – стесняюсь. Решил устроиться в ее класс учителем. Все меня отговаривали: мол, девчонка стремная, последнего разбора, – а я уперся. Пришел в вашу школу, спрашиваю: какие учителя в девятые классы требуются? Мне отвечают: на географию. Так я и стал географом.

– А кто та девушка? – с подозрением спросила Люська.

– Ты.

– Так и знала. – Люська фыркнула.

– Нам, наверное, пора... – мягко и виновато предположила Маша.

– Куда? – испугавшись, спохватился Служкин. – Ну, пойдемте, например, в комнату, покажу вам чего-нибудь интересное...

– А у вас телефон есть? – спросила Люська, вытаращив глаза.

Они переместились в комнату, где Служкин усадил девочек на диван. Люська сразу поставила себе на колени телефонный аппарат и, прижав плечом к уху трубку, принялась быстро крутить диск.

– А покажите свою жену, – робко попросила Маша.

Служкин подумал и вытащил из шкафа увесистый семейный альбом. С ним в руках он плюхнулся на диван рядом с Машей.

– Алло, Ленка? – заорала Люська. – Знаешь, откуда я звоню?...

– Вообще-то семейные альбомы однообразны... – Служкин начал без интереса листать толстые страницы. – Невеста из сдобного теста, жених – на свободе псих... Регистрация, цветы, кольца, тещин иудин поцелуй, прочая фигня... Ну, пьянка, естественно, застолье как в период застоя... Свидетели наставляют в добродетели... Тамада над столами реет... Короче, все как надо. А потом свадебное путешествие: молодая пара в туче дыма и пара... Тут пауза – бац! – и ребенок родился. Гольш во всех видах, теща сюсюкает, молодые родители... В общем, смотреть нечего.

– Ну покажите свои студенческие фотографии, – предложила Маша. – Времен Подводно-партизанской академии.

– Танька, ты? – орала в это время Люська. – А я от Виктора Сергеевича звоню!... Он ногу сломал!... С Машкой!...

Служкин достал другой альбом и начал показывать другие фотографии – маленькие, черно-белые, мутные. Он указывал пальцем на незнакомые Маше лица – молодые, смеющиеся – и рассказывал про друзей, оживляясь и улыбаясь воспоминаниям, а Маша послушно вглядывалась в снимки, чуть нагибаясь над альбомом и сдувая с глаз падающую челку.

– Что-то, Виктор Сергеевич, вы со всеми своими друзьями расстались, – наконец осторожно заметила Маша.

– Ну да, – подумав, согласился Служкин и закрыл альбом. – Видишь

ли, Маша... По-моему, нужно меняться, чтобы стать человеком, и нужно быть неизменным, чтобы оставаться им. Я вот каким был тогда, в университете, таким и остался сейчас... А друзья... Друзья переменились – вместе со временем, вместе с обстоятельствами... Одни бизнесом занялись, другие – спились. Кое-кто в столицу подался, а некоторые – даже за океан. А я после университета домой поехал. В Пермь, в глухую провинцию, на самый край географии. Ведь все мы что-то ищем, и все что-то находим.

– А вы нашли здесь, что искали?

– Видишь ли, Маша, в чем парадокс... Находишь только тогда, когда не знаешь, чего ищешь. А понимаешь, что нашел, чаще всего только тогда, когда уже потерял.

## Факты и выводы

Тата немного простыла и сидела дома. Служкин на кухне занимался четырьмя делами сразу: чистил картошку, жарил рыбу, следил за Пуджиком и принимал посильное участие в играх Таты. Пуджик задумчиво бродил по краю раковины и делал вид, что его интересует лишь исключительно содержимое мусорной банки, а вовсе не сковородка с минтаем. В это время в прихожей затрещал звонок.

Ругаясь, Служкин взгромоздился на костыль, сунул Пуджика под мышку и пошел открывать. На пороге стояла Сашенька Рунева.

– Витя-а... – с ужасом протянула она, увидев гипс и костыль.

– Проходи, Сашенька, – велел Служкин и упрыгал обратно на кухню.

Сашенька вошла в кухню и робко присела у стола.

– А я от Будкина иду, – виновато сказала она. – Будкин мне и сообщил, что ты ногу сломал, в гипсе лежишь... Как это случилось?

– Упал, – лаконично ответил Служкин.

– А я думала, ты больше не хочешь видеть меня с тех пор, как узнал про Колесникова... Не заходишь, не звонишь...

– Он что, все еще благоуханный цветок твоего сердца?

– Когда одиноко, очень хочется, чтобы хоть кто-нибудь рядом был... – печально пояснила Сашенька. – Я знаю, что он дурак... Но он всегда вокруг вертится, говорит, что любит, зовет замуж, обещает развестись...

– Это не причина, чтобы с ним спать.

– Я уж и не знаю, как так получилось... Сама себе противна... И не нужно мне его, а не могу остановиться...

– Лучше ты его на фиг пошли, – посоветовал Служкин.

– У меня не выйдет, – безнадежно призналась Сашенька. – Я уже думала об этом. Да Колесников и не уйдет. Он уже у меня как дома себя чувствует, звонит и говорит, чего на ужин приготовить...

– Н-да-а... Ловко ты Будкина кинула.

– Не кидала я его, что ты, Витенька!... – испугалась Саша. – Я его, может быть, даже сильнее люблю оттого, что сознаю, как плохо по отношению к нему поступаю... Но разве я могла иначе? Ты же сам мне советовал завести любовника, чтобы не мучиться.

– Я же и виноват, – мыкнул Служкин. – Когда я тебе советовал, Сашенька, дорогая, извини за откровенность, я имел в виду себя.

– Ви-итя!... – умоляюще произнесла Сашенька. – Разве у нас могут

быть отношения лучше, чем сейчас? Ты мой самый дорогой друг!...

Тут в комнате раздался рев, и вскоре Тата вбежала в кухню с куклой. У куклы из плеч торчали ноги, а вместо ног были руки.

– Папа! Папа!... – захлебывалась Тата. – Это Будкин вчера сломал!...

– О господи! – воскликнул Служкин, взял куклу, быстро оборвал перепутанные конечности и ввинтил их на свое место. – На, держи, не плачь. Будкин придет – мы с ним то же самое сделаем.

Всхлипывая, Тата недоверчиво осмотрела куклу и, успокоенная, пошла в комнату.

– Кстати, – вспомнил Служкин, – а как ты у Будкина побывала?

– Можно я закурю? – спросила Сашенька, закурила и задумчиво рассказала: – Знаешь, Витя, как раз очень хорошо пообщались... Он меня коньяком угощал, смеялся, даже отпускать не хотел... Но был такой момент... Как бы это сказать... Он спросил, как у меня дела с Колесниковым, но спросил так, будто это его мало интересует, будто у него самого есть что-то и поважнее... Мне показалось, что на самом деле появление Колесникова в моей жизни его очень уязвило и он теперь маскируется... Хотя однажды я видела его с учительницей из твоей школы... Как ее?...

– Кира, – мрачно подсказал Служкин, чистя картофелину.

– Вот, с Кирой видела... И он будто бы хочет в отместку показать мне, что отношения с Кирой ему важнее, чем отношения со мной. Что он влюбился в нее. Но я-то знаю, что он любить не умеет. Скажи мне, Витя, у Будкина с этой Кирой что-нибудь есть?

– Нету, – ухмыльнулся Служкин. – Хотя возможно, что он с ней спит.

– Значит, он все-таки думает обо мне, раз уж так выделяется...

– Лучше бы, Сашенька, ты вообще не размышляла об этом, если у тебя плохо получается, – мягко посоветовал Служкин, серпантином срезая с картофелины шелуху.

– Ну объясни мне тогда! – почти с мольбой потребовала Саша.

– Как я могу объяснить тебе, Сашенька, если ты ничего не хочешь знать? – вздохнул Служкин. – Я тебе уже тысячу раз предлагал упростить ситуацию: ты люби меня, а я буду любить тебя, и все будет хорошо.

– Почему же я не хочу знать? – жалобно сказала Сашенька. – Я хочу! Скажи мне правду – любую, я выдержу. Что там у Будкина с Кирой?

Служкин только махнул рукой.

– Я не могу тебе изложить факты, – начал устало пояснять он, – потому что ты их неверно истолкуешь. Я тебе даю сразу истолкование – верное, потому что со стороны виднее. Но тебе его не надо. Тебе нужны

факты. Замкнутый круг, Сашенька. Ты в своей душе как в комнате без окон и дверей. Поэтому и любовь твоя какая-то бессильная. Ты очнись. Свет не сходится клином ни на чем.

Сашенька молчала, опустив голову.

– Н-ну, с-скотина!... – вдруг закричал Служкин.

Пуджик спокойно сидел в раковине умывальника над двумя рыбьими хвостами, как победитель над поверженными вражескими штандартами. Толстый, сытый, немигающий, он очень напоминал полярную сову.

## «В том гробу твоя невеста...»

Надя и Будкин ушли кататься на лыжах, а Служкин пек блины. Большие блины у него рвались и комкались, и он пек маленькие блинчики, которые называл «пятаками». Уже целая гора томных «пятаков» лежала в большой тарелке. По кухне плавал вкусный синий чад. Тата сидела на полу и напяливала туфельки нереально красивой кукле Барби, которая растопырила на табуретке ноги, как ножницы. Из подъезда донесся стук лыж по перилам, и в дверь протрезвонили.

– Надя! – закричала Тата, вскочила и бросилась в прихожую.

Первым в квартиру вбежал Пуджик. Потом с лыжами вошла Надя – румяная и счастливая, а потом Будкин с бутылкой вина в кармане пуховика.

– Ну да, на лыжах они катались, – с сомнением сказал Служкин Будкину. – До ларька и обратно.

– У тебя блины сгорят, – напомнила Надя.

Пока Надя и Будкин переодевались и связывали лыжи, Служкин допек «пятаки» и вылил на сковородку остатки теста из кастрюли. Получилось нечто вроде Австралии с Большим Барьерным рифом в придачу.

Яркий до изумления закат горел над Речниками. В синей дымке от блинов свет его приобретал апельсиновый оттенок. На столе в блюде, закатив глаза, лежали потные, сомлевшие, янтарные «пятаки». В сковородке щедро лучилось расплавленное масло. Варенье в вазочке от невообразимой сладости стало аж лиловым. Чай приобрел густо-багровый, сиропный цвет. Даже пышная сметана стеснительно порозовела. Все расселись вокруг стола. Будкин, причмокивая, сразу схватил один «пятак», положил его на широкий, как лопата, язык и убрал в рот, как в печь. Хмыкнув, он оценивающе пошевелил пальцем грудку блинчиков.

– Чего таких мелких напек? – спросил он.

– Поварешку лень стало мыть. Пипеткой воспользовался.

– Не лезь руками, – пресекла Будкина Надя, накладывая блинчики в блюдечко Тате. – Еще не известно, где ты ими ковырялся...

Пуджик, дожидаясь подачи, истомился бродить между ножек стола и табуреток, словно в лесу, прыгнул Наде на колени и сразу сунул усы в ее тарелку с «пятаками».

Надя стукнула его по лбу:

– Брысь! Я тебе перед уходом полкило куриных шей скормила!

– Куриные шеи? – задумчиво переспросил Служкин. – У нас в школе в

столовке всегда суп с куриными шеями. Я диву даюсь, откуда столько шей берется? То ли курицы как жирафы, то ли многоголовые, как Горыныч... А может, нас там змеями кормят?... Пуджик-то что, вместе с вами на лыжах ходил?

– Нет, он перед подъездом откуда-то из сугроба вылез.

– Не из сугроба, а из окна подвала, – поправил Надю Будкин.

– В подвале мог бы и мышей нажраться, – заметил Служкин. – Я слышал, он осенью с черным котом из третьего подъезда пластался?

– Было дело, – авторитетно подтвердил Будкин.

– То-то я заметил, что год назад все молодые коты черные были, а теперь серые пошли... Твой грех, Пуджик? Ты теперь в нашем подвале самый крутой?... Видел я позавчера из окна, как он со своими мужиками в подвал дома напротив ходил. Бились, наверное, с местными. – Служкин ногой повалил Пуджика на пол и повозил его по линолеуму туда-сюда.

– Надя, смотри, Пуджик умер!... – испугалась Тата.

– Не, теплый. – Служкин снова потрогал его ногой.

– Он теплый от солнца, – печально сказал Будкин.

– На, ешь, – смилостивилась Надя и кинула Пуджику «пятак».

Пуджик мгновенно ожил и бросился к подачке.

– Кстати, – вдруг хехекнул Будкин. – Опять чуть не забыл... Летом еще хотел подарить, да засунул в белье и найти не мог, только вчера выкопал...

– Он встал, ушел в прихожую и вытащил из кармана пуховика кулечек. Из кулечка он вынул красную детскую панамку и протянул Тате. – На, мелкая, носи. Я ее в Астрахани на аттракционе выиграл, а куда она мне?

– Примерь-ка, Тата, – попросила Надя.

Тата серьезно взяла панамку, расправила, осмотрела, слезла с табуретки и стала просовывать ноги в две большие дырки для косичек.

– Это же панамка! – ахнула Надя. – Она на голову надевается!...

Тата еще раз придирчиво осмотрела панаму и солидно возразила:

– Нормальные красные трусы!

Служкин, Будкин и Надя покатались от хохота.

– Слышь, Будкин, – вытирая с губ сметану, сказал Служкин, – я вспомнил историю про трусы, как ты Колесникова хотел расстрелять...

Будкин блаженно захекал.

– Что, по-настоящему? – удивилась Надя.

– Еще как по-настоящему, – заверил Служкин. – Могу рассказать эту историю, только она длинная как собака.

– Валяй, – велел Будкин, а Надя хмыкнула.

– Было это лет триста назад, – начал Служкин. – Родители наши

отправились загорать на юг, а нас с Будкиным забубенили в пионерский лагерь. В общем, они каждый год так поступали, и мы с Будкиным уже привыкли просыпаться июльским утром под звуки горна и по уши в зубной пасте. Мне тогда треснуло двенадцать лет, а Будкину, соответственно, одиннадцать. Мы были в одном отряде «Чайка», Колесникову же исполнилось четырнадцать, и он угодил в самый старший отряд «Буревестник». И еще надо добавить, что в те далекие годы Будкин не был таким разжиревшим и самодовольным мастодонтом, как сейчас, а наоборот – мелким, щуплым тушканчиком с большими и грустными глазами и весь в кудрях. Еще он был очень тихим, застенчивым и задумчивым, а вовсе не шумным, наглым и тупым.

Вожатой в нашем отряде «Чайка» была студентка пединститута по имени Мария Николаевна. Девушка лет двадцати с комсомольско-панельными склонностями, как я сейчас понимаю. Ну, то есть турпоходы, стройотряды, багульник на сопках и рельсы в тайге, костры там всякие, пора-по-бабам на гитаре, и все для того, чтобы где-нибудь за буреломом ее прищемил потный турист в болотниках или грязный геолог со скальным молотком. И дружила наша Марья с физруком, престарелым козлом, который в придачу к этому работал также сторожем, конюхом, электриком и вообще всем на свете. Вот в Марью-то Будкин и влюбился.

Он сразу стал членом трех тысяч идиотских кружков, ходил на все заседания совета отряда и совета дружины, малевал убогие стенгазеты и после полдника таскал в столовку, где проводились репетиции самодеятельности, для Марьи ее гитару. Из-за этого я страшно осерчал на Марью. Хрена ли? Я собираюсь важным и интересным делом заняться: ну, там, смотаться на пристань, чтобы прокатиться на речном трамвайчике, или пойти подглядывать в девчачий туалет, или пробраться за территорию лагеря в заброшенный дом, где, по слухам, в прошлую смену беглые зэки пионера на галстук повесили, – а эта влюбленная колода бродит за Марьей, как белая горячка за алкоголиком, и никуда со мной не хочет.

Конфликт же между нами и Колесом начался с того, что однажды мы ждали Марью с какого-то собрания и от нечего делать качались на качелях. Тут мимо нас Колесников пылит. Его, видно, старшаки только что надрючили, вот он и решил на нас отыграться. Подруливает и давай куражиться: салабоны, мол, сопляки, шкеты. Сразу, понятно, толпа выросла: ждут, когда махаться начнем. Я-то что, мудрый человек, сижу, поплеываю, а Будкин завелся. Поспорил он с Колесом, кто из них на качелях «солнышко» прокрутит. Колесо посчитал, что таким образом он всем покажет, кто Чапай, а кто белогвардейцы, и не знал, дурак, что Будкин

в этом деле – великий мастер. Скок они оба на качели и давай болтаться из стороны в сторону. Раскачались уж наполовину, даже больше, только галстуки пионерские трещат. И тут у Колеса попа играть начала. Он решил сделать вид, что сорвался, а на самом деле – прыгнуть. Ну и стартовал. А надо пояснить, что в нашу столовку с пристани все продукты физрук возил на лошади, и весь день эта сучья кобыла беспризорная шлялась по лагерю и гадила повсюду. И вот летел Колесо по небу, летел, планировал к земле да и завяз в куче навоза. Лежит в нем пластом и дымится, как сбитый «мессершмит».

У нас у всех со смеху чуть пупы не развязались. Будкин с качелей рухнул. Марья тут на крыльцо вышла и еле-еле не родила. Колесников подымается весь зеленый и плачет от злости. Марья его двумя пальцами за плечо взяла, нос зажала и повела через весь лагерь в баню – а сама ржет, погибается.

После этого Колесо на Марью и озлобилось.

Прошло дня два. Сидим мы как-то с Будкиным в палате, в дурака играем. Момент напряженный: Будкин в третий раз остается. Значит, идти ему в палату к девочкам и сообщать свежую новость, что он – чухан. А палата наша на первом этаже была. Тут в окне Колесников и засветился. «Хочешь, – говорит, – Шуткин, Марьин корень, про Марью расскажу что-то? Когда, – говорит, – Марья-то меня в баню водила, после качелей, мылись-то мы вместе. И Марья тоже голая была, ну прямо вся без трусов. И я ее щупал везде и дергал, где хотелось. Слово пацана!»

Будкин от таких известий белый стал, как холодильник, и одеревенел. Я говорю: докажи. Колесо тотчас выхватывает какую-то тряпицу и себе на башку напяливает. Мы глядим – да чтоб нам сдохнуть! – это и вправду трусы Марьины от купальника! «Тогда и снял у нее», – хвалится Колесо. В то время мы с Будкиным в этих делах, разумеется, не смыслили ни бельмеса. Нам и в голову не могло прийти, что подобного быть не может. А тут и доказательства налицо: баня была, трусы вот. Мы с Будкиным молчим. Ну, покривлялось Колесо с трусами на макушке – эффект ноль. Будкин уже, почитай, на том свете, а я-то Колесу на фиг нужен? Снял Колесо трусы с башки и ушел.

Я говорю Будкину: врет он все, не верь. Будкин ничего не ответил. Остался в третий раз дураком, пошел в палату к девочкам, сказал им, что он – чухан, буднично так сказал, без чувства. Только мы вернулись к себе, опять рожа колесниковская в окно въезжает. «Хотите, снова на трусы поглядеть? Идите, – говорит, – на площадку, где линейки проводят, я их там на флагшток повесил. Вечером на линейке их весь лагерь увидит».

Двинулись мы туда. Точно. Полощутся трусы под облаками, только серпа и молота на них не хватает. Попробовали мы влезть по шесту и снять их – не получается. Тут и горн на обед трубит. Война, как говорится, войной, а обед по расписанию.

После обеда тихий час. По правде говоря, я про трусы-то и забыл на сытый желудок. Ну и что, что весь лагерь их увидит? Марья же в них рассекала на пляже, весь лагерь их и так видел. Пусть висят, не жалко. Я и вздремнул. Глаза раскупориваю – Будкина нет. И вот что он сделал.

Он пошел к домику дирекции и через форточку влез в комнату физрука, у которого, как у сторожа, имелась одностволка. Пользоваться ружьем Будкин умел: у него отец охотник, дома все стены в оленьих рогах, гости на четвереньках ползают. Взял Будкин ружье, нашел коробку патронов, вылез обратно и пошагал через весь лагерь. Самое интересное, что он не прятался, а никто даже не спросил: почему это пионер Будкин из отряда «Чайка» ходит по территории как басмач Абдулла? Уж не комсомольца ли Колесникова из отряда «Буревестник» он решил пустить в распыл?

Поднял Будкин Колесо с постельки и под дулом привел на площадку. Колесо от страха со всех сторон описалось и обкакалось и сразу раскололось. Не ходило оно с Марьей ни в какую баню и не пойдет, не просите, а трусы у Марьи просто стырило. Эта корова свое белье постирала и на батарее сушила, а Колесников зашел к ней в комнату вроде как за книжкой, да и тяпнул.

Тогда Будкин велел Колесу лезть на флагшток и снимать трусы. Колесо и тут раскисло. Трусы повесил некто Сифон из второго отряда – существо нечеловечески ловкое и почти не отличающееся ни умом, ни обликом от примата.

«Раз от тебя вообще никакого толку нет, так я тебя пристрелю, потому что ты паскуда», – сказал Колесу Будкин, разломил ружье и вставил патрон. Колесо как увидел это, так с визгом в кусты ломанулся и улетел, словно утюг с десятого этажа.

Будкин же, оставшись один, решил сбить пулей верхушку шеста с трусами. Встал на колени и начал патрон за патроном палить по флагштоку. Тут на канонаду с воем и слетелись вожатые.

Три дня Будкин под стражей просидел, пока его мама с югов педали в обратную сторону крутила. Будкина из лагеря выперли. Хорошо еще, что труп Колесникова не послужилотягчающим обстоятельством.

Надя недоверчиво качала головой и смеялась. Будкин слушал благосклонно, хекеал и пил вино.

– Ты что же, его на самом деле хотел застрелить? – спросила Надя.  
– И застрелил бы, – подтвердил Будкин. – Такое состояние было. Только он побежал, а в спину стрелять некрасиво.

Служкин и Будкин, разгоряченные детскими воспоминаниями и вином, затеяли спор.

– Я звал тебя, Витус, когда за ружьем пошел! – оправдывался Будкин. – Только ты спал!...

– Хотел – разбудил бы! – Служкин в негодовании даже стукнул гипсом об пол. – Ты меня всегда кидаешь и накаливаешь!

– Когда это я тебя кидал и накаливал?!

– Да всю дорогу! Помнишь, например, мы ходили на рельсы под поездом деньги плющить? Я брал юбилейный рубль, а ты – простой, а потом ты мой взял себе, а свой подсунул мне!

– Так они уже ничем не отличались друг от друга!

– И все равно!... А когда я сделал стрелы с бомбочками на конце и отдал их тебе на хранение, ты их взял да поменял Насосу на солдатиков-викингов, а мне сказал, что стрелы у тебя отец отнял! Я все знаю, все помню! И моего желтого Чапая ты стырил, а мне подсунул своего с отломанной саблей – скажешь, не было такого?

– Ну было, ну и что? Когда на санках за помойную машину цеплялись, ты же раздолбал мои санки в лепешку – я же не пикнул!

– Так я не специально, а ты специально!

Надя хохотала, слушая этот спор, и Тата тоже смеялась. Ей было радостно, что мама так довольна, что папа с Будкиным так смешно ругаются.

Вечером, когда Будкин ушел домой, Надя стала мыть посуду, а Служкин уложил Тату в постель и достал книжку Пушкина, чтобы почитать ей сказку. Он выбрал «Спящую красавицу». Надя управилась с посудой, а Служкин все еще читал.

– Закругляйтесь, – велела Надя. – Я спать хочу. Мне свет мешает.

– А ты гаси его, – предложил Служкин. – Я дальше наизусть помню.

– Глупости какие... – пробурчала Надя и погасила свет.

Она легла, а Служкин, сидя на полу возле кровати, читал дальше.

Королевич Елисей искал свою царевну. Он расспрашивал о ней солнце – солнце не знало. Он расспрашивал месяц – и месяц тоже не знал. Он спросил у ветра.

– Постой, – читал в темноте Служкин, –

Отвечает ветер буйный.

Там за речкой тихоструйной  
Есть высокая гора,  
В ней глубокая нора;  
В той норе, во тьме печальной,  
Гроб качается хрустальный  
На цепях между столбов.  
Не видать ничьих следов  
Вкруг того пустого места,  
В том гробу твоя невеста.

Служкин остановился. Тата спала и дышала ровно. Надя закуталась в одеяло, отвернулась к стенке и плакала.

Служкин сел на кровать и погладил ее.

– Ну, Наденька, не плачь, – попросил он. – Ну перетерпи... Я ведь тоже разрываюсь от любви...

– К кому? – глухо и гнусаво спросила Надя. – К себе?

– Почему же – к себе?... К тебе... К Таточке... К Будкину... К Пушкину.

## Бетономешалка

В середине февраля Будкин возил Служкина на осмотр в травмопункт. Он пожелтел от выкуренных сигарет, пока ждал Служкина то от хирурга, то с рентгена, околаваясь по коридорам больницы в толпе перепуганных детей, побитых старух и похмельных мужиков. Наконец он дождался, ругаясь, погрузил Служкина в машину и повез домой.

Погода стояла снежная, студеная и пасмурная. Дорога по ступицу колес была завалена серо-бурой массой снега, смешанного с грязью. Перелопачиваемая автомобилями, эта каша ездил туда-сюда по черному, обледенелому асфальту. На автобусных остановках мерзли толпы, и за сотню метров до них вдоль обочины уныло торчали, протянув руки, голосующие.

Будкин неожиданно затормозил. Девушка в парке перебралась через сугроб с прослойками саж и открыла переднюю дверцу.

– Привет, – сказала она. – До города или домой?

– А куда хочешь, – ответил Будкин. – С коллегой поздоровайся.

Девушка оглянулась. Это была Кира Валерьевна.

– А, это ты... – небрежно сказала она, увидев Служкина.

– Только сначала мы его домой забросим, – предупредил Будкин.

У подъезда он выволок Служкина из машины, повесил себе на шею и попер вверх по лестнице. Кира сзади несла будкинскую шапку.

– Я позвоню, а вы пока кофе попейте, – предложил Будкин, сбрасывая Служкина в прихожей, и прошел в комнату к телефону.

– Проходи на кухню, – печально сказал Служкин Кире. – Кофе там. Можешь не разуваться. У меня никто не разувается...

– Алё, Дашенька? – раздался голос Будкина. – Босса позови.

– Что-то ты сегодня квёлый, – расстегивая парку и усаживаясь в кухне на табуретку, заметила Кира. – Без обычных своих подначек...

– Подначки в заначке, – вяло отшутился Служкин, включая чайник.

– Ничего у тебя дома, уютно.

– А чего ты хотела? Чтобы у меня на окне решетка была и на мокрых бетонных стенах гвоздем было выцарапано «Долой самодержавие!»?

– Разогреваешься, – хмыкнула Кира. – Как нога?

– В больнице сказали, что скоро на передовую.

– Как хоть ты ее сломал-то? – Кира глянула на гипс.

– Пьяный катался с горки на санках и врезался в березу.

Кира презрительно сморщилась.

– В общем, мне нравится, – подумав, сказала она, – что ты не строишь из себя супермена. Однако ерничество твое унизительно.

– Я не ерничаю. Спроси у Будкина: так и было.

– Что-то у тебя как ни история, так анекдот, и везде ты придурком выглядишь.

Служкин закурил и придвинул спички Кире.

– Любой анекдот – это драма. Или даже трагедия. Только рассказанная мужественным человеком.

– Ну-у, ты себя высоко ценишь!... – сказала Кира. – А впрочем, чему тут удивляться? Твое ерничество и идет от твоей гордыни.

– Вот даже как? – деланно изумился Служкин.

– Ну да, – спокойно подтвердила Кира, стряхивая пепел. – С одной стороны, ты этим самоуничижением маскируешь гордыню, как миллионер маскируется дырявыми башмаками. А с другой стороны, тем самым ты и выдаешь себя с головой.

– Каким это образом?

– Своей уверенностью в том, что тебя по-настоящему никто не воспримет за балбеса, каким ты себяставляешь.

– Я неставляю, – возразил Служкин. – Я рассказываю правду. Только занимательно рассказываю.

– Для тебя понятия правды и неправды неприемлемы, как для романа. Твои маски так срослись с тобой, что уже составляют единое целое. Даже слово-то это – «маски» – не подходит. Тут уже не маска, а какая-то пластическая операция на душе. Одно непонятно: для чего тебе это нужно? Не вижу цели, которой можно добиться, производя дурацкое впечатление.

– Могу тебе назвать миллион таких целей. Начиная с того, что хочу выделиться из массы, кончая тем, что со мной таким легче жить. Впрочем, если ты помнишь классиков, «всякое искусство лишено цели». Так что возможен вариант «в белый свет как в копеечку».

– Не знаю насчет искусства и не помню классиков, но таким выпендриванием тебе ничего не добиться. Сколько ни прикидывайся дураком, всегда найдется кто-нибудь дурее тебя, так что этим не выдесишься. И другим с тобой жить легко не будет, потому что ты жутко тяжелый человек. Не обольщайся на этот счет.

– Отцы думают иначе.

– Отцы – это твои школьники из девятого «бэ», да? Глупо считать решающим мнение четырнадцатилетних сопляков, которые ничего в жизни не видели, не понимают и вряд ли поймут. Конечно, на первый взгляд ты

податливый: мягкий, необидчивый, легкий на подъем, коммуникабельный... Но ты похож на бетономешалку: крутить ее легко, а с места не сдвинешь, и внутри – бетон.

– Ты из меня прямо-таки какую-то демоническую личность сделала, – усмехнулся Служкин. – Страшнее беса посреди леса. А какое в общем-то тебе дело до меня? Я тебе не мешаю. Чего ты заявляешься сюда и начинаешь меня на свои парафафы разлагать?

Кира легко засмеялась.

– Не знаю, – честно призналась она. – Такое вот ты у меня желание вызываешь – порываться в твоём грязном белье. Чужая уязвимость, а значит, чужие тайны, у меня вызывают циничное желание вывесить их на заборе. Только редко находятся люди, имеющие тайну по-настоящему. Гордись: ты, к примеру, чудесный зверь для моей охоты.

– Может, ты в меня влюбилась, а? – предположил Служкин.

– Ну нет! – открестилась Кира. – Твоя самоуверенность меня изумляет! Ты мне, конечно, интересен. Если бы я о тебе слышала от кого-то другого, то ты был бы притягателен. Может, тогда бы я и влюбилась в тебя – заочно. Но когда собственными глазами видишь все это, – она презрительно обвела Служкина сигаретой, – то просто отторжение какое-то.

Из комнаты, хекекая, вышел Будкин.

– От него и так уже летят клочки по закоулочкам, – сказал он. – Хватит, Кира. Ехать пора.

– Ты подслушивал! – сокрушенно воскликнул Служкин. – Ах ты, Будкин, вульгарная ты саблезубая каналья! – Он поднял костыль, приладил его к плечу, прицелился в Будкина и выстрелил: – Бах!

– Мимо, – хехекнув, ответил Будкин.

## Термометр с фонарями

Будкин открыл Служкину дверь завернутый, как в тогу, в ватное одеяло, словно римский патриций в далекой северной провинции.

– Ты чего в такую рань? – удивился он.

– Хороша рань, я уже три урока отдубасил...

В ванной у Будкина шумела вода, кто-то плескался.

– Ты, что ли, там моешься? – разуваясь, спросил Служкин.

– Я, – хехекнул Будкин, возвращаясь на разложенный диван.

– Вечно у тебя квартира всякими шлюхами вокзальными набита... – проворчал Служкин, проходя в комнату и плюхаясь в кресло.

– Ты чего такой свирепый? – благодушно спросил Будкин, закуривая.

– Обьелся репой, вот и свирепый...

Тут в ванной замолкла вода, лязгнул шпингалет, и в комнату как-то внезапно вошла грудастая девица в одних трусиках. Увидев обомлевшего Служкина, она покраснела от злости и прошипела:

– Предупреждать надо, молодые люди!...

Она яростно сгребла со стула груды своих тряпок, выбежала из комнаты и снова заперлась в ванной.

– Это что за видение из публичного заведения?...

– А-а... – Будкин слабо махнул рукой. – Вчера скучно стало, я решил покататься. Она попросила подвезти... Вот до утра и возил.

Служкин молча покачал головой. Они курили и ждали девицу, но девица, выйдя из ванной, не заглянула в комнату, быстро оделась в прихожей и вылетела в подъезд, бахнув дверью.

– Может, она твое фамильное серебро унесла? – задумчиво предположил Служкин. – Или годовой запас хозяйственного мыла?... А ты все лежишь, как окурок в писсуаре.

– Ладно, встаю, – закричал Будкин и постепенно поднялся. – О! – сказал он и взял со стула кружевной черный лифчик. – Еще один!... Хочешь, Витус, покажу тебе свою коллекцию забытых лифчиков? Там и от Киры имеется...

– Могу тебе до кучи вечером еще и Надин принести, – мрачно ответил Служкин. – Или уже есть?

– Как тебя, Витус, еще земля носит? – в сердцах заметил Будкин и, плотнее запахивая одеяло, побрел из комнаты. – Пойдем в кухню кофе пить... Эта Света – или как ее? – чайник согрела...

– На Свете счастья нет... – пробормотал Служкин.

В кухне он сел за стол и тяжело замолчал.

– Что, опять тебя сегодня ученики надраили? – проницательно спросил Будкин, одной рукой разливая кофе, а другой придерживая одеяло на груди.

– До жемчужного отлива, – кивнул Служкин.

Уже целую неделю он ходил на работу. Первый же урок, который ему поставили, оказался уроком в девятом «В». Служкин сам потом признал, что, сидя в гипсе, он малость утратил чувство реальности, а потому явился на урок не как Емельян Пугачев в Белогорскую крепость, а как разночинец, совершающий «хождение в народ». И народ не подкачал.

По служкинским меркам, урок проходил довольно мирно. Но это потому, что самое главное Служкин просмотрел еще в начале. Дело в том, что в его кабинете в его отсутствие вела уроки Кира Валерьевна. Она и оставила на учительском столе целую стопу тетрадей шестиклассников. Проходя мимо, Градусов ловко и незаметно стащил эту стопу, а потом раздал тетради своим присным. Присные и помалкивали весь урок, разрисовывая тетради самыми погаными гадостями.

На перемене Градусов так же незаметно положил стопу обратно. Следующим уроком у Служкина зияло «окно», он решил заполнить журнал и ненароком столкнул тетради на пол. Тетради упали, рассыпались, раскрылись – тут-то Служкин и узрел художества.

Плача жгучими слезами бешенства и бессилия, Служкин листал изгаженные тетрадки. В творчестве зондер-команды нашли отражение интимные забавы не только его самого, но и всего педколлектива школы. Однообразные рисунки и однообразные матерные подписи ничем, кроме глупого и глумливого похабства, удивить не могли.

Но вдруг среди прочей дряни Служкин наткнулся на целый цикл графических работ, элегантно озаглавленный «Ночные похождения Географа». Такие же похабные по содержанию, эти рисунки были сделаны уверенной и легкой рукой. Кроме того, в них не было равнодушного издевательства – наоборот, они были полны едкого и беспощадного ехидства, пусть и недоброго, зато точного и в меру. Рассматривая эти рисунки один за другим, Служкин неожиданно фыркнул, а потом затрясся, смеясь, и даже схватил себя за лицо – так велико было портретное сходство. Почерк подписей не оставлял сомнений: это рисовал сам маэстро Градусов.

Однако с изгаженными тетрадками надо было что-то решать. Вздыхая и морщась, Служкин на перемене побрел к Кире. Кира, узнав, в чем дело, чуть не вцепилась Служкину ногтями в лицо. «Разбейся с завучем сам,

идиот!» – прошипела она. От Угрозы Борисовны Служкин вышел со спиральной завивкой, с оловянными глазами и блуждающей улыбкой олигофрена.

Но Угроза взялась за дело профессионально. Она сразу же пошла и вышибла мозги из Градусова и присных, отняла у них портфели и оставила только дневники, в которых написала родителям гневное приглашение на вечернюю встречу с Виктором Сергеевичем, чтобы Виктор Сергеевич поведал об успехах их чад. Присные до вечера были разогнаны по домам, а Градусов оставлен в кабинете географии делать уборку.

И вот Служкин с Градусовым остались в кабинете один на один. В углу громоздилась гора конфискованных портфелей. После своего триумфа – добытого, правда, чужими руками – Служкин сделался великодушен, а после созерцания гравюр он уже не мог видеть в Градусове только волосатого троглодита. И Служкин решил поговорить с Градусовым по душам, как с другом: мол, сколько же можно и на фиг нужно?

Градусов очень сочувственно отнесся к служкинскому порыву. Он виновато вздыхал, сопел, краснел, шмыгал носом и косноязычно бормотал: «Дак че... Все балуются...» Он был очень жалок – маленький, рыжий, носатый Градусов. Служкин и сам растрогался, даже решил помочь Градусову в приборке, вынести мусор. Когда же он вернулся в кабинет, то кабинет был пуст. Градусов все конфискованные портфели выбросил в окно, под которым караулили присные, а сам сбежал.

Уже через час Служкин вместе с Будкиным сидел в подвале и нажирался сливой в крепленном вине.

– Ну как же можно такой свиньей быть, а? – взывал Служкин.

– Да плюнь ты, Витус, – хехекал в ответ Будкин. – Придуши их, как свиней, да и все.

– Не могу я, как ты не понимаешь! Я человека ищу, всю жизнь ищу – человека в другом человеке, в себе, в человечестве, вообще человека!... Так что же мне, Будкин, делать? Я из-за них даже сам человеком стать не могу – вот сижу тут пьяный, а обещал Татке книжку почитать!... Ну что делать-то? Доброта их не пробивает, ум не пробивает, шутки не пробивают, даже наказание – и то не пробивает!... Ну чем их пробить, Будкин?...

– Чем черепа пробивают, – хехекал Будкин.

И вот теперь, на кухне, когда Будкин угадал, что зондер-команда опять проскакала по Служкину, как татаромонгольская конница, Служкин начал изливать окончание своей новой схватки.

– Я сегодня вообще не знал, что мне с Градусовым делать. Бога молил, чтобы они проспали – так нет, всей стаей, до последней макаки пришли.

Сели сзади на свои пальмы и давай в карты резаться. Только и слышно: «Дама! Валет! Бито!» Ну, я налетел на них, как «Варяг» на японскую эскадру. Градусов от меня скок и за другой ряд убежал. Стоит там, сам трусит, а виду не подает.

А я все, озверел, едва Градусова увидел, шерсть по всему телу полезла. «Третий ряд! – ору. – Встать и отойти в сторону, а то глотки рвать начну!» Смотрю: потихоньку потекли, меня как трансформаторную будку обходят. Остался Градусов один. Сзади – стена, впереди – ряд парт, а за ними – я. А где я – там посылайте за плотником. Заметался Градусов вдоль стены. По роже видно, как у него мозги плавиться начали. Кинулся я вдоль ряда и давай с грохотом парты к стене припечатывать: бах! бах! бах! Школа, наверное, от ударов с фундамента соскочила. Градусов в угол брызнул, а я вслед за ним все парты в стенку вбил, кроме последней, за которой он стоял.

У Градусова от ужаса даже в черепе зажужжало. Он ручонки свои куцые выставил, как каратист, и визжит: «Чего, махаться будем, да?!» Брюс Ли, блин, недоклеенный. Я как захохочу подобно Мефистофелю, аж сам чуть со страху не помер. Сцапал я Градусова, выволок из угла через парты, протащил по полу и пинком за дверь вышиб. Дверь закрываю, оборачиваюсь к классу, говорю: «Конец фильма». И вижу – у всех глаза словно микрокалькуляторы: высчитывают, до каких пределов меня доводить еще можно.

Ну, ладно. Урок вроде дальше поехал. Все сидят малость контуженные. Я им что-то впрягаю про Ямало-Ненецкий округ: о! – говорю, – Ямало-Ненецкий округ! О! А урок у меня был первый, то есть на улице – темнотища. И вот говорю я, говорю, и вдруг – хряпс! – свет погас. Что за черт! Все загалдели. Я на ощупь дверь нашел, вывалился в коридор, там нашарил распределительный щит, перебросил рубильник – свет зажегся.

Талдычу дальше по инерции, и вдруг опять – бэмс! – свет погас. И за дверью слышно: цоп-цоп-цоп – кто-то от рубильника сматывается. Тут уж зондер-команду прорвало по-настоящему. Девки визжат, пацанов по башкам пенами лупят, пацаны орут, девок за титьки хватают, учебники во все стороны полетели. Пока я до щита добрался, кто-то уже спички жечь начал. Включил я свет – все как с марафона, едва дышат, языки вываливаются.

Дошло до меня, что не иначе как Градусов тут козни строит. Хорошо, диктую дальше, а сам, однако, дверь в кабинет приоткрыл и краем глаза секу. И точно! Минут через пять крадется мимо какая-то низкорослая, носатая тень – и шмыг к щиту! Я рванул к выходу, а свет – чпок! – и

погас. Я со всего разгона как налечу на парту, да как на девку какую-то хлопнусь! Все, думаю, Градусов. То, что раньше было, – это преамбула. А сейчас тебе будет амбула. Включил я свет, запер дверь, чтобы из кабинета никто не выбежал, а сам у лестницы за углом в коридоре притаился. Жду. Знаю: Градусов придет.

Минут пять прошло, глаза мои к темноте привыкли, и вот слышу, на лестнице тихо-тихо: цо-о-оп, цо-о-оп, цо-о-оп... И представь, Будкин, фантастическую картину: тьма, коридор, дверной косяк чуть белеет, и из-за него медленно-медленно выезжает огромный Градусовский нос, как крейсер «Аврора» из-за Зимнего дворца. Я дотерпел, пока весь нос вылезет и глаз появится, и как засадил в этот глаз своим кулачищем: бабамс!! Градусова словно волной смыло, только вместо носа у косяка сапожищи его мелькнули. Укатился он вниз по лестнице, где-то через три пролета вскочил на ноги и дунул дальше... И с первого этажа донеслось до меня, как он заревел: «У-ы-ы-ы!...»

Служкин замолчал, вертя в пальцах незажженную сигарету.

– Так ему и надо, – удовлетворенно хехекнул Будкин.

– А мне его дико жалко стало... – сказал Служкин.

– Ладно, Витус, – помолчав, устало произнес Будкин. – Это уж слишком. Пускай твой Термометр с фонарями походит. Может, разглядит чего...

– А ты откуда знаешь, что у него один, фонарь уже был до меня?

Будкин открыл рот, закрыл рот и начал ожесточенно чесаться под одеялом, словно его одолевали блохи.

– Э-э... – промямлил он.

– Ну, давай, колись, – хмуро поторопил Служкин.

– Понимаешь, Витус... – с трудом начал Будкин, вытащил из одеяла руку и принялся скрести голову. – Ты мне рассказал про те рисунки, ну и это... В общем, в понедельник я его случайно увидел на улице – помнишь, ты мне его как-то показывал? – ну и... вмочил. Предупредил: будешь еще выпендриваться – инвалидом сделаю.

Служкин печально кивал головой, кивал и вдруг засмеялся:

– Не шибко, видать, он тебя испугался, если сегодня снова...

Будкин страдальчески сморщился и вдруг тоже захехекал.

– А я, Витус, того... Забыл ему сказать, на каком уроке нельзя выпендриваться...

...У Будкина Витька просидел, наверное, целый час. Они сыграли в шахматы, пообедали, снова сыграли в шахматы и совсем прокисли.

– Пойдем в баню подсматривать? – наконец предложил Будкину Витька.

Робкий Будкин долго мялся, но Витька его уломал. Они оделись и вышли из дома. На улице уже стояли сумерки. Витька и Будкин не спеша пошагали к бане.

По дороге Витька заглянул на стройку, где подобрал длинную, крепкую палку. Потом у школы они свернули на задний двор. Там стоял сарай с макулатурой и инвентарем для субботников и громоздились кучи металлолома. Витька направился к куче своего класса и принялся с грохотом и скрежетом выволакивать оттуда железную бочку.

– Давай лучше у «бэшников» возьмем, – остановил его Будкин.

Они выкатили точно такую же бочку из кучи восьмого «Б», насадили ее на палку и понесли.

– Хорошо в Америке, у них порнографию показывают... – сказал Витька. – А у нас если зашубят, так вообще убьют...

Будкин не ответил. Витька все думал, думал и разозлился.

– Интересно, Витус, – вдруг сказал Будкин, – а вот при коммунизме как будет: тоже нельзя на голых смотреть?

– При коммунизме психология будет другая, – злобно ответил Витька. – Тебе и самому не захочется.

Будкин тоже задумался.

Они дошли до бани и направились к крылу, в котором находилось женское отделение. Окна его светились в сгустившемся мраке. Под ними у стены проходила узкая тропинка. Витька и Будкин, осмотревшись, поставили там бочку и, помогая друг другу, вскарабкались наверх.

Сквозь стекло доносился шум и банные вздохи. Стекло было покрашено синей краской, но в краске кто-то процарапал небольшое окошечко. Витька позволил Будкину смотреть первым. Будкин прилип к стеклу и надолго замолчал.

– Оба!... – вдруг испуганно зашептал он. – Комарова!...

– Пусти позырить... – засуетился Витька.

Они завозились, меняясь местами, качая бочку и цепляясь за жестяной карниз. Наконец Витька приник к окошечку, ожидая, что сейчас перед ним распахнется мир, полный захватывающих тайн. Но за потным стеклом клубился пар, двигались какие-то неясные тени, и Витька ничего не понял.

И тут все окно вдруг вздрогнуло.

С тихим воем Будкин улетел вниз. Витька остолбенел.

Окно неожиданно открылось. Прямо на Витьку в клубах пара вылезло чье-то лицо – овальное, большое, красное, с длинными, тонкими, черными

от воды волосами, прилипшими ко лбу и щекам.

– Служкин!... – потрясенно сказала женщина.

Витька отпрянул.

Из оконного проема вылетела рука и отвесила ему пощечину.

Витька не успел осознать, что делает.

– Гаденыш! – сказала женщина, и тут Витька плюнул ей в лицо.

Обрушив бочку, он слетел вслед за Будкиным. Вдвоем они бросились бежать. Они бежали минут пять, пока не заскочили в какой-то подъезд.

– Узнала?... – содрогаясь от удушья, спросил Будкин. – Кто это?...

– Дура какая-то... – ответил Витька.

Он только сейчас понял, что за женщина открыла окно.

Окно открыла Чекушка.

## Пусть Будкин плачет

Надя и Таточка уже спали, а Служкину надоело сидеть на кухне с книжкой, и он решил сходить в гости. Например, к Ветке.

Дымя сигаретой, он брел по голубым тротуарам изогнутой улочки Старых Речников. Редкие фонари, словно фруктовые деревья, печально цвели среди сугробов. Вдали, за снежными тополями и крышами, за печными трубами, скворечниками и лодками на сараях, призрачно белели сложенные гармошкой пласты многоэтажек. Небо над ними было беспорядочно исцарапано зигзагами созвездий.

Дверь открыл Колесников и, увидев Служкина, сразу выпихал его на площадку и выбежал сам.

– Слушай, Витек! – радостно зашептал он. – Выручи, вот так надо!... – Он ладонью азартно отрезал себе голову.

– А в чем дело?... – нехотя поддался Служкин.

– Мне, понимаешь, надо из дому на ночь смыться!... Ты скажи, что тебе Будкин звонил, что его на мосту ГАИ остановило и машину на стоянку отправило – надо, чтобы я приехал выручать! – Колесников выдал эту версию с ходу, видно, заготовил заранее.

– Да ну тебя... – скорчился Служкин.

– Витек, ну как братана прошу, как мужик мужика!...

С кислой миной вслед за ним Служкин вошел в прихожую. Ветка выглянула с кухни, увидела Служкина, завизжала и кинулась целовать.

– Да слезь ты с меня!... – отбивался Служкин. – Ветка, не ори, дело есть! Мне только что Будкин звонил. Его на мосту ментовка остановила и машину отняла. Он просит, чтобы Вовка его отмазал.

– Прямо сейчас? – удивилась Ветка. – А завтра-то нельзя?

– Завтра будут уже вторые календарные сутки стоянки, – быстро сочинил Служкин. – А это удвоение платы.

– А чего он нам не позвонил? – подозрительно спросила Ветка.

– Говорит, звонил, да не смог дозвониться.

– Да, блин... – сказала Ветка и печально посмотрела на Колесникова. – Это надолго?

– На всю ночь... – скорбно ответил Колесников и повесил голову.

– Поедешь?

– Надо. – Колесников тяжело вздохнул. – А то он плакать будет...

– Ну, ладно, – грустно согласилась Ветка и пошла на кухню, но оттуда

крикнула: – А ты, Витька, раздевайся, проходи.

Колесников просиял и показал Служкину сжатый кулак с оттопыренным большим пальцем. Служкин скривился и показал ему сжатый кулак с оттопыренными большим пальцем и мизинцем. Колесников укоризненно развел руками, дескать, о чем речь! Служкин неторопливо раздевался, а Колесников торопливо одевался.

– Ну, я поехал! – крикнул он в квартиру, нахлобучивая шапку.

– Будешь с Будкиным трахаться – привет от меня передай, – сказал Служкин, и Колесников, понимающе усмехнувшись, покровительственно похлопал его по плечу.

Колесников выскочил за дверь, а Служкин направился в кухню.

Ветка размашисто нахлестала чаю в две чашки.

– Витька, а ты правду сказал насчет Будкина? – спросила она.

– А что, я в чем-то прокололся? – затревожился Служкин.

– Да нет... Просто в последний месяц Колесников уже который раз дома не ночует. Самое подозрительное, что у него всегда надежная отмазка имеется. Я уж подумывала, не завел ли он себе любовницу? Девки знакомые говорили, что видели его с какой-то бабой...

– Может, подследственная? – вяло предположил Служкин.

– Иди ты, – фыркнула Ветка.

– А если и любовница, что ты сделаешь?

– У-ух! – зашумела Ветка. – Я ему тогда устрою тарарам! Всю рожу расцарапаю, посуду перебью!

– И что после тарарама?

– Ну-у... возьму с него слово, что больше не повторится, и дальше жить будем. Шурупы-то папаша какой-никакой, а нужен.

– А если повторится?

– Тогда разведусь. Только сперва другого папу найду, хорошего и с квартирой. А пока искать буду, Колесникову всю жизнь отравлю.

– Сурово... А за меня ты замуж бы пошла?

– Ты что, мне предложение делаешь? – заподозрила Ветка.

– Просто выясняю, гожусь я еще в женихи или уже нет.

– Конечно, пошла бы. Ты человек веселый, легкий, без проблем.

– Чего же раньше не шла, когда звал?

– Молодая была, дура.

– А сейчас старая и мудрая?

– А сейчас молодая и мудрая, – обиженно поправила Ветка. – Чего ты разговор-то об этом затеял? Ты, случайно, Колесникова не для этого отослал? Может, ты Будкина подговорил, чтобы он его позвал? Колесников

свалит, а ты тут со мной на целую ночь останешься, а? Ты на такое способен.

Служкин крикнул.

– А как тебе больше нравится? – спросил он.

– Да уж лучше так, чем он бы к любовнице пошел.

– Ага, тебе, значит, можно изменять, а ему нельзя? Тебе орден, а ему по морде? – Служкин по-будкински захехекал. – Сама-то ничем не лучше его. Тоже ему рога приставила до второго этажа.

– Да не в том дело, Витька! – возмутилась Ветка. – Мы же люди современные, свободные! Главное – не то, что изменяет, а как относится! Я никогда людей не смешиваю: Колесников – это всегда Колесников, ты – всегда ты. А для него все бабы одинаковы, лишь бы ноги раздвигали! Для него что я, что какая-нибудь проститутка – одно и то же! Вся и разница, что я даю всегда и бесплатно!

– Эк ты его разделала... – хмыкнул Служкин. – На фиг тогда тебе с ним таким жить?

– А чего делать-то? Вляпалась, вот и сижу! Ты замуж не берешь, а другие ничем не лучше Колесникова.

– Уф, Ветка, ну и загрузила ты меня, – вздохнул Служкин.

– Ладно, чего трепаться попусту, – согласилась Ветка. – Шуруп спит, ничего не знает. Ты ночевать будешь?

– Господь с тобой!... – ужаснулся Служкин.

– Тогда я в ванну минут на десять, а ты подожди.

Ветка улетела в прихожую, заперла дверь и скрылась в ванной. Слышно было, как зашлепали по полу ее босые ноги, потом зашипел душ. Служкин закурил, выключил в кухне свет и подошел к окну.

Отсюда отлично был виден весь затон. Ярко освещенный прожекторами, он лежал посреди тьмы как остров. Корабли загадочными кристаллами были заморожены в плоскость неестественно белого льда. Было во всем этом что-то космическое: целое блюдо слепящего света в океане черноты и вдали пунктир мелких звездочек – фонарей на дамбе, – словно отнесенный в сторону окраинный рукав спиральной галактики. Шум душа напоминал свист вселенского эфира.

Но шум умолк, дверь ванной скрипнула, и Ветка вышла.

– Бросай сигарету, – шепотом велела она. – Пойдем в комнату.

В комнате Служкин сел на диван, а Ветка хлопнулась рядом, прижавшись к нему. Служкин обнял ее.

– Ну, не думал, не гадал... – пробормотал он и принялся целовать Ветку в губы.

Ветка поддавалась с жаром и энергией. Служкин расстегнул сверху донизу пуговицы ее халата, положил руку на ее горячий живот, медленно повел ладонью вверх и взял, как грушу, тяжелую и крупную грудь Ветки. И тут во входной двери заелозил ключ.

– Колесников вернулся! – шепотом крикнула Ветка, слетела с дивана и начала лихорадочно застегиваться.

– Великий факир изгадил сортир, – сквозь зубы, едва не зарывчав, сказал Служкин, встал, ушел на кухню, включил свет и злобно обрушился на табуретку.

Ветка отщелкнула собачку, и Колесников наконец-то вошел.

– Чего закрылась-то на сто оборотов? – раздраженно спросил он, разуваясь. – Чего тут, украдут тебя, что ли?... Служкин ушел?

– Нет, на кухне сидит, – ответила Ветка и, подумав, добавила: – Курит.

Служкин покорно вытащил сигарету и закурил. Мягко ступая в одних носках, Колесников прошел на кухню и поставил перед Служкиным на стол бутылку водки.

– Обломала она меня, – тихо сказал Колесников. – Насовсем и навсегда выгнала. Сейчас с горя пить будем.

Ветка появилась в дверях кухни.

– Ты чего вернулся-то? – спросила она.

– Автобуса долго не было. Холодно ждать.

– На улице – минус два...

– Минус два – жара, что ли, по-твоему?! – рявкнул Колесников.

– А ты говорил, Будкин плакать будет... – совсем робко, по инерции сказала Ветка.

– Да хрен с ним, – махнул рукой Колесников. – Пускай плачет.

## Сосна на цыпочках

Когда красная профессура ввалилась в кабинет, она увидела Служкина, в пуховике и шапке сидящего за своим столом и качающегося на стуле. Из рта у него торчала незажженная сигарета.

– Это у вас, Виктор Сергеевич, новая манера урок вести? – ехидно спросил Старков. – Может, нам за пивом сбегать?

– В учебнике какая тема этого урока у нас обозначена?

– Основное предприятие нашего района, – подсказала Митрофанова.

– В скобочках – поселка, деревни, – добавил Старков.

– А какое основное предприятие нашего района, поселка, деревни?

– Ликероводочный! – крикнули двоечники Безматерных и Безденежных и заржали.

– Судоремонтный завод, – сказала Маша Большакова.

– Вот мы и пойдем сейчас на экскурсию смотреть затон.

Красная профессура взвыла от восторга.

– А можно сумки с собою взять? – спросили девочки. – У нас этот урок последний, мы потом сразу домой пойдем!

– Можно, – согласился Служкин, – но дайте мне слово...

– Даем, даем! – орала красная профессура.

– ...дайте мне слово, что не будете разбегаться и будете внимательно слушать то, что я расскажу про судоходство на Каме.

После звонка, стоя на крыльце, Служкин пересчитал девятиклассников, толпившихся у ворот школы, как кони перед заездом, по головам.

– Так, двое уже сбежали, – сказал он. – Зашибись. Пойдемте.

Гомонящей вереницей они перетекли Новые Речники, перелесок, шоссе, Грачевник, Старые Речники и вышли на берег затона. День выдался хмурый – последний день февраля, последний день зимы. Снег вокруг громоздился Гималаями, а над ними тускло блестели окна вторых этажей черных, бревенчатых бараков. Их огромные ватные крыши угрожающе насупились, свесив по углам кинжалы сосулук.

– Куда теперь? – жизнерадостно спросила красная профессура.

– Вон к той скамейке. – Служкин указал сигаретой.

Профессура рванула к скамейке, бросив бессмертный школьный клич: «Кто последний – тот дурак!» Но рядом со скамейкой, оказывается, начиналась хорошо укатанная горка, вокруг которой валялись куски

фанеры и оргалита. Когда Служкин дошагал до скамейки, кое-кто из пацанов уже укатился с кручи, а остальные ловили визжащих девчонок и тоже спускали их вниз. Люська Митрофанова, хлюпая носом, собирала втоптаные в снег тетрадки и учебники из своего пакета. Служкин гневно внедрился в суету возле горки.

– Э-эй! – заорал он. – Ну-ка, все ко мне! Веселиться потом будем!

Но на Служкина никто не обратил внимания, как на шумящее под ветром дерево. Пацаны ржали, девчонки вопили ему:

– Виктор Сергеич, скажите им, чтоб не толкались, а-а-а!...

– Живо поднимайтесь! Всем по прогулу влеплю! – грозил Служкин.

На него налетела хохочущая Маша Большакова и укрылась за ним от Старкова, который неся по пятам. Старков метнулся мимо правого кармана Служкина – Маша вынырнула из-под левого локтя. Старков побежал вдоль живота – Маша спряталась за капюшоном. Несколько обалдевший Служкин наконец ухватил Старкова за шиворот.

– А урок?! – яростно спросил он.

– Блин, точно! – спохватился Старков. – Пойду наших позову!...

Через секунду на спине двоечника Безматерных он уже летел с горки. Служкин беспомощно обернулся к Маше.

– Что ж это такое? – спросил он. – А как же судоходство на Каме?

Раскрасневшаяся Маша, улыбаясь, виновато пожала плечами.

Служкин обескураженно развернулся, поплелся к скамейке, сел, закурил и стал смотреть на затон. И опять тесно составленные в затоне корабли напомнили ему город. Служкин смотрел на надменные, аристократические дворцы лайнеров, на спальные кварталы однотипных пассажирских теплоходов, на схожие с длинными заводскими цехами туши самоходок-сухогрузов и барж, на вокзалы дебаркадеров и брандвахт, на трущобы мелких катеров, на новостройки земснарядов, на башни буксиров-толкачей по окраинам, на ухоженные пригороды «метеоров» и «ракет». Мачты вздымались как антенны, как фонарные столбы, а такелаж был словно троллейбусные провода.

Рядом со Служкиным на скамейку присела Маша.

– А что, Виктор Сергеевич, – неуверенно спросила она, – вам очень надо рассказывать про это судоходство?

Служкин, не глядя на нее, пожал плечами.

– Ну, расскажите мне, – вздохнув, согласилась Маша.

– Урок для тебя одной? – удивился Служкин. – Ладно уж... Иди летай со Старковым. Я переживу.

– Расскажите, – повторила Маша и, улыбаясь, поглядела ему в глаза. –

Я же вижу, как вам самому хочется...

– Ну что ж... – Служкин недоверчиво хмыкнул, откинулся назад и сладко потянулся. – Ладно, слушай...

И он начал рассказывать, весело поглядывая на Машу, а Маша слушала, задумчиво улыбаясь, и смотрела на затон, в котором начиналась весна. Здесь уже пожелтел лед вдоль берега, и сквозь него проступила вода, а между кораблей грозно потемнели тракторные дороги, наезженные за зиму. С крыш теплоходов экипажи большими фанерными лопатами сбрасывали снег, очищая квадраты небесно-синей краски. Под кормой самоходок чернели вырубленные пешнями проруби для винтов. Трюмы барж вдруг ярко освещались электросваркой. На толкачах звонко скалывали наледь с заданных буферов. И все корабли были увешаны гирляндами сосулек, выросших в недавнюю оттепель.

Служкин увлекся своим рассказом, раскраснелся, расстегнул пуховик, стал прутиком чертить на снегу схемы. Маша слушала его как-то виновато и добросовестно рассматривала кривые чертежи на сугробе. Красная профессура веселилась у горки, не замечая служкинских дерзаний, и когда Служкин иссяк, весело закричала:

– Виктор Сергеевич, а можно домой идти? Время уже!...

Маша сидела задумчивая, молчаливая. Служкин тоже помолчал, искося изучая свою снеговую графику, потом встал и начал пинать сугроб, хороня ее.

– Идти-то можно или нет?... – не унималась профессура.

Служкин двинулся к девятиклассникам, распахнул толчею у горки, вынул из рук заснеженного двоечника Безматерных фанерку.

– В детстве, – весело сказал он, – мы называли это – «кардонка». Вы весь урок мочало чесали, а кататься на кардонках так и не научились. Теперь смотрите: я показываю вам высший пилотаж. Одно выступление, и только в нашем цирке!

– О-о!... – восхищенно застонал девятый «А». – Геогр... Виктор Сергеевич пилотаж показывает!...

Служкин отошел назад, разбежался и прыгнул, прижав кардонку к животу. Грянувшись на лед, он растопырил руки и ноги, как «кукурузник», и с криком: «Всем двойки за уро-о!...» – исчез внизу в туче снежной пыли.

Присугробившись, Служкин с трудом поднялся на ноги, оглянулся и увидел, как наверху одна за другой исчезают спины уходящих домой девятиклассников. Служкин начал обстоятельно отряхиваться. Кромка берега опустела. И вдруг сверху донесся крик:

– Виктор Сергеевич, вы перчатки забыли!...

Над обрывом стояла Маша и махала над головой его перчатками.

– Маша, не уходи! – вдруг закричал Служкин.

Маша опустила перчатки.

– Не уходи! – снова крикнул Служкин.

– Я жду вас, Виктор Сергеевич, – просто ответила Маша.

– Маша, давай прогуляемся! – орал Служкин. – Как будто у нас свидание!... Я тебе сосну на цыпочках покажу!...

– Давайте, – засмеялась Маша. – Поднимайтесь.

Но Служкин неожиданно развернулся и, разгребая руками сугробы, двинулся к ледяному полю затона. Пропахав между старым дощатым пирсом и ржавой кормой полузатопленной баржи, Служкин выбрался на свободное пространство. Волоча ноги, он побрел прочь от берега по застругам. И с кручи Маше было видно, как дорожка его взрытых следов, ломаясь, складывается на плоскости затона в огромные буквищи: «МАША».

Потом Служкин, задыхаясь, поднялся наверх, подал Маше руку, и они пошагали по широкой тропинке, по самой верхотуре, и рядом, внизу и дальше вширь – до свинцовых полос у горизонта – разлеталась и гудела нереально-просторная равнина реки. Тонкие вертикали сосен вдали особенно остро давали почувствовать чудовищный объем пространства, по окрестности которого тянулась тропа.

– Смотри, – сказал Служкин. – Практической надобности в этой тропе нет, а люди все равно ходят. Почему?

Маша молчала, не отвечая.

– Виктор Сергеевич, – наконец спросила она, – а откуда вы знаете все это про пароходы, чего мне рассказывали?

– Как тебе объяснить? – Служкин усмехнулся и пожал плечами. – Мы вроде бы в одном районе живем и как будто бы в разных мирах... Здесь у меня прошло детство. Это для вас – тех, кто приехал жить в новостройки, – «Речники» пустой звук, затон вроде заводского склада, адомишки эти – бараки. Для нас же всем этим мир начинался, а продолжался он – Камой... И поэтому Кама, затон – для меня словно бы символ чего-то... Живем мы посреди континента, а здесь вдруг ощущаешь себя на самом краю земли, словно на каком-нибудь мысе Доброй Надежды... Конечно, в детстве мы ничего этого не понимали, но ведь иначе и не считали бы Каму главной улицей жизни. И в нашей жизни все было связано с этой рекой, как в вашей жизни – с автобусной остановкой... Я не обидно говорю?

Маша грустно улыбнулась и промолчала. Они медленно шли мимо косых заборов, поленниц, сараев, зарослей вербы, старых купеческих дач

под высокими корабельными соснами.

– И вот с детства у меня к рекам такое отношение, какое, наверное, раньше бывало к иконам. В природе, мне кажется, всюду разлито чувство, но только в реках содержится мысль... Ты сама не ощущаешь этого, Маш?

– Я мало видела рек, – ответила Маша. – Здесь мы живем только два года, а раньше жили в городе, где никакой реки не было. Мама с папой каждое лето возили меня на море... Вот вы говорили про реки, и я вспомнила, что мне как-то странно было видеть море – столько воды, и никуда не течет...

Служкин долго молчал.

– Одна из самых любимых моих рек – река Ледяная на севере, – рассказал он. – Весной я туда в поход собираюсь с пацанами из девятого «бэ». Слышала об этом?

– Рассказывали, – кивнула Маша.

– Хочется мне, чтобы еще кто-нибудь почувствовал это – смысл реки... «Бэшники» так душу мне разбередили своими сборами, что у меня про Ледяную даже стих сам собою сочинился. Хочешь, прочитаю?

– Конечно.

– Раньше по Ледяной шел сплав на барках, везли с горных заводов всякую продукцию... И вот этот стих – как бы песня сплавщиков...

– Да вы не объясняйте, вы читайте, я пойму...

Служкин глубоко вздохнул, огляделся по сторонам и начал:

Дальний путь. Серый дождь над росстанью.  
Как-нибудь беды перемелются.  
Ледяной створами и верстами  
Успокой душу мою грешницу.  
Здесь Ермак с Каменного Пояса  
Вел ватаг удалую вольницу.  
Будет прок – Господу помолимся.  
Эй, браток, ты возьми с собою нас.  
Черный плес. Черти закемарили.  
Вешних слез белые промоины  
На бойцах, что встают из тальника,  
Подлецов кровушкой напоены.  
Плыли здесь струги да коломенки.  
Старый бес тешил душу чертову.  
Что же вы, судьи да законники,  
Нас, живых, записали в мертвые?

О скалу бились барки вдребезги.  
Шли ко дну, не расставшись с веслами.  
Но, сбежав из постылой крепости,  
Вновь на сплав мы выходим веснами.  
Под веслом омуты качаются.  
Понесло – да братва все выдюжит.  
Ничего в мире не кончается.  
Проживем: вымочит – так высушит.  
Ветхий храм на угоре ветреном...  
Рванный шрам на валунной пристани...  
И погост небо предрассветное  
Палых звезд осыпает искрами.  
В города уезжать не хочется.  
Навсегда распрощаться – просто ли?  
Нам с тобой дарят одиночество  
Ледяной голубые росстани.

Маша задумчиво глядела себе под ноги.  
– Что такое – росстани? – наконец спросила она.  
– Ну, перекрестки, распутья... Там, где дороги расстаются.  
– Я не знала, что вы и серьезные стихи пишете.  
– Я не пишу, Машенька. Я сочиняю. Изредка.  
– Почему же не пишете? – удивилась Маша.  
– Ну-у... – Служкин замялся. – Мне кажется, писать – это грех.  
Писательство – греховное занятие. Доверишь листу – не донесешь Христу.  
Поэтому какой бы великой ни была литература, она всегда только учила, но  
никогда не воспитывала. В отличие от жизни. Можешь преподнести эту  
мысль Розе Борисовне.

– А при чем тут она? – словно бы даже обиделась Маша.  
– Как при чем? Она же у вас литературу ведет.  
– А-а...

Служкин и Маша подошли к старой сосне у самого обрыва.  
– А вот теперь посмотри, – велел Служкин, указывая пальцем.  
Вешние воды, дожди и ветер вынесли почву из-под сосны, и она  
стояла, приподнявшись на мощных, узловатых корнях. Одни корни  
вертикально ввинчивались в землю, а другие, извиваясь, как змеиные  
волосы Горгоны, веером торчали в пустоте.

– Ух ты! – ахнула Маша, присаживаясь на корточки, чтобы разглядеть

получше. – Это и есть ваша сосна на цыпочках? А я столько раз была там, внизу, на пляже, и никогда не замечала!...

Служкин подошел к сосне и похлопал ее по стволу.

– Давай обойдем ее с той стороны? – предложил он.

Маша поднялась, подошла к нему и заглянула вниз.

– А не опасно? – наивно спросила она.

– Смертельно опасно, – ответил Служкин. – Но ты делай, как я.

Он обнял сосну, прижался к ней грудью и животом и по корням засеменял вокруг ствола. Маша засмеялась, тоже обняла ствол и смело стала переступать по корням вслед за Служкиным, глядя в обрыв через плечо.

Служкин остановился на полпути, и Маша, дойдя до него, тоже замерла. Они стояли над пропастью, Служкин обнимал сосновый ствол, и Маша обнимала сосновый ствол. В тишине было слышно, как сосна чуть поскрипывает, и высоко над головами плавно покачивались темно-зеленые, ветхие лапы кроны.

Маша упрямо смотрела куда-то вниз, куда-то вдаль по ледяной Каме. На висках ее и на розовых от мороза скулах проступили яблочно-бледные, нервные пятна.

– Виктор Сергеевич, – негромко сказала Маша, – мы с вами упадем...

## Последние холода

Седьмого марта в детском садике устраивали утренник в честь Восьмого марта. Служкин пришел один – Надя не смогла.

Небольшой зал на втором этаже садика был уже заполнен бабками и мамами в шубах. Поскольку мест не хватало, воспитательница отправила Служкина, как единственного пришедшего на утренник папу, за скамейкой. Служкин приволок скамейку – длинную, как пожарная лестница, – и поставил ее так, чтобы отсечь ею зрительскую часть зала. Он первым уселся на эту скамейку и оглянулся, разыскивая взглядом Лену Анфимову. Лена стояла у стенки среди тех, кому не досталось места. Служкин махнул ей рукой. Здороваясь со знакомыми, Лена пробралась через плотно заставленные ряды и села рядом со Служкиным.

– Привет, – сказал Служкин. – С праздником тебя. И кстати, с прошедшим днем рождения.

– Ты даже помнишь? – улыбнулась польщенная Лена.

– Конечно, у меня отличная память, – похвастался Служкин. – К тому же все записано.

– Как у тебя дела? – спросила Лена, спуская на плечи шаль.

– Да так себе. Как обычно. Горе со щами, счастье с прыщами.

– Ты уж расскажи, – засмеялась Лена.

– Рассказывать долго, особенно если учесть, что нечего. Вроде ерунда одна, а вроде и лопатой не перекидаешь. Ногу вот сломал.

– Поэтому тебя долго не было видно, да? Я хотела у Нади спросить, да постеснялась, больно она у тебя строгая...

– Дорогие наши мамы! – произнесла воспитательница, выгоняя в зал табунок детишек и выстраивая их. – И дорогой папа, – добавила она, посмотрев на Служкина.

Женщины в зале дружно засмеялись.

– Это мой папа, Витя! – крикнула Тата.

– Сегодня ваши дети приготовили вам выступление и подарки!

– Й-и!... – за пианино взвизгнула, как лошадь, музруководительница так, что Служкин вздрогнул, и ударила по клавишам.

Детишки и воспитательница нестройно запели. Точнее, сперва запела воспитательница, потом начали неуверенно подключаться дети. Мамы, растрогавшись, притихли, только в углу какая-то бабка бубнила: «Раньше молоко было двадцать семь копеек, булка белая – восемнадцать, булка

черная – четырнадцать...»

Утренник начался. Дети хором старательно читали стихи, громче всех с выражением орала воспитательница. Потом стихи стали читать поодиночке: кто звонко тараторил, кто невразумительно мычал. Воспитательница шепотом на весь зал подсказывала слова забывчивым. Андрюша рассказал свое четверостишие глядя в пол, почти беззвучно. Лена виновато пожаловалась Служкину:

– Он дома хорошо читал, а на людях стесняется...

Тата тоже едва слышно тоненько прочла:

Весенний праздник радостный пришел сегодня к нам,  
И ярко светит солнышко для наших добрых мам.

В стихах также упоминались «весенние деньки», «звонкая капель» и прочее, что выдавало детсадовскую самопальность этих опусов.

– Значит, Витя, ты не знаешь про двенадцатое число? – тихо спросила Лена.

– А что было двенадцатого? Драка или революция?

– Ирида Антоновна умерла.

– Чекушка?...

Служкин долго молчал, глядя, как смешно танцуют дети под барабанные аккорды изношенного пианино – парами, с приседаниями, оперев руки в бока.

– Нет, я не знал, – сказал Служкин. – Я вообще ее после школы не видел... Чем она занималась на пенсии?...

– Летом на даче копалась, на рынке рассаду продавала.

– Ну и ну... – Служкин покачал головой. – А я к ней даже в гости не ходил... Слышал, что наши собирались, а не пошел... Виноват я перед ней...

– Да все мы виноваты, – заметила Лена. – Чего уж там...

...Дверь открылась, и разговоры оборвались, точно выключили магнитофон. Вошла Чекушка. Лицо у нее было в красных пятнах. Ничего не говоря, она села за стол. Класс замер, ожидая худшего.

– Ребята, – сказала Чекушка, обводя парты блестящими глазами. – Вчера умер Леонид Ильич Брежнев.

В груди у Витьки словно что-то бахнуло. Скамейка поплыла из-под зада. И сразу зашумела кровь, заколотилось сердце. Целую минуту, не

поддерживаемая ничем, в классе стояла тишина.

Чекушка достала платок и кончиком прикоснулась к уголку глаза. Вздых прошел по рядам.

– Уроков не будет, – тихо сказала Чекушка. – В стране объявлен трехдневный траур. Тихонечко собирайте портфели и идите домой. В одиннадцать будет митинг. Приходите в парадной форме.

Никто не пошевелился. Только еще через минуту глуховатый Сметанин шепотом спросил у своей соседки Ларисы Самойловой, что стряслось, и напряжение разрядилось. Класс защелкал замками портфелей, забренчал пеналами, захлопал учебниками.

– Мальчики, кто сознательный, – попросила Чекушка. – Оставайтесь помочь убрать актовый зал. А Лену Анфимову ждут в совете дружины.

С болтающимся портфелем в руке Витька в числе последних вышел в коридор. Из всех классов к раздевалкам валили школьники. Витька встал к окну и молча глядел, как старшеклассники и младшеклассники хмуро и одинаково смущенно проходят вдоль портретов правительства на стене. К самому первому, пододвинув стремянку, с молотком и черной ленточкой влез физрук Дроздов. В губах он держал обойные гвоздики. Около учительской тесной группой стояли учителя с журналами и сумками.

И тут Витьке стало страшно. Тут он нутром почувствовал, как черная пустота, разъедающая, растекается над страной и все зло, что раньше было крепко сковано и связано, освободилось и теперь только выжидает.

Отправляться домой ему не хотелось. Неуютно было дома одному с такой тревогой в душе. Минут десять он сидел на подоконнике, болтая ногами и размышляя о жизни. Потом он увидел, что по пустому коридору идет Чекушка, и спрыгнул, так как сидеть на подоконниках не разрешалось.

Чекушка отперла дверь кабинета, увидела Витьку и позвала:

– Витя, подойди сюда.

Витька взял портфель и поплелся к ней.

– Зайди, – попросила она.

Витька вошел в кабинет. Чекушка закрыла дверь, поставила свою сумку на стол, поправила шаль и присела на краешек парты. При неофициальных разговорах она всегда садилась на парту.

– Почему домой не идешь? – поинтересовалась она. – Родители опять в командировке?

– Ну, – нехотя подтвердил Витька.

– Да-а... – вздохнула Чекушка. – Самые трудные дни, когда все люди должны быть вместе, ты остался без самых близких людей... Ну, ничего, ведь друзья, наверное, помогают?

– Ну, – неопределенно согласился Витька.

Чекушка отвернулась к окну.

– Смотри, даже погода какая... Все-таки не простой человек умер. А на седьмое ноября, помнишь, какое солнце было? Он тогда уже смертельно больной на трибуне стоял... – Она снова вздохнула. – Не хочется, Витя, чтобы и ваша юность начиналась с тяжелых времен...

Витька молчал.

– Мы с ребятами из «творческой группы» решили провести вечер памяти о Леониде Ильиче, – поделилась Чекушка, и Витьку кольнула ревность, что его из «творческой группы» выперли. – И знаешь, Витя... Мы подумали и решили, что нечего тебе без дела сидеть. – Чекушка улыбнулась, и Витька тоже покорно скривился. – Возвращайся-ка ты к нам. Сейчас не время для мелких ссор.

– Ну, – кивнул Витька.

Ему стало приятно, что его отсутствие ощущается так остро.

– У тебя ведь есть магнитофон? – спросила Чекушка.

– Есть.

– На вечере памяти должна звучать траурная музыка. Вот я взяла несколько пластинок у Павла Ивановича, а ты дома посмотри, послушай, что лучше, и перепиши на пленку какой-нибудь марш. Он и будет звучать на нашем вечере памяти, хорошо?

– Хорошо, – сказал Витька.

Разобравшись с Чекушкой, Витька пошел в спортзал. На время разнообразных митингов и линеек спортивный зал превращался в актовый. Сейчас он был еще пуст. Витька завернул в раздевалку. Там сидели, дожидаясь собрания, Клюкин, Тухметдинов, Стариков из «бэ»-класса, Забуга, отличник Сметанин, еще кто-то, кого Витька не разглядел. Но самое главное, тут был и лучший Витькин друг – Будкин: мелкий, кудрявый, глазастый, по-девчоночьи красивый и потому очень застенчивый.

– Витус, ты сегодня дома будешь? – спросил он.

– Буду, а что?

– Хочешь переписать «АББу»? Мне папа привез. И «Чингисхан» тоже.

– Тащи, – обрадованно согласился Витька.

– У нас, когда сказали, что Брежнев умер, бабы так выли на уроке, – сказал Стариков из «бэ»-класса.

– У нас тоже Чекушка редела, – сказал Клюкин.

– Брежнев бы все равно скоро умер, – произнес Забуга. – Он уже говорил-то фигово, как унитаз.

– За него все специальный артист говорил. Когда Брежнев умер, его

расстреляли.

– Ага, он умер-то вчера...

– Всем только сказали, что вчера, а на самом деле пять дней уже прошло.

– Ага, пять дней, он бы уже сгнил.

– Чего гнить-то, холодно...

– Он, как умер, из него сразу мумию сделали, как из Ленина, чтобы в Мавзолей положить. А потом передумали. Я «Голос Америки» слушал.

– А где его похоронят?

– Их всех хоронят около Кремлевской стены. Только Сталина сначала в Мавзолей положили.

– Интересно, куда все медали Брежнева денут?

– Жене оставят. Или в могилу бросят.

– Выкопать бы...

– Там как похоронят, через несколько дней все тайно достают и на секретном правительственном кладбище закапывают. Ночью там танки дежурят, чтобы никто не увидел. У меня брат рассказывал, он там служил.

– А у меня брата из колонии выпустят, если будет помилование, – сообщил Тухлый.

– Только при Брежневе порядок навели, все и развалится.

– Да какой порядок... У меня батя говорит, что все пьют.

– Брежнев-то сам ничего и не делал.

– Коммунисты делали.

– Много они тебе сделали?

– Да уж побольше твоего. Посмотрел бы я, как ты сейчас бы в Америке на заводе работал. Да ты бы там вообще негром родился.

– Сам ты негр, козел!...

– К Брежневу на похороны американский президент приезжает. К Ленину и то не приезжал.

– Подумаешь.

– Вот и подумаешь. К тебе-то на могилу никто не придет, только я приду – знаешь зачем?

Витька поднял шапку и кинул в спорщиков, чтобы не подрались.

– Чуханка! – крикнул он. – Если за пять секунд не передашь, вечная чухня будешь!

Дверь в раздевалку снова открылась, и вошел Вовка Колесников из десятого «А». Вместе с Леночкой Анфимовой он состоял в звене барабанчиков и сейчас был в парадной форме – в отутюженных брюках, в белой нейлоновой рубашке с комсомольским значком и в пионерском

галстук.

– Рота, подъем! – крикнул он. – Линейка сейчас начнется! Спички у кого есть?

Витька полез в карман и подал Колесникову коробок.

– Молодец, Витек, подсекаешь, – похвалил Колесников.

Классы многоголовым прямоугольником выстроились вдоль стен спортзала. На стенах торчали баскетбольные корзины и шведские лестницы. На окнах от сквозняка тихо позванивали решетки. В белом свете облачного дня блестел крашеный пол. На нем сплетались и расплетались изогнутые линии волейбольной разметки. Там, где на стене красовалась мишень для метания мячиков из разноцветных концентрических кругов, висел портрет Брежнева.

Витька, как всегда, пробился в первый ряд, где оказывались одни девочки. Под портрет Брежнева из пионерской комнаты уже принесли специальную скамейку с дырками. В дырки вставлялись знамена. Перед скамейкой стояли учителя и директриса Тамбова.

– Ребята!

Раньше директриса всегда говорила «Товарищи!». Но однажды на линейке в тишине после этого слова Витька слишком громко пробурчал: «Тамбовский волк тебе товарищ...» За это Витькиных родителей вызвали на педсовет. Тамбова в дальнейшем сменила «товарищей» на «ребят», а старшеклассники начали здороваться с Витькой.

– Советское правительство, – медленно говорила директриса, словно на диктанте, – коммунистическая партия и весь советский народ понесли тяжелую утрату. Вчера скончался... Леонид... Ильич... Брежнев... Траурный митинг объявляю открытым.

– К выносу знамени, – звонко отчеканила председатель совета дружины, она же старшая пионервожатая, Наташа Чернова, – пионерской организации! Борющейся за право носить имя Василия Ивановича Чапаева! Смирно! Равнение на знамя!

Гремел барабанный марш, и в зал внесли знамя. Расставив локти, перехватив полотнище, древко держал Колесников – теперь строгий и недоступный. Впереди и позади него, подняв руки в пионерском салюте, шагали Лена Анфимова и Люба Артемова. Руки их были в белых перчатках, ноги – в белых чулках, в волосах – белые банты, а через плечо – алые ленты. Все трое, они шагали в ногу, отбивая шаг. Витька смотрел, как приближается Леночка, как она тянет носок, как на ней разлетается короткая юбка, как сквозь рубашку просвечивает лифчик, как в отблеске тяжелого знаменного бархата лицо ее становится нежно-розовым и

красивым вдвойне.

Четко поворачиваясь, знаменная группа по периметру обошла зал и заняла, свое место.

– Вольно! – скомандовала старшая пионервожатая. – В знак памяти!... О Леониде Ильиче!... Брежневе!... Объявляется!... Минута!... Молчания!... Смирно!... Флаги склонить!...

Барабаны вновь затрещали. Маленькие флаги каждого класса поехали вниз, распускаясь до самого пола. Некоторое время длилась тишина.

– Вольно, – сказала Чернова.

– Ребята, – снова выступила директриса. – Вся наша страна замерла от горя. Ушел из жизни выдающийся человек. Со всех сторон Советского Союза в Москву...

«Начинается...» – со скукой подумал Витька.

Домой после митинга он возвращался с Будкиным. На улице было хмуро, сумеречно от тяжелых туч над городом. То и дело из окон доносилась траурная музыка. Она же играла по трансляции на заводе, долетая до слуха неровными волнами.

– Не знаешь, во сколько по телику похороны? – спросил Витька.

– Не-а. Что, смотреть будешь?

Витька пожал плечами.

– Историческое событие ведь, – сказал он. – Даже президент американский приезжает...

– Интересно, надолго ли?... – вдруг задумался Будкин.

– Не знаю. А что?

– Так... Пока он здесь, они атомную войну-то не начнут... – тихо сказал Будкин.

Расставшись с Будкиным у подъезда, Витька поднялся к себе. Школьную форму он расстелил на родительской кровати – так он делал всегда, когда родители были в командировке.

На душе было очень тоскливо. За окном тянулся бесцветный день. Витька перебрал пластинки – нет, включить проигрыватель тоже не хотелось. По телевизору показывали симфонический концерт. По радио играла музыка.

Он пошел к книжному шкафу и остановился, уткнувшись лбом в стекло. Собрания сочинений он находил невероятно скучными. На прочих корешках он задерживался, но отвергал их один за другим. Наконец, отодвинув стекло, он достал книжку в блестящей обложке, лег на пол, положив ее перед собой, и стал читать. Книга называлась: «Л.И. Брежнев. Малая земля. Целина. Возрождение».

Витька читал ее до половины пятого, а к пяти собрался и пошел в школу.

В Чекушкином кабинете уже толпились одноклассники. Витька едва вошел, сразу же был подозван к учительскому столу и получил разнос за то, что еще не переписал на магнитофон траурные марши. Впрочем, скоро его досада отступила на второй план. Витька сел на заднюю парту – уже не изгой, но еще и не полноправный член «творческой группы», хотя какие там могут быть права, Витька не знал, – и репетиция началась. Витька молчал и наблюдал. Ему почему-то все стало необыкновенно интересно.

Чекушка громоздилась за соседней партой. Взмыленная «творческая группа» стояла у доски. Витька глядел на страдания своих одноклассников, но сочувствия не испытывал. Одноклассники читали тексты – кто еще по бумажке, кто уже наизусть, сбивались, краснели, повторяли фразы по нескольку раз с разными интонациями, сопели, отворачивались к окну, менялись местами, принимали независимые позы, упрямылись и злились. Чекушка тоже злилась: то молчала, внутренне кипя при виде такого надругательства над ее сценарием, то ругалась, покрываясь пятнами, блестя глазами и швыряя на стол искусанную ручку, то махала рукой и говорила – словно бы сама себе – что никуда не годится, а то успокаивалась и смотрела без замечаний.

Витька неожиданно почувствовал прилив симпатии к Чекушке. Она на глазах у всех творила, созидала новое, воплощала в жизнь свой талант, а материал у нее был необыкновенно неподатлив – Витька это отлично знал. В действиях Чекушки он вдруг ощутил правоту, а в реакции своих одноклассников – привычную лень, косность и глупость.

Витька размышлял обо всем этом, пока шел с репетиции домой. Но постепенно ноябрьский ветер и осенняя прохлада вынесли из его головы все умные мысли.

Дома Витька засел за магнитофон переписывать траурные марши. Это почему-то отняло довольно много времени. Витьке уже порядком наскучили заунывные завывания, и тут в гости пришел Будкин.

– Я, Витус, принес «АББу» и «Чингисхан», – сказал он, вешая на крючок куртку.

Витька обрадовался и вдвоем с Будкиным с новым рвением уселся за магнитофон. Пока перематывались кассеты, Будкин рассказывал, что его родители привезли ему из Москвы джинсы.

– Фиг ли вы чокнулись на этих джинсах? – неодобрительно пробурчал Витька.

– Джинсы-то – зыко, – неуверенно пояснил Будкин, виновато хлопая девчоночьими ресницами.

– И не зыко ни фига. Штаны и штаны.

– Это у нас штаны, а в Америке – джинсы, – вздохнул Будкин. – Я бы и наши штаны носил, если бы они нормальные были. А так – мама заставляет американские. Что я, родину продам, если их поношу?

– Обидно просто, – сказал Витька, которого не заставляли носить американские штаны. – Они нас покупают за эти тряпки, да и все...

– Не покупают ни фига, – упрямылся Будкин. – Вот если бы, Витус, меня, например, ЦРУ вербовало или шантажировало, так я лучше бы у нас в тюрьму сел, а не сдался бы, вот так.

Будкин, видно, огорчился за свои новые джинсы, а может, и за родину. Он молча досидел, пока Витька записал себе «Маны-маны», а потом ушел. Витьке стало неловко, что он задел друга, который все равно не был виноват в том, что мама купила ему вражескую одежду.

На следующий день Витька не успел проснуться, как вспомнил, что ему надо в школу, и причем к девяти. Усилием воли он вытолкнул себя из сна и схватил будильник – было без четверти одиннадцать.

С бешено стучащим сердцем он заметался по квартире, отыскивая вещи. Вещи обнаруживались совсем не там, где он их оставлял. Сунув в карман кассету с траурными маршами, Витька вылетел на лестницу, захлопнул дверь и скатился вниз.

Он проспал не только генеральную репетицию, но и всю уборку зала. При одной мысли о Чекушке душа его замирала и леденела. Он домчался до школы, наверное, ни разу не переведя дух.

Перед актовым залом, ожидая, толпился народ. Растролкав всех, Витька пробился к дверям. Едва он вошел, сразу увидел Чекушку, стоявшую рядом с директрисой Тамбовой. Рослая Чекушка возвышалась над залом, и, разговаривая, не сводила со входа блестящих глаз. Лицо ее было бесстрастно, но нервно румянилось. Чекушка моментально заметила Витьку. Секунду она поверх всех голов смотрела на него, и Витька едва не затлел. Но потом Чекушка отвернулась, словно больше не желала видеть такой гадости.

Витька знал, что еще через пять секунд Чекушка снова уставится на него и во взоре ее будет читаться, что ради нужного дела она согласна на общение даже с дерьмом, подобным Служкину, и чувствам своим воли не даст. И пока длились эти пять секунд форы, Витька успел распахнуть кого-то из сидевших перед ним на скамейках, втиснулся между ними и утонул в ребячьем море, скрывшись из поля зрения Чекушки. Пригнувшись, он

достал кассету, сунул ее кому-то впереди и сказал:

– Передай Чекушке, пусть ставит, как стоит, вторая сторона.

Кассета пошла по рядам. Витька слышал, как повторяют его слова, и наконец увидел, как кассету протягивают в руки Чекушке.

Тут Тамбова вышла на сцену и сказала:

– Ребята! Тихо! Тихо. Сейчас литературный клуб «Бригантина» восьмого «а» класса покажет нам свою композицию, посвященную памяти безвременно ушедшего от нас Леонида Ильича Брежнева. Везде тишина. Просим на сцену!...

Она зааплодировала, и весь зал захлопал.

Витька расслабился. Он уже знал, что будет дальше, и это его не особенно интересовало. Размышляя, чего бы соврать Чекушке про свое опоздание, он глядел на Леночку Анфимову и мельком следил за ходом действия.

Вот обращение к зрителям, вот стихотворение, начинают про биографию Брежнева, снова стихи, опять биография, высказывания сотрудников, зачитывают страницы книги, биография... Время шло, напряжение в зале рассеялось. На задних рядах зашептались, директриса наклонила голову к соседке. Одна Чекушка у сцены сидела за столиком с магнитофоном совершенно неподвижно. Она наблюдала за выступающими, одновременно контролируя и являя собою пример внимания. Витька совершенно отвлекся, и его одернули, когда Леночка Анфимова и Петров начали говорить:

– Смерть – закономерный итог жизни человека, который всю энергию отдал делу народа.

– Но, кроме смерти, еще и благодарность тех, в чьих сердцах он остался жить навсегда.

– Тех, кто продолжает его дело.

– Нас с вами, ребята.

– Почтим память Леонида Ильича Брежнева минутой молчания.

Зал зашумел, вставая, и затих. Чекушка нажала кнопку магнитофона, подключенного к большим динамикам. И первая нота еще только вылетела, и Чекушка еще только оправляла на заду платье, собираясь опустить руки по швам, как Витька все понял. Вместо траурного марша, с самой середины, с самого крамольного места динамики вынесли на весь зал свист, звон, ритм и «маны-маны» шведского ансамбля «АББА».

Витька перепрыгнул скамейку и побежал к выходу. Спросонья он перепутал кассеты, но раскаиваться было поздно.

Утренник заканчивался. Воспитательница снова построила детишек.

– А сейчас, дорогие мамы, – объявила она, – ребята подарят вам подарки, которые они сами смастерили!

Другая воспитательница быстро раздала детям аппликации, читая фамилии авторов на обратной стороне картонок.

– Ну, чего же вы стоите? – подзадорила она детишек. – Бегите, дарите мамам...

Дети сорвались с места и кинулись через зал. Мамы на задних рядах привстали, протягивая руки над плечами сидевших. Тата тоже помчалась к папе, но в толпе ее толкнули, и она шлепнулась на пол. Чья-то нога наступила на ее аппликацию. Тата торопливо подняла разорванную картонку и заревела.

Служкин подбежал к ней, обнял и унес на скамейку.

– По... порвали!... – плакала Тата, утыкаясь носом ему в грудь.

– Ну что ты, что ты... – бормотал Служкин, поглаживая ее по спинке и расправляя смятый картон. – Ничего страшного... Мама и такому подарку очень обрадуется, честное слово!... Ну, хочешь, мы с тобой сегодня новую аппликацию склеим?...

Банты щекотали напряженные скулы Служкина.

– Товарищи мамы! – крикнула воспитательница в гомонящий зал. – Ведите детей в группу, сейчас у них будет обед и тихий час!

В раздевалке своей группы Тата – с опухшими глазами и красным носом – стащила с себя праздничное платьишко и сказала:

– Папа, пусть за мной сегодня Надя придет...

– Мы вместе придем, – пообещал Служкин. – И на санках домой поедем.

Отправив Тату обедать, Служкин вышел на крылечко и закурил, поджидая Лену. Лена появилась не скоро. Она вела Андрюшу.

– Проводить вас? – спросил Служкин.

Втроем они медленно пошли к воротам садика.

– А у Чекасиной на похоронах наши были? – спросил Служкин.

– Были, почти все. Поживают нормально... Девчонки наши почти все замужем, кроме Наташи и Алки, у всех дети, у кого даже двое. Про мальчишек не знаю: в перчатках были, не видно, кто с кольцами, а спрашивать я постеснялась. Знаю, Васильев и Соколов женились, а Петров даже развестись успел. Дергаченко в аспирантуре, Васька военный, Сережка в милиции. Галимуллин – коммерсант, свои киоски имеет, огромный венок привез, машины достал...

– А Фундамент правда на Лебедевой женился?

- Правда. А Лисовский на Коньковой из «бэ»-класса.
- А Ветка была?
- Нет, ее тоже не было.
- То-то она мне ничего не говорила, – заметил Служкин.

В конце февраля прошла оттепель, но сейчас вновь навалились морозы и непогода. На улице мела метель. В небе, в белом дыму шевелилось бледно-желтое солнце. Было слышно, как крупка хлещет по стеклам окон. Вдали, изгибаясь, вдоль витрин магазина скользили снежные столбы.

- А ты сама как? – наконец поинтересовался Служкин.

– Трудно, Витя, – просто ответила Лена. – Оля у меня заболела. Свекор что-то с Нового года остановиться не может, все поддатый через день... Мужу третий месяц зарплату не платят, обещают вообще отправить в бессрочный отпуск без содержания. Он даже на день рождения мне ничего не подарил – денег нет. Только на зарплату свекрови и живем... Андрюшу вот забрала, потому что сегодня в садике детям подарки выдавать будут, а я за него не заплатила. Вот и увожу, чтобы не видел, не ревел...

Служкин глубоко затягивался сигаретой, молчал.

– А я, Витя, опять беременная, – вдруг с веселостью отчаянья добавила Лена. – Мы с мужем все равно решили рожать третьего. Мне еще мальчика хочется...

Служкин все равно молчал, медленно и широко шагая рядом с Леной. Лена, видно, смутилась своей откровенности и неумело перевела разговор на другую тему:

– Весны очень хочется, надоели эти морозы... В оттепель как-то сразу расслабились, а тут опять стужа... Ладно уж, немного до весны остается, это, наверное, последние холода, и зима пройдет...

- Воистину пройдет, – сказал Служкин.

## Хочешь мира – не готовься к войне

У Служкина был пустой урок, и он проверял листочки с самостоятельной «вэ»-класса. Служкину срочно требовались оценки, чтобы выставить четвертные, поэтому он не углублялся в сущность предмета, а действовал более экономично – по вдохновению. Он смотрел фамилию и, не читая, сразу ставил оценку. И так ясно, кто чего заслуживает. Ергин? Два. Градусов? Два. Баскакова? М-м... ладно, не жалко, четыре. Суслов? Два. Даже с минусом.

Закончив с листочками, Служкин раскрыл створку окна и закурил.

Внизу находился замкнутый забором дворик между стеной школы, корпусом спортзала и теплым переходом. Дворик был загроможден поломанными партами. Сюда на переменах бегали курить старшеклассники.

Мат и галдеж привлекли внимание Служкина, и он высунулся из окна. Оказывается, во дворике шла разборка. Посреди толпы школьников стоял маленький, взъерошенный Овечкин. За лацкан пиджака его держал тощий и высокий Цыря – Цыренщиков, всем известная местная шпана, быстро перерастающая в уголовника. Цырю подзуживал толстый олигофрен Бизя-Колобок, его лучший друг. Вокруг толпились наиболее прославленные двоечники восьмых-девятых классов. Рядом Безматерных и Безденежных держали под руки тоже красного и взъерошенного Чебыкина, не подпуская его к Цыре.

Цыря, что-то объяснив, вдруг ткнул Овечкина кулаком в скулу. Овечкин отлетел и сел в снег. Цыря нагнулся, поднял его, подтащил к себе и снова дал ему по скуле. Овечкин опять отлетел. Чебыкин, вырываясь, дергался между безматерныхом и безденежныхом.

Служкин выкинул окурок и решительно забросил ногу на подоконник. Из окна он ловко спрыгнул на заснеженную крышу теплого перехода, а с нее – во дворик. Однако ноги его скользнули по валявшейся столешнице сломанной парты, и он шлепнулся задом на какие-то железяки. Кто-то из толпы вокруг Цыри оглянулся, но Служкин уже вскочил, раздвинул двоечников, взял Цырю за плечо и развернул.

– Не п-понял!... – изумился Цыря.

– Гуманитарная помощь, – пояснил Служкин и хлопнул его по зубам. – Теперь понял, Мцыря?

– Че за фраер?! – заверещал Бизя-Колобок, подсакивая к Служкину, и

Служкин коротким толчком кувыркнул его в сугроб.

Цыря прикрыл ладонью разбитые губы. Лицо его сделалось зверским. Служкин тем временем повернулся и отвесил Безденежных такой пинок, от которого тот, выпятив пузо, пробежал несколько шагов. Безматерных благоразумно отцепился от Чебыкина сам.

– Ты кто такой воще?... – угрюмо спросил Цыря.

– Это географ... из школы... – прошелестели двоечники.

– Чего встали, козлы?! – вопил Бизя-Колобок. – Он тут один!...

Служкин сильно стукнул ладонью в лоб, и Бизя снова улетел в сугроб, едва не выронив глаза.

– Ну-ка дернули все отсюда, ублюдки! – прорычал Служкин на двоечников и топнул ногой.

Двоечники начали тихо утекать в щель между забором и школой.

– Цыря, вмочи ему! – грозно орал из сугроба Бизя-Колобок.

Цыря, оставшись в одиночестве, хмуро поглядел на Служкина, сплюнул и пошел к забору. Уже сидя на заборе верхом, он пообещал:

– Ладно, Овца, я тебя еще выловлю.

Служкин шагнул к барахтающемуся в сугробе Бизе и вышиб его пинком. Матерясь, Колобок перекатился через забор вслед за Цырей.

Чебыкин поправлял пиджак, а Овечкин прикладывал к скуле снежок.

– Фонарь будет, наверное, – мрачно сообщил он.

– Вы нас из окна увидали, Виктор Сергеевич? – спросил Чебыкин.

– Нет, мне из министерства телеграммой сообщили.

– У вас, Виктор Сергеевич, брюки порвались, – сказал Овечкин, не отрывая снежка от щеки.

Служкин вздрогнул, как ужаленный, и стремительно заглянул через плечо на собственный зад. На зад, как хвост, висел клин материи, выдранный, когда Служкин, поскользнувшись, упал задом на железяки. В прорехе предательски белела подкладка.

– У меня же еще в «а» урок! – завыл Служкин, пытаясь приставить клин на место. – Как же я его проведу в рваных штанах?!

– Попросите у Розы Борисовны отменить урок, – посоветовал Чебыкин, сочувственно глядя на Служкина, который прикрывал зад рукой.

– И что я ей скажу? Что портки распластал? Да она на меня в суд подаст за оскорбление личности!

– Тогда придется сидеть весь урок, – заметил Овечкин.

– С вами посидишь... – проныл Служкин и бессильно начал материться куда круче, чем это делал Бизя-Колобок. – Да и как я в кабинет попаду? С голым задом через всю школу просверкаю?

– В окно надо лезть, – сделал вывод Овечкин. Служкин задрал голову, рассматривая свое окно.

– С крыши перехода мне одному туда не забраться...

– Давайте, Виктор Сергеевич, я вам из окна руку подам, а вы Овчину на спину встанете, – предложил Чебыкин.

– Другого пути нет, – подумав, согласился Служкин.

Чебыкин с ключом от кабинета убежал, а Служкин с Овечиным полезли на крышу теплого перехода. Когда они забрались, из окна высунулась круглая, веснушчатая физиономия Чебыкина.

– Атас, Виктор Сергеевич! – вдруг крикнул Чебыкин. – Вон там Роза Борисовна идет!

Служкин оглянулся и увидел на школьной дорожке Угрозу.

И тут грянул звонок с урока.

– Блин, давайте скорее!... – завопил Служкин. – Чеба, руку!...

Овечкин уперся ладонями в стену. Служкин взлетел ему на плечи и рыбкой нырнул в окно, где в него вцепился Чебыкин. Вдвоем они с грохотом повалились на пол, уронив стул и учительский стол.

Служкин тотчас вскочил и выглянул из окна. Угроза, раскрыв рот, стояла посреди волейбольной площадки.

– Да... – откачнувшись, протянул Служкин. – Сделает она из меня сегодня банановое пюре, точно...

– А вы объясните ей все честно, – предложил Чебыкин.

– Наивный ты... Честным хорошо быть только потому, что верят, когда врешь.

Весь урок в девятом «А» Служкин сидел за своим столом как гвоздями приколотый. Для красной профессуры Служкин поспешно выдумал какую-то проверочную работу. На проверочной он мог сидеть, не вызывая подозрений. Однако посреди урока раздался стук в дверь.

– Старков, открой, – велел Служкин.

– Это вас, – выглянув, сообщил Старков.

– Скажи, я занят...

Но тут Старкова властно отодвинули с дороги, и в кабинет вошла Угроза Борисовна собственной персоной.

– Виктор Сергеевич, я вас прошу пройти ко мне прямо сейчас, – ледяным тоном произнесла она.

– Роза Борисовна, я сейчас провожу контрольную работу за четверть и не могу отлучиться, – ответил Служкин.

«Контрольная!... За четверть!» – изумленно ахнула профессура.

– И тем не менее я повторяю свою просьбу.

– А я повторяю, что сейчас не могу отлучиться, – в отчаянии отчеканил Служкин. – И прошу вас не мешать мне вести урок.

Девятый «А» изменился в лице.

Угроза покачнулась, но выстояла. Она развернулась, вышла и грохнула дверью. Профессура подпрыгнула за партами. Служкин успел заметить потрясенный взгляд Маши Большаковой и тотчас уткнулся в раскрытый классный журнал. Уши его были свекольного цвета.

До конца урока насмерть сраженная красная профессура не издала ни звука. После звонка девятиклассники тихо, как с похорон, вышли из кабинета. Служкин надел пуховик, прикрывающий позорную пробоину, и бежал с поля сражения домой, не заглянув к завучам и даже прошмыгнув мимо их двери на цыпочках.

На следующий день Роза Борисовна не ответила на служкинское «здрасьте». И на другой день тоже. А потом Служкин и сам не стал здороваться. Близилась каникулы, и можно было надеяться, что после них конфликт забудется сам собою. Оставалось только пережить итоговый педсовет за третью четверть, прогулять который было опаснее, чем убить Розу Борисовну.

Служкин явился на педсовет, старательно теряясь в толпе учителей, сел в сторонке на самое незаметное место. Итоги четверти подводили долго, с перебранками. И учителя, и Роза Борисовна распалились. Наконец речь дошла до учителей-предметников.

– География! – в последнюю очередь объявила Роза Борисовна и стала демонстративно долго разыскивать в папке служкинский отчет.

– Вызывает недоумение дифференциация оценок по географии у девятых классов, – сказала Угроза. – В «а»-классе почти у всех пятерки, в «бэ» – четверки, в «вэ» – тройки. Чем вы это объясните, Виктор Сергеевич? Конечно, эти классы мы составляли из сравнительно равных по силам учеников, но ведь не может быть, чтобы в «а» средний балл был четыре и семь, а в «вэ» – три и один!

– Что заработали, то и получили... – пробормотал Служкин.

Угроза сделала большую паузу, раздавливая его тишиной.

– Лично у меня, – начала она, – складывается впечатление, что дело тут не в знаниях учеников, а в личных пристрастиях учителя, то есть в личности самого Виктора Сергеевича. Насколько я знаю, педагогические приемы Виктора Сергеевича довольно далеки от традиционных. К песням, которые он исполнял на уроках в первой четверти... – тут смех прокатился по учителям, – в третьей добавляются еще и массовые прогулы, иницируемые учителем, катания с горок вместо экскурсий, в которых

Виктор Сергеевич участвует наравне с учениками, и многое другое. Сама я лично видела Виктора Сергеевича, вместе с учеником влезавшим с улицы в окно своего кабинета на втором этаже, а на мое замечание он в присутствии всего класса отреагировал с таким пренебрежением, которое граничит с хамством...

Угроза раскатывала Служкина в блин еще с четверть часа.

– Итак, Виктор Сергеевич, – закруглилась она, – четвертая четверть для вас становится решающей. В это время мы формируем педколлектив для работы в следующем году, и я не исключаю, что наш коллектив отнесется к вашей попытке занять в нем место не очень одобрительно. Впрочем, все зависит от вас.

Разгромом Служкина педсовет и закончился. Руины Служкина, дымясь, сидели за партой, когда все учителя начали с облегчением вставать и греметь стульями. Служкин не понимал глаз. Кира, проходя мимо него, помедлила и насмешливо сказала:

– Ну, ты да-ал...

Служкин помолчал, кивая головой, и согласился:

– Дал, да потом страдал.

– И это все твои комментарии?

– У париев нет комментариев.

## Окиян окаян

На каникулах Служкин сидел дома, и однажды заявила Ветка.

– Блин!... – еще в прихожей начала ругаться она, стаскивая сапоги. – Замерзла как собака в этом долбаном автобусе!... Дай, Витька, чаю горячего, а то околею!...

Служкин пошел ставить чайник, а Ветка кричала из прихожей:

– Уж апрель на подходе, Кама и то вскрылась, а холодрыга собачая! Когда же зима закончится? В лужу еще вляпалась до колен!...

Она прошлепала мокрыми носками на кухню, плюхнулась на табуретку и бесстыдно задрала ноги, приставив ступни к батарее.

– У вас еще греют, сволочи... – завистливо заметила она.

– Как поживаешь? – спросил Служкин.

– Да чего там!... – махнула рукой Ветка и с ходу принялась рассказывать про какого-то Коромыслова, который ей проходу не дает.

– Ты, старая дура, заколебала уже, – с досадой сказал Служкин. – Сама-то чего творишь? А еще на Колесникова наезжаешь...

– Кстати! – перескочила Ветка. – Мне тут девки знакомые описали ту бабу, с которой его видели. Ну вылитая твоя Рунева! Слушай, дай мне ее фотографию, чтобы девкам показать...

– Иди ты на фиг! – обозлился Служкин. – Еще я не участвовал в твоих дознаниях!...

– Что, все еще любишь ее? – живо спросила Ветка.

– Вижу редко, а думаю часто... – Служкин пожал плечами. – А что там Колесников говорит про Руневу?

– Говорит, что ты ее любишь и поэтому не стал бы с ней ничего иметь, потому что тебя уважает.

Служкин издал губами неприличный звук и начал разливать чай.

– Он сейчас-то уже не шляется по ночам, – рассказала Ветка. – Сразу после работы домой, как и раньше. – Она помолчала и неожиданно с чувством добавила: – Жаль, не успела вовремя его застукать, а то прямо во сне видела, как салатницу ему об башку разбиваю... Слушай, Витька, а может, ты и не любишь Сашеньку-то свою дурацкую?...

– Черта тут поймешь, Ветка. – Служкин закурил. – Вроде и люблю ее, а к ней не тянет. Тянет к другой девице, училке из моей школы, а жить все равно хотел бы с Надей. И живу с Надей, а ближе тебя нет никого... Никакой точки опоры в жизни, болтаюсь туда-сюда... Окиян окаян, где же

остров Буян? Мечусь в заколдованном круге, а порвать его нечем.

– Тебе нравится жить с Надей? – изумилась Ветка. – Ну не знала!... Или ты с диванчика обратно на кроватку переехал?

– Не переехал... Так разве в этом дело? У вас у всех об одном только мысли... Молитвы у попа о том, что ниже пупа...

– Ну, раз ты голодный, может, тогда подкрепимся, а? – Ветка хитро подмигнула. – На кровати. Или на диванчике.

– Надо было тебе на час раньше приходить, – хмуро ответил Служкин. – Сейчас уже Надя вернется... Кстати, Ветка, она на тебя окрысилась после моего дня рождения. Она думает, что я у тебя ночевал. Боюсь, хреново тебе будет, если она тебя здесь застанет...

– Ерунда, – отмахнулась Ветка. – Я ее сумею удержать.

Служкин посмотрел на нее недоверчиво.

– И все-таки она у тебя стерва, – напрямую заявила Ветка.

– Да нет... – поморщился Служкин. – Ты ее видишь только снаружи: в гостях или когда я плачусь тебе... А так она очень милая, ласковая, хозяйственная. Татку любит. Разве ж я женился бы на атомной бомбе? Мне с ней жить очень хорошо.

И тут в замке повернулся ключ.

– Вот и она, – сказал Служкин.

Первой в прихожую вбежала Тата и остановилась, увидев Ветку.

– Кажется, у нас гости? – спросила Надя, заглядывая на кухню.

– Привет! – весело сказала Ветка.

Надя не ответила, вернулась в прихожую и стала раздевать Тату.

– Сейчас посиди в комнате, – громко сказала она Тате, – а я только тетеньку выгоню, и мы позвоним бабушке.

Служкин поднял брови и приложил палец к губам, давая Ветке совет помолчать и не нарываться на скандал.

Тата послушно скрылась в комнате, а Надя вышла в кухню, сложила руки на груди и прислонилась спиной к холодильнику.

– Хорошо еще, что не в моей постели и не в моем халате, – сказала она. – Я ведь, кажется, говорила тебе, чтобы этой шлюхи ноги в моем доме не было!

– Кого? – тупо переспросила Ветка и открыла рот.

– Если у тебя зудит, так ты иди к ней домой и там с ней трахайся, – продолжала Надя, не замечая Ветки. – А мне тут такие посетители не нужны. Мало того, что незваный гость хуже татарина, так эта проститутка хуже незваного гостя. Здесь не публичный дом. Выбирайте для свиданий другие места. У нее самой квартира есть. Пусть мужа с ребенком куда

хочет деваает и развлекается с тобой, а я не собираюсь караулить вас на лестнице, да и вообще не хочу терпеть здесь ничего подобного! И минуты не желаю оставаться с ней под одной крышей! Пусть одевается и убирается отсюда сей же момент, и дорогу сюда пусть забудет! Передай ей это, если у тебя смелости хватает не только на то, чтобы тискаться с бабами тайком!

Надя оттолкнулась задом от холодильника и ушла в комнату.

Служкин многозначительно поглядел на обомлевшую Ветку.

– Ну, бли-ин... – приходя в себя, протянула Ветка и поскребла в кудрях. – Что, значит, мне идти?...

Служкин грустно кивнул. Ветка поднялась,правила юбку и пошла в прихожую. Служкин поплелся за ней.

– Ты уж меня не провожай, – напаяливая сапог, саркастически сказала Ветка. – Заходи, когда время будет. – Она надела плащ, покачала головой и искренне добавила напоследок: – Не погибай.

Весь вечер Надя со Служкиным не разговаривала. Когда Тату уложили спать, Надя мыла на кухне посуду. Служкин сел у стола и сказал:

– Ну чего ты в бутылку лезешь? На меня остервенилась, Ветку на все корки разделала...

– Я уже говорила тебе, – рявкнула Надя, – чтобы ты эту любовницу свою, сучку, не смел сюда тащить!

– Я Ветку не тащил сюда, – покорно начал оправдываться Служкин. – Она сама забежала по пути. И она не сучка, не шлюха. Просто балда, задним местом в царствии небесном. И не моя любовница.

– Ты можешь мне сказать, что не спал с ней? – напала Надя.

Служкин тяжело вздохнул.

– И еще смеет мне какие-то претензии высказывать!... Алкоголик, нищий, шут гороховый, да еще и бабник в придачу! Не будь Таты, я бы и секунды с тобой не жила! Нечего детей заводить, если не можешь дать им ничего хорошего!

– Ну ладно, – примирительно сказал Служкин. – Это все здесь ни при чем. Я только хотел сказать, что Ветку ты обидела зря.

– И не смей мне больше говорить об этой проститутке!...

– Да не проститутка она! Уж лучше бы я связался с проституткой! Они уже сняты мне по ночам на этом чертовом диванчике!... – вырвалось у Служкина.

– Сам того захотел! Чего захотел – того и добился! – Надя швырнула посуду, закрыла воду, села за стол и неумело закурила. – А Ветку ты защищаешь только потому, что в душе сам точно такой же, как она, – недаром одноклассники! Тебе бы только за бабами волочиться, а до

прочего и дела нет! Только ни одна баба на такого не позарится – одна я, дура, связалась! Ты и Будкина мне подсовываешь, чтобы я такой же была, как ты, и пикнуть не посмела!...

– Я тебе Будкина не подсовываю...

– А у меня с ним ничего и нету! – закричала Надя. – Я с ним не сплю, в гости к нему не таскаюсь, не целуюсь, на свиданья не бегаю!... И вообще, это не твое дело, понял?!

– Ну и зря, что нету! – не выдержав, вспылил и Служкин. – Зря! Жалей, что не бегала, не целовалась, не трахалась! Святой из тебя все равно не получится, потому что ты людей не любишь, а вся твоя порядочность только от ненависти ко мне! Одного-единственного Будкина сумела полюбить, да и того в жертву своей ненависти принесла! А Будкин сам к тебе не прибежит, потому что дурак – тоже не в свою душу глядит, а в чужие рты! А у меня все то, от чего ты отказалась, было – слышишь, Надя, было! И это лучшее, что у меня было с тех пор, как я переехал на этот проклятый диванчик!

## Вини – винями

Сразу после звонка зондер-команда расселась за парты с откровенным интересом к предстоящему. Служкин насторожился. Он прошелся у доски, словно пробуя пол на прочность, и сказал:

– Записываем тему урока...

Доска была исчеркана крестиками-ноликами, и Служкин взял тряпку. Вздох восторга промахнул за его спиной. На перемене смочить сухую тряпку в туалет бегал Ергин. Теперь от тряпки явственно пахло мочой.

Служкин побелел скулами и покраснел ушами, но не изменил выражения лица. С тряпкой в руках он продолжил:

– «Профилирующие отрасли хозяйства Средней Азии».

Искоса поглядывая на Служкина и гомоня, зондер-команда склонилась над тетрадами. Служкин вышагивал перед доской, словно в забывчивости держа тряпку в руках. Девочки на передних партах морщились. На галерке Градусов и присные с досадой зажужжали: Географ тупорылый, не отразил, чего сделали с его тряпкой!

Безостановочно диктуя, Служкин медленно углубился в проход между рядами. При его приближении Ергин с фальшивым усердием принялся строчить в тетради, на страницах которой пестрели химические формулы. Служкин сделал еще шаг и вдруг ловко ухватил Ергина левой рукой за затылок, а правой прилепил к его физиономии тряпку и тряпкой начал тереть ергинскую рожу, как Аладдин свою лампу. Все произошло совершенно беззвучно, быстро, и зондер-команда охнула только тогда, когда Служкин с грохотом выломал тихо завывающего двоечника из-за парты, как доску из забора, и поволок к выходу.

Вытащив Ергина в коридор и не прикрыв дверь кабинета – чтобы зондер-команда ужаснулась всему в подробностях, – Служкин тщательно повозил обомлевшего двоечника по полу, от всей души отвесил ему несколько таких пинков, от которых затрещал организм Ергина, и выбросил его вниз с лестницы. Только после этого Служкин запер дверь и пошел мыть руки.

Он вернулся в класс с поддернутыми рукавами, с красными от холодной воды руками и с таким лицом, будто бы он был Сизифом, который только что наконец вкатил свой камень на вершину горы.

На задних партах Градусов и присные уже раскинули дурака. При виде Служкина Градусов проворно сгреб карты и сунул их под столешницу, но

Служкин нагнулся и цапнул колоду. Градусов дернулся, вырываясь, и в пальцах Служкина осталась одна-единственная карта. Служкин глянул на нее.

– Семерка пик! – сообщил он. – Покер! – И он собрался демонстративно порвать карту пополам.

– Не надо!... – вдруг испуганно завопил Градусов. – Не рвите, Виктор Сергеевич!...

– Ты даже выучил, как меня зовут? – искренне удивился Служкин.

– Не рвите, – повторил Градусов. – Я больше не буду, убери все... Без покера уже не колода, а я ее две недели крапил!...

– Гад ты, Градус... – тихо сказал кто-то из присных. – Ничего, значит, никто тебе не должен...

Служкин подумал и бросил покера Градусову на стол.

– Уж своих-то не накалывал бы, – сказал он. – Только мухлевать и умеешь...

– А что, думаете, мухлевать просто? – обиделся Градусов.

– Трудно, – без выражения согласился Служкин, ушел и сел за свой стол. Но Градусова зацепило.

– Да я и без мухлежа выиграю у любого! – заорал он через весь класс. – Спорняк, что я и вас высажу с первого же кона?

Зондер-команда загудела, заинтересовавшись вызовом.

– Хлыздите, да? – орал Градусов. – Ну давайте срежемся, а?

– А что мне будет, если я выиграю? – вдруг спросил Служкин.

Класс дружно взвыл от восторга.

– Тогда мы до конца года на географии будем сидеть как на русском, – нагло заявил Градусов.

– А если проиграю?

– То вы нас с урока отпустите!... – завопили сразу с нескольких сторон. – Сейчас по кабельному порнуха начнется!...

– Да ну и фиг с вами, козлы! – в сердцах сказал Служкин и широким движением руки сдвинул на край стола классный журнал и тетради. – Иди сюда, Градусов!

Градусов вскочил и побежал к учительскому столу, как боксер к рингу: он подпрыгивал на ходу, поводил плечами и тузил кулаками воздух. Галдя, на галерке присные полезли на парты, чтобы лучше видеть поединок. Служкин протянул Градусову руку, и Градусов лихо отбил ладонь, закрепляя спор.

– Градусов, проиграешь – убьем!... – кричали девочки.

Служкин взял у Градусова колоду, перетасовал и разбросал карты.

– В подкидного, вини – винями, – деловито сказал Градусов.

Служкин развернул карты веером и задумался. Зондер-команда, как корабль в бурю, накренилась налево, пытаясь посмотреть, что у него в запасе. Служкин сбросил шестерку.

– Вы – мерзавцы, – просто сказал он. – Я от вас устал беспредельно. Бито. Думаете, мне стыдно, что я играю в дурака на уроке? Да ни фиги подобного. Я вас всех уже видеть больше не могу. Будь моя воля, я бы вас со всех уроков подряд вышибал, а по улице ходил бы в противогазе, чтобы с вами одним воздухом не дышать.

Зондер-команда, переговариваясь и посмеиваясь, хладнокровно выслушивала речи Служкина.

– Убери бубуху, – велел Служкин Градусову. – Обещал же не мухлевать. Думаешь, у меня не глаза, а пуговицы от ширинки?

– Я спутался! – сконфуженно ответил Градусов, забирая карту.

– А я тебе не верю. Я вам всем вообще не верю, сколько бы вы ни клялись. Клятвам верят, когда человек, их дающий, уважает себя. А вы разве себя уважаете? Взял, пятая не влезает. Вы перед всем классом собственной мочой умываетесь, вам не стыдно, когда при всех вам морды бьют и под зад пинают. Когда вам в лицо правду говорят, вы даже не краснеете.

– Куда вы пошли! Сейчас моя очередь! – вспенился Градусов.

– Пардон, ошибочка вышла. Валяй. Вы не только еще не личности, но вы даже еще не люди. Вы – тесто, тупая, злобная и вонючая человеческая масса без всякой духовной начинки. Вам не только география не нужна. Вам вообще ничего не нужно, кроме жратвы, телевизора и сортира. Как так можно жить? Куда десятку подкидываешь? Протри шары – где здесь десятки?

Градусов задумался и переместил в заначку две карты.

– Я понимаю: у вас чувство юмора не развито, поэтому и приколы у вас идиотские. Для чувства юмора нужна культура, которой у вас нет. Вы мне свои обезьяньи подляны строите и думаете, что они меня задевают. А они меня совсем не задевают. Я на вас ору только для того, чтобы вы успокоились: мол, ништяк, достали географа. Меня ваши подляны не обижают, потому что я вас не уважаю. Они мне просто мешают, но не урок вести мешают, а мешают перед собственным начальством выкобениваться, потому что оно – такое же, как вы, только наизусть... Угораздило же меня попасть между двух огней! И сверху идиоты, и снизу – вот и повертись! Устал я от всего этого...

Карточный поединок вступил в завершающую фазу. Класс притих.

Градусов пошел под Служкина – Служкин покрыл. Градусов сбросил вторую карту – Служкин отбил. Тогда Градусов обвел класс отчаянным взглядом и кинул третью карту – ту самую семерку пик. Служкин широко размахнулся козырем, чтобы припечатать и ее, но тут Градусов тихонько напомнил:

– Вини – винями.

– Свини – свинями! – в сердцах сказал Служкин. – Я продул!

Зондер-команда победно завопила.

– А вы говорили: «Выиграю, выиграю!» – снисходительно передразнил Градусов, собирая колоду. – Вы мне еще в пуп дышите.

– Можно домой идти, да? – ликуя, орала зондер-команда.

– Я свое слово держу, – заявил Служкин, демонстративно откидываясь на спинку стула и доставая сигареты. – Валите.

Все дружно ломанулась к двери, сдвигая парты и роняя стулья. В пять секунд кабинет опустел.

Служкин закурил, посидел, встал, запер дверь, прошелся по классу, ставя на место парты и поднимая стулья, открыл окно, залез на подоконник, сел, вывесив ноги наружу, и продолжал дымить дальше.

Речники лежали в руинах зимы, а над ними, как купальщица, выгнулось бесстыдно-голубое небо. На земле первыми оттаяли глубинные, таинственные артерии города – теплотрассы, ярко черневшие мокрой землей. Из-под крышек канализационных люков валил пар. Сгорбившиеся сугробы были по бокам искусаны чьими-то грязными зубами. На дороге ручейки проточили колеи до асфальта, и от этого колеи вихлялись в разные стороны, будто здесь ездили пьяные автомобили. Старый снег на волейбольной площадке, как сыр, был повсюду продырявлен следами. На верхушках фонарей, словно коты, сидели косые шапки.

Из-за угла школы веером высыпалась зондер-команда. Увидев в окне Служкина, девочки замахали руками, а пацаны заржали.

– Географ!... – закричали они. – Свалишься!... Монтана!... Фак ю!...

– А Градусов все равно мухлевал!... – завопил кто-то.

– Хеви-метал! – крикнул в ответ Служкин и показал рога из пальцев. – Я знаю!

## В центре плоской земли

– Папа, если хочешь попасть в грязь, то иди за мной, – сказала Тата, топая сапожками по плотному песчаному склону.

Служкин тащил рюкзак и держал Тату за ручку, а сзади шла Надя со спортивной сумкой. Миновав кучи прибрежного хлама, они поднялись на мостки лодочной стоянки. Вдоль кварталов плавучих дорожек были пришвартованы разноцветные и разномастные моторки.

Служкин уверенно пошагал по настилу. Стоял ясный апрельский вечер. Затон еще гукал, посвистывал, лязгал и взрыкивал двигателями. Над спутанной корабельной архитектурой в сиреновом небе бледнела рыхлая луна, словно пар от дыхания. Вдали, стуча дизелем, прошел катер «Усолка», и в понтоны мостков скоро толкнулась мягкая, как женская грудь, волна.

Будкин ждал их на двускатном носу своего маленького суденышка.

– Я-то думала, у тебя что-нибудь серьезное... – разочарованно сказала ему Надя, подавая руку, чтобы перебраться на борт. – И что это за дурацкое название – «Скумбрия»? Я на таком не поплыву!

– Нам в детстве казалось, что «скумбрия» – очень красивое слово, – пояснил Служкин, подавая Будкину Тату и перебираясь сам.

Раскачивая катерок, они распихали груз по ящикам. Тата сидела на скамейке и испуганно держалась за нее руками. Будкин взгромоздился на водительское место, положил ладони на автомобильный руль и распорядился:

– Витус, отгребай!

Махая двумя красными распашными веслами, Служкин не очень ловко отвел «Скумбрию» от мостков.

– Баста! – сказал Будкин и включил мотор.

На волне отходящей «Скумбрии» дружно поднялись и опустились «казанки» у причала, бренча друг о друга бортами. Набирая скорость, «Скумбрия» ощутимо поднималась из воды. За кормой заклокотал бело-черный кипяток. Запах бензина смешался с речной свежестью. «Скумбрия» широким полукругом разворачивалась по затону. Вдали мелькнула прощально задранная стрела землечерпалки, потом горохом просыпались мимо иллюминаторы теплохода и грозно проплыли над головами черные клювы самоходок с якорными цепями, выпущенными в воду из ноздрей. Волны «Скумбрии», залетев в разъятый трюм полузатопленной баржи у

берега, гулко шлепнули по ржавым шпангоутам. За вербами на круче берега показалась фигурная шкатулка заводоуправления, а внизу – дебаркадер и понтонный мост.

– Надя, а зачем домик плавает? – спросила Тата про дебаркадер.

– А-а... в нем моряки живут... – неуверенно ответила Надя.

Но Тата, возражая маме, ответила сама себе:

– Моряки живут на кораблях и работают там капитанами!

В том месте, где понтонный мост примыкал к дебаркадеру, имелась специальная арка для прохода моторок. Будкин, не снижая скорости, правил туда. Надя, вглядываясь в арку, начала нервничать.

– Будкин, притормози, – попросила она, но Будкин только самоуверенно хехекнул, развалясь за рулем.

Арка стремительно приближалась.

– Ну, Будкин, я больше никогда никуда с тобой не поеду! – вдруг отчаянно крикнула Надя, прижала к себе Тату и закрыла глаза.

«Скумбрия» стрелой промчалась под аркой, только хлопнул воздух.

Перед катером словно раскрыли ворота – так широко размахнулся речной створ. Справа быстро побежали назад к затону Старые Речники – деревянные домики над глиняным обрывом, высокие сосны, заборы, резные фронтоны и башенки купеческих дач. Укоризненно качая маленькой головой, мимо проплыл облупленный бакен. Из кустов на берегу тревожно высунулись полосатые треугольники фарватерных знаков, похожие на паруса-тельняшки. На мокрых коричневых отмелях лежали белые льдины.

– Лед толстый, – рассудительно заметила Тата. – Его только гвоздем пробить можно.

– Интересно, чем вы в садике занимаетесь? – задумчиво спросил Служкин, но Тата его не слушала, смотрела на реку.

Будкин вел катер через огромную Каму наискосок – точно таракан перебежал футбольное поле. У дальнего берега против течения поднимался к городу танкер; белый бурун за его кормой клокотал, но танкер словно буксовал на месте – таким незаметным было его движение с борта летящей «Скумбрии». Будкин правил на старые отвалы левого берега, песчаные горы которого поднимались над болотистой прибрежной равниной. Над отвалами громоздилась высоченная решетчатая конструкция с каким-то то ли баком, то ли механизмом наверху. Оттуда к реке тянулась длинная, тоже решетчатая стрела.

«Скумбрия» сбрасывала скорость, подходя к причалу из ржавых труб. Причал был обвешан автомобильными покрышками, как папуас ракушками.

– Летом здесь трамвайчик швартуется, – пояснил Будкин. – пляжники и рыболовы приезжают... А сейчас еще никого нет.

– Одни мы, дураки, – буркнула Надя.

Лагерь они разбили на голой песчаной площадке на вершине отвала. Служкин поставил палатку и принес вещи, Будкин насобирал плавника и развел костер. Надя стала жарить шашлыки. Тата выкопала в песке большую яму и напекла два десятка круглых «пирожков». Ржавая громада заброшенного насоса плыла над ними в нежно-фиалковом, темнеющем небе.

Темнота словно бы поднималась из глубины земли, из глубины реки, как подпочвенная вода. Уже затлели искры бакенов на черной равнине Камы, а небо все еще оставалось светлым, и от этого всем было видно, как же оно высоко – так долго приходится добираться до него тьме. Но тьма все-таки добралась и погасила небо, оставив лишь огни звезд – так во время прилива над водой остаются верхушки камней.

Все расселись вокруг костра, шашлыки наконец дожарились, Будкин достал вино, но Тата уснула на руках у Служкина.

– Бедная девочка... – жалостливо сказала Надя, беря у Таты лопатку и застегивая комбинезон. – Уснула голодная...

– Может, разбудить?... – тихонько предложил Служкин.

– Не надо. Положи ее в палатку, только укутай потеплей.

Служкин унес Тату в палатку, а когда вернулся, Надя и Будкин уже держали перед собой шампур и негромко разговаривали.

– Будкин рассказывает свою великую мечту, – насмешливо сказала Служкину Надя.

– Это про кругосветное плавание?... – Служкин тоже взял шашлык.

– Про него, – согласился Будкин. – А что? Дело у меня схвачено, деньги есть. Я, Витус, даже в затоне поинтересовался: сколько стоит, скажем, «Усолка». Ничего, поднять можно.

– На этой старой сковородке ты в затоне и затонешь.

– Чего, Витус, ты меня за дурака держишь? Я ее подремонтирую, перестрою, движок модифицирую, а то мощь есть, а скорость мала...

– Это речной катер, кретин. Он не может ходить по морю.

– А я ему для горючего запасную емкость поставлю, это не проблема. На фиг мне пассажирская палуба? Пусть там цистерна стоит. А чтобы не перевернуться, я придумал такую хреновину – полые пластиковые гондолы на консолях справа и слева. Получится вроде тримарана, как у этих чуваков из Полинезии.

– И что, денег не жалко? – спросила Надя.

– А что мне деньги? – Будкин пожал плечами. – Все, чего мне надо, у меня уже есть. На жизнь всегда заработаю. Родители с меня ничего не требуют, даже сами помогать лезут. И девки у меня нету, на которую можно тратиться... Куда мне деньги девать?

– Трать на меня, – предложил Служкин.

– На тебя, Витус, много не истратишь. Тебе купил бутылку – и до воскресенья ты счастлив.

– Построил бы уж тогда яхту... – задумчиво сказала Надя. – Ведь красивее, чем на старом буксирном катере.

– Яхта – это долго, Надюша, – ответил Будкин. – Пока ее построишь, вся мечта уже засохнет. А мне поскорее хочется. Заколебала эта жизнь бессмысленная... Еще немного, и совсем привыкну, стану жлобом, и тогда уж ничего не нужно будет. Начну по казино бабки садить, по кабакам дорогих шлюх клеить, которые за баксы дерьмо жрать готовы, а про себя думают, что они декабристские жены... А ты бы пошел, Витус, со мной в кругосветку?

– Не-а. – Служкин усмехнулся. – Мне в Речниках интереснее, чем в Сингапуре.

– А раньше обещал...

– Это было в детстве. С тех пор я вырос. И меня порядком изжевало.

– Эх, Витус, – протянул Будкин. – Утратил ты дух романтики. А вот так выйти бы из нашего затона, и дальше – Кама, Волга, Каспий, а потом Турция, Босфор, Афины, Трапезунд, Мальта, Гибралтар, потом – Атлантика, Америка, Мексика... – Будкин, зажмурившись, сладострастно прошептал: – Индийский океан...

Служкин согнулся, подбрасывая в костер палку.

– Нету этого ничего, – сказал он, глядя в огонь. – Как географ заявляю тебе со всем авторитетом. Все это выдумки большевиков. А на самом деле Земля плоская и очень маленькая. И всем ее хватает. А мы живем в ее центре.

– Ну тебя на фиг, – махнул рукой Будкин и обратился к Наде: – А знаешь, Надюша, как я назову свой катер? «Надежда»! Слово очень красивое. И имя. И ты. Пойдем со мной в кругосветное плавание, а он пускай здесь остается и пьет свое разбавленное пиво из трехлитровой банки. Пойдешь?

– Пойду, – согласилась Надя. – Но в полукругосветное. До Америки. – И она засмеялась, видя искреннее огорчение Будкина.

Только через час они доели шашлыки и допили вино. Будкин посидел некоторое время, мечтательно глядя в небо, и сказал:

– Пойти, что ли, на «Скумбрии» по ночной Каме покататься?...

Он тяжело поднялся и пошагал от костра. Служкин молчал.

– Отпусти меня с ним, а? – вдруг жалобно попросила Надя.

– Иди, – после раздумья согласился Служкин и негромко добавил: – Все равно не известно, кто кого отпускает...

Надя помолчала, потом придвинулась к нему, обняла за шею и поцеловала в небритую щеку. Затем она вскочила и побежала в темноту, но, пробежав десять шагов, неожиданно повернула к палатке, залезла туда и чего-то вытащила.

– Ты от костра не отходи и за Татой следи, – вернувшись, сказала она. – Пощупай ей штанишки – если мокрые, то запасной комбинезон у меня в сумке. А это тебе, чтобы одному не грустно было. – И она протянула Служкину бутылку коньяку.

– «Променял друга на рюмку, правда, очень хорошего, коньяка», – печально улыбнувшись, процитировал Служкин и взял бутылку.

Он сидел у костра один – будто один на целой планете, будто один в лунном кратере, потому что почти со всех сторон его песчаную площадку ограждали невысокие зубцы песчаных хребтов, а за их гребнями ярко и густо горели звезды. Внеземное ощущение усиливала и решетчатая громада старого насоса – то ли это опустился космический корабль, то ли на полушаге застыл фантастический треножник марсиан. Выкурив полпачки и выпив полбутылки, Служкин поднялся, проверил Тату и пошагал к опоре насоса.

По монтажной лесенке, охваченной обручами, Служкин вскарабкался на самый верх конструкции. Отсюда и была видна вся плоская Земля, на которой он жил, – темные боры Закамска, россыпь огней Речников вдоль кромки обрыва, ярко освещенный затон со спящими кораблями, широкая и черная, лаковая дорога Камы, лунный кратер с палаткой и костром, равнина незнакомой Служкину стороны реки, укрытая светлым ночным туманом, и целое озеро огней далекого города.

Звезд на небе было так много, что казалось, будто там нельзя сделать и шага, чтобы под ногой не захрустело. Однако, видимо, никто там не ходил, потому что стояла такая тишина, что можно было услышать, как в глубине реки собираются завтрашние волны, как с шорохом мягко укладывается на землю лунный свет, как под теплыми одеялами стучит сердечко Таты, как, потрескивая, ржавеет металл, как улыбается весна, шагая издали без усталости, как ветер ерошит невесомые перья на крыльях снов, как в душе зреют слезы, которые не дано будет выплакать, как волна мягко баюкает лодку, так и не отвязанную от причала, ритмично покачивает ее – с носа на

корму, с носа на корму, с носа на корму...

## Виктор Сергеевич Макиавелли

– Витус, твою мать! На фиг ты криво-то клеишь?!

– Это у тебя глаза кривые, а я клею – прямее не бывает! Сделаем, как в Эрмитаже...

Служкин и Будкин, толкаясь плечами, облицовывали стену в ванной комнате Будкина кафельной плиткой. В это время в дверь позвонили. Служкин, оказавшийся к выходу ближе, пошел открывать, вытирая руки тряпкой. За дверью стояла Кира.

– Будкина можно? – спросила она, словно у незнакомого.

– Будкин, к тебе какая-то девушка, – громко сказал Служкин, возвращаясь в ванную. Будкин пошел в прихожую, а Служкин продолжал клеить кафель.

– А-а, это ты... – услышал он голос Будкина. – Проходи на кухню...

На кухне Будкин усадил Киру и угостил пивом. Оба они долго молчали, и наконец Кира сказала недовольным тоном:

– Ну, выпроводи его как-нибудь, что ли...

– Я не хочу его выпроваживать... – пробурчал в ответ Будкин.

– Тогда накачай его, чтобы он уснул.

– Зачем?

Служкин услышал, как Кира яростно щелкнула зажигалкой.

– Видишь ли, – вдруг сказал Будкин. – Думаю, этого больше не надо.

– Почему, позволь узнать?

– Я люблю другую девушку, – просто ответил Будкин.

– Раньше тебе подобное не мешало.

– Раньше было раньше.

– И кто она?

– Жена Витуса.

– Вот как? – изумилась Кира. – А он об этом знает?

– Знает.

– И как реагирует?

– Спроси у него, – с досадой сказал Будкин.

– Ладно, – после паузы сказала Кира, и было слышно, как она встала, отодвинув табуретку: – Ты меня проводишь?

– Ты ведь близко живешь... – виновато произнес Будкин.

– Тогда прощай, – холодно и жестко отрезала Кира, вышла из кухни и требовательно постучала в дверь ванной: – Виктор, проводи меня.

Служкин вздохнул и ожесточенно почесался.

У подъезда Кира оценивающе осмотрела затрапезный наряд Служкина, презрительно отвернулась и подставила ему локоть, твердый, как автобусный поручень. На третьем этаже из раскрытого окна кухни в теплые, почти майские сумерки свисал Будкин и курил. Кира и Служкин напряженно зашагали по тротуару прочь от будкинского подъезда.

Всю дорогу Кира молчала. У витрины ларька она остановилась.

– Бутылку вон того марочного, бутылку семьдесят второго портвейна и пакет, – приказала Кира в окошко.

От ларька таким же чеканным шагом они добарабанили до подъезда Киры. Служкин вызвал лифт и поневоле вытянулся по стойке «смирно». В подъезде стояла крошечная темная комната, и когда дверки лифта раскрылись, кабина, излучающая янтарный свет, могла показаться преддверием палат Хозяйки Медной горы.

– Куда изволите? – спросил Служкин.

– Не паясничай! – рыкнула Кира, нажимая кнопку этажа.

Через пять минут они уже сидели в креслах в гостиной у Киры Валерьевны, разделенные журнальным столиком с двумя открытыми бутылками и двумя наполненными фужерами.

– Кажется, ты испытываешь тягу ко всему национально-плебейскому?... – спросила Кира и цокнула ногтем по липкой стенке бутылки. – К сигаретам «Прима», к портвейну, к разливному пиву...

Она подчеркнуто элегантно прикурила длинную ментоловую сигарету от зажигалки «Ронсон». Служкин подчеркнуто-тщательно расправил кривую «примину» и прикурил, чиркнув спичкой о смятый коробок.

– Нет, к дерьму меня особенно не тянет, – сказал он. – Просто на что-то хорошее у меня нет денег. Никто не хочет купить у меня чего-нибудь за четыре сольдо, как колпачок у Буратино.

– Значит, наверное, жена тобою недовольна, да? – с двойным смыслом спросила Кира.

– Почему же? Вполне довольна, – непроницаемо ответил Служкин.

– Хорошая у тебя жена, – похвалила Кира.

– Зашибись.

– Это правда, что ты с ней не спишь уже год? – Кира стряхнула пепел таким жестом, каким протягивают руку для поцелуя.

– М-да, не получится из Будкина Зои Космодемьянской...

– И как, интересно знать, ты живешь без секса? Крыша-то не съезжает? Или у тебя любовница есть?... Впрочем, вряд ли.

– Из чего ты это заключила? – несильно заинтересовался Служкин.

– Видал бы ты свое лицо, когда сейчас заглянул в мою спальню.

– Отныне повсюду ношу с собой трельяж, – заявил Служкин.

Кира усмехнулась:

– У мужиков при воздержании мозги всегда лучше работают...

– А также исправляется почерк, – добавил Служкин.

– Так заведи себе любовницу, не мучайся. – Кира в деланом недоумении пожала плечами. – Баб вокруг – только свистни.

– Ладно, хватит топтаться на моих мозолях, – устало завершил тему Служкин.

Они замолчали, пили вино, курили и смотрели друг на друга. За окном совсем стемнело. Над верхушками сосен рассыпалась звездная карамель. Сигарета в длинных пальцах Киры дымилась ровной белой струйкой. Сейчас Кира была очень красива какой-то равнодушной, насмешливой и доступной красотой.

– Ты знаешь, что Будкин любит твою жену? – наконец спросила она.

– Новости из временных лет Повести, – мрачно ответил Служкин. – Без меня у них бы ничего и не вышло.

– Так ты что, сам все это подстроил?... – Кира негромко засмеялась, глядя на него с некоторым уважением, и сказала: – Ну, я догадывалась о твоей непомерной гордыне, однако не думала, что она непомерна до такой степени...

– То есть? – удивился Служкин.

Кира глядела на него снисходительно-понимающе.

– Когда жена не дает, то чудесный способ продемонстрировать свое презрение и власть над ней – подложить ее под другого. И Будкину хорошая затычка в рот. Он тебе, наверное, осточертел своими любовными победами – вот ты его и втоптал в грязь, заставив полюбить свою жену. Да и мне самой в общем-то мимоходом оплеуха за строптивость: не хочешь, мол, со мною спать, так и с Будкиным не дам, стерва. Одним выстрелом сразу трех зайцев.

Служкин глубоко задумался, окутавшись облаком дыма.

– Ну ты меня и расписала, – сказал он. – Я теперь сам себя в зеркале пугаться буду. Просто Макиавелли какой-то, мелкого пошиба.

Кира усмехнулась и, подняв над головой руки, сладострастно потянулась в кресле. Потом бросила недокуренную сигарету в пепельницу и встала.

– Столик и кресла отодвинь, диван расправь и застели, – велела она. – Белье вон там, в шкафу... А я приму ванну.

– Угу, – одеревенело ответил Служкин.

Кира выскользнула из комнаты, и скоро раздался шум душа.

Служкин немного посидел, потом помотал головой, потом поднялся и стал отодвигать столик и кресла, раскладывать диван, стелить постель... Когда все было готово, он забрал обе бутылки и зачем-то понес их на кухню.

Дверь ванной предусмотрительно была чуть приоткрыта. В светящейся щели мелькало что-то белое и округлое – это Кира принимала душ, изгибаясь, как красotka из рекламы шампуня. Служкин, как пятиклассник, некоторое время постоял у двери, затаив дыхание, потом криво ухмыльнулся и пошел на кухню.

Когда Кира вышла из ванной, придерживая у горла расстегнутый халатик, Служкин сидел на табуретке посреди темной кухни, как филин в дупле, и глядел на нее круглыми, желтыми, светящимися глазами. Кира многозначительно произнесла:

– Я пошла... А ты прими душ. Я жду.

И она грациозно уплыла в комнату.

Служкин неуклюже ввалился в ванную, заперся, бухнулся на унитаз и вытащил из карманов обе бутылки. Он начал быстро пить, чередуя портвейн с марочным вином, и закурил.

Когда он наконец появился в дверях комнаты, Кира делала вид, что спит. Она, совершенно голая, лежала на боку на диване, обхватив обеими руками подушку. Вид ее выражал полную беззащитность и невинность в степени святой наивности. Служкин непрочно утвердился у краешка дивана, держа руки за спиной, и уставился на Кирина зад, как Папа Римский на черта.

Через некоторое время Кира зашевелилась, точно служкинский взгляд припекал ее, оглянулась через плечо, медленно поднялась и томно уселась, оглаживая себя ладонями по небольшим, крепким грудям и пропуская между пальцев напряженившиеся соски.

– Ну, иди же ко мне, дурачок... – прошептала она и посмотрела на Служкина сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы.

– Стоп! – хрипло ответил Служкин. Глаза его были уже совершенно пьяные, но он продолжал пьянеть дальше, хотя дальше, казалось бы, уже некуда. – Знаешь, как нынче приличные люди в гости ходят? – неожиданно спросил он. – Они покупают две бутылки, звонят в дверь, и когда хозяин открывает, делают так...

Тут Служкин стремительно выхватил из-за спины две пустые бутылки, звонко припечатал их доньшками к своему лбу на манер рогов и со страшным воплем «Му-у!!», потеряв равновесие, с грохотом полетел под

диван.

Через десять минут он уже брел по улице на квартиру к Будкину.

## Незачем и не за что

Посреди урока Служкина вызвали в учительскую к телефону.

– Витя, это ты? А это я, – пропищало в трубке.

– Сашенька? Ничего себе! – изумился Служкин. – Как ты номер узнала? Даже я его не знаю!

– В справочнике посмотрела, Витя, – виновато сказала Сашенька. – Не в этом дело... Витенька, я хочу тебя срочно видеть... Прямо сейчас...

– А что случилось? – забеспокоился Служкин.

– Да ничего... Но ты мне очень нужен, Витенька... Приди...

– У меня вообще-то еще уроки... – озадачился Служкин.

– Ну, я так редко тебя прошу о чем-нибудь...

– Ладно, – вздохнув, согласился Служкин. – Жди.

Он кое-как довел урок до конца и на перемене пошел к завучам отпрашиваться.

Заводоуправление, как всегда, поражало ничем не истребимым ощущением послеобеденного покоя. На лестничных площадках пахло сигаретным дымом. В коридорах на паркете лежали солнечные квадраты. Служкин заглянул в конструкторское бюро, и по его просьбе кто-то привычно крикнул в лабиринты кульманов:

– Рунева, к тебе жених!...

Саша выглянула неожиданно жизнерадостная и попросила:

– Витечка, подожди немножко, я тут линию доведу...

Служкин покорно отправился на лестницу, раскрыл форточку и закурил. Затон искрился рябью. Чисто отмытый белый дизель-электроход у дебаркадера вхолостую гонял двигатель, взбивая за кормой бурун. На дальнем камском просторе медленно, как перо, летела «ракета». Прошло пять минут. Десять. Пятнадцать. Линия, которую доводила Сашенька, видимо, была длинная, как Великая Китайская стена. И вдруг чьи-то руки обхватили Служкина за талию, а когда он обернулся, то наткнулся губами на мягкие и теплые губы Саши.

– Я все знаю, Витенька, – отрываясь от него и грустно улыбаясь, произнесла Саша таким тоном, словно бы снимала со Служкина неприятную обязанность что-то объяснять.

– Тогда ответь мне, в каком году запорожские казаки штурмовали Мачу-Пикчу? – немедленно потребовал Служкин.

– Не поняла... – растерялась Саша.

– Ну, ты же сказала, что все знаешь.

Саша облегченно рассмеялась.

– Что мне нравится в тебе, Витя, так это то, что ты даже в самые горькие минуты не теряешь чувства юмора... Хорошо тебе. Меня на такое мужество никогда не хватает.

– А что со мною случилось? – удивился Служкин. – Ты узнала, что я неизлечимо болен и это, скорее всего, гонорея?

– Гонорея излечима, – чуть покраснев, сказала Саша.

Оба они неожиданно замолчали, словно споткнувшись.

– Будкин ведь предал нас обоих, – выправились Саша. – И тебя, и меня. Мы с тобой как потерпевшие кораблекрушение, вдвоем на необитаемом острове...

– Ты недавно видела Будкина? – осторожно спросил Служкин.

Саша кивнула и молча подалась к нему. Служкин нежно обнял ее и провел рукой по волосам. Сашенька раньше никогда не позволяла ничего подобного, если был риск попасться кому-нибудь на глаза.

– Будкин сказал мне, что у него со мной все кончено и чтобы я его больше не доставала... И еще рассказал про Надю.

Служкин задумчиво хмыкнул. Саша пристально глядела в окно на блещущий затон, на теплоход у дебаркадера, на ясную камскую даль.

– Господи, как я устала, как я измучилась... – жалобно прошептала Саша. – Не могу уже дальше тут жить ни секунды... Каждый день мимо окон корабли плывут – знал бы ты, Витя, как мне хочется очутиться у них на борту и уехать отсюда... Терять мне уже нечего...

– А с Колесниковым ты не виделась?

– Нет. – Саша качнула головой. – Да что мне Колесников? Я его по-настоящему и не любила никогда... Он же дурак. С ним только спать очень хорошо, потому что он исключительно сильный кобель, а больше с ним делать нечего. Я ведь, как ты мне советовал, его использовала только в качестве клина, которым другой клин вышибают, да вот все равно ничего не вышибла...

У Служкина лицо сделалось таким же, как у завучихи, когда он отпрашивался с урока, но Сашенька этого не видела.

– Как же ты, Витя, дальше жить собираешься? – участливо спросила она.

Служкин неопределенно махнул бровями.

– Горе как море, – сказал он. – Да случай был: мужик на соломинке переплыл.

– А знаешь, Витя, – тяжело вздохнув, призналась Сашенька, – я

почему-то всегда ожидала от Нади нечто подобное... Будкин – ладно, он что – самец... А Надя... Слишком уж она у тебя правильная была. И вот выждала момент и ударила.

– Не говори про Надю, – попросил Служкин. – Она поступила правильно и честно. Я ее не виню. Я сам, можно сказать, всего этого добился самоотверженным трудом.

– Ты слишком добрый, Витенька... А они воспользовались тем, что ты можешь собою пожертвовать. Только стоило ли жертвовать для них? Я знаю, что ты переживаешь. Ты сильный, но мне тебя ужасно жалко. Ты не расстраивайся... Не думай, что тебя никто не любит. Плюнь на них. Я тебя люблю, всегда любила и буду любить. Ты единственный, кого я могу любить.

– Я тебя тоже очень люблю, Сашенька, – ответил Служкин.

Из дверей конструкторского бюро выглянула какая-то тетка.

– Рунева, хватит обниматься, дело ждет! – крикнула она.

– Сейчас иду, – ответила Саша, не оглядываясь и не делая попытки высвободиться из рук Служкина. Тетка захлопнула дверь, и Саша вдруг горячо зашептала: – Витенька, я очень-очень хочу, чтобы ты пришел ко мне сегодня... Отпросись, соври, убеги – но приходи, на всю ночь, до утра... Я умру сегодня без тебя, Витенька...

– Вот тебе и раз! – ошарашенно вырвалось у Служкина.

– Обещай мне, что придешь!... – умоляюще требовала Сашенька.

– Обещаю, – сказал Служкин.

Он вышел из заводоуправления совершенно обалделый. Дома он лег на диван и с головой укутался одеялом. Через час пришла Надя, привела Тату. Служкин лежал по-прежнему.

– Ты чего в постель залез не раздеваясь? – спросила Надя.

– Я заболел, – ответил из-под одеяла Служкин.

Еще спустя час он вылез и набрал на телефоне номер Ветки.

– Алё? – быстро отозвалась Ветка.

– Будьте добры Колесникова к телефону, – чужим, хриплым голосом попросил Служкин и вскоре услышал солидное милицейское откашливание.

– Колесников, – строго сказал Колесников.

– Служкин, – в тон ему сказал Служкин.

Колесников некоторое время мучительно мыслил.

– Слушай, – избавил его от страданий Служкин. – Я сегодня встретил Руневу. Она Ветки боится и не звонит тебе. Она просила передать, что ждет тебя сегодня на ночь.

– Э... – отупел Колесников. – Она?... А-а... Блин, классно! Спасибо, Витек, что позвонил! Спасибо!

– Да не за что, – ответил Служкин и повесил трубку.

## Лишь бы не соскучиться

После уроков Градусов, коварно изловленный Служкиным, сопя, мыл пол в кабинете географии, а Служкин с отцами обсуждал предстоящий поход. Служкин сидел за столом, расстелив перед собой потрепанную карту. Придвинув стул, рядом основательно устроился Бармин. Овечкин и Чебыкин уселись напротив за парту. Деменев притулился на подоконнике. Тютин тревожно торчал за плечом у Служкина и с ужасом вглядывался в извилистую линию реки.

– Вы давайте все конкретно объясните, – потребовал Бармин.

– Объясняю конкретно, – начал Служкин. – Выезжаем в четверг вечером, ночью в Комарихе пересадка, и утром мы на станции Гранит.

– Вот она. – Бармин на карте прижал станцию ногтем, чтобы она не убежала, как таракан.

– От станции до реки километр. На реке собираем катамаран.

– Целый километр? – охнул Тютин. – А точно? Не три? Не пять?

– А катамаран нас выдержит? – осведомился Бармин.

– Выдержит... Ну и дальше плывем пять дней.

– Деревни по пути будут? – выяснял Бармин.

– Одна. Межень. Вот она.

– А чего интересного мы на реке увидим? – спросил Овечкин.

– Много разного... Расскажу по ходу пьесы.

– А погода, погода какая будет? – беспокоился Тютин.

– Не знаю, не Господь Бог. Плохая, наверное.

– Промокнем, простудимся... – страдальчески прошептал Тютин. – Виктор Сергеевич, вы умеете первую медицинскую помощь оказывать?

– Последнюю умею. Медными пятаками глаза закрывать.

– Лишь бы не соскучиться, – плотоядно сказал Чебыкин, – а погода – фигня. Порогов бы побольше, завалов там лесных, чтоб по-пырому.

– Порог будет перед Меженью, Долган – да? – вспомнил Бармин.

В дальнем конце кабинета Градусов яростно запыхтел и начал швырять шваброй стулья.

– А сколько у нас палаток будет? – продолжал допрос Борман.

– Одна на всех. Я возьму большую шатровую.

– Чур, я посередине сплю, – быстро вставил Тютин.

– А жратвы хватит?

– Я оч-чень много ем... – тихо шепнул Тютин на ухо Служкину.

– Хватит, – заверил Служкин. – Раскладку я сегодня вечером составлю, а вы завтра зайдите ко мне и перепишите, кому чего и сколько покупать.

Служкин и отцы еще долго обсуждали все тонкости, потом Служкин диктовал список снаряжения, перечень вещей и одежды, высчитывал цены. Все это время Градусов сидел на задней парте и задумчиво возил шваброй в проходе. Наконец отцы двинулись на выход, озабоченно переговариваясь. В кабинете, кроме Градусова, как-то незаметно остался Деменев.

– Виктор Сергеевич, – блестя глазами, негромко спросил он. – А девки? Девки же еще хотели!...

– Какие девки? – удивился Служкин.

– Ну... Митрофанова с Большаковой.

– Почему же они мне-то ничего не сказали? Я как должен про их намерения узнавать – гадать на бараньих кишках?

– Они стеснялись.

Деменев выбежал и через некоторое время втолкнул в кабинет смущенных Машу и Люську. Увидев Служкина, Люська вдруг почему-то вытаращила глаза, словно бы ей до этого сообщили, что Служкин умер и уже погребен. Служкин указал девочкам на парту перед собой.

– Значит, в поход хотите?... – переспросил он, глядя на Машу.

Маша посмотрела на Служкина и покраснела.

– Чего вы это вдруг разохотились?... – риторически спросил Служкин, но Люська оказалась словно бы неожиданно потрясена этим вопросом и ошеломленно уставилась на Машу, будто прозрела: «А чего это и вправду мы такие дуры?...»

– Поход – это ведь дело муторное, – передвигая по своему столу различные предметы, сказал Служкин. – Придется таскать тяжести, трудно ехать, спать в сыром спальнике, все время что-то делать – ставить палатки, варить жратву, отскребать котлы в ледяной воде... Будет грязно, холодно, непременно попадем под дождь, стрясутся какие-нибудь беды, а крыши над головой нет, горячего душа нет, и все трудности надо преодолевать самостоятельно. А мы будем неприлично ругаться, пьянствовать, и никто даже не попытается хоть маленько за вами поухаживать, помочь...

– Ну и что? – негромко сказала Маша и пожала плечами.

– Можно подумать, пацаны здесь за нами ухаживают! – возмущенно выпалила Люська.

– Ну смотрите... А родители вас отпустят?

– Отпустят, – твердо пообещала Маша.

– Меня уже отпустили! – независимо заявила Люська.

– А денег на эту затею у вас хватит?

- Хватит! – тотчас сообщила Люська. – А сколько надо?
- Ох, девчонки... – вздохнул Служкин, складывая руки. – Ищете вы приключений на свою – знаете что?
- Что? – испугалась Люська.
- Знаем, – печально согласилась Маша.
- Ну, тогда давайте записывайте.

Служкин заново начал перечислять все параметры похода. Маша не стала записывать, надеясь на Люську, и задумчиво глядела куда-то в сторону, чтобы не встретиться со Служкиным глазами. Служкин диктовал и смотрел на Машу. Люська лихорадочно строчила в тетрадке какие-то магические заклинания: «...свтр 2 шт тр 1 бр 1 штан бол 1 бот сапг нск шрст побольше...»

– Сама-то потом поймешь свои шифровки? – насмешливо спросил Служкин, и Люська, не поднимая головы, фыркнула, сдув с лица упавшую челку.

– Ну а за списком продуктов завтра придете ко мне вместе с пацанами, – в заключение сказал Служкин.

Люська кивнула и начертала: «за жртв зв с пц к Геогрф».

Деменев увел девочек. Служкин закурил, блаженно щурясь, и вдруг увидел, что на том месте, где только что сидели девочки, из клубов дыма материализовался Градусов – маленький, нахотеленный, носатый, рыже-растрепанный и красный от злости.

– Виктор Сергеевич, – проскрипел он, – а меня в поход возьмете?

Служкин медленно поголубел от изумления.

– Тебя? – переспросил он, пытаясь заглянуть Градусову в лицо.

Градусов тяжело занавесил глаза бровями и мрачно уставился куда-то назад через плечо.

– Слушай, Градусов, – сердечно произнес Служкин, – а ты что, не помнишь, как ты меня весь год доставал? Тебе напомнить, что ли?

– Не надо, – буркнул Градусов, слезая с парты. – Я и так знал, что не возьмете...

Он отпихнул с дороги стул, забросил за спину свой идиотский ранец с шестью замками и катафотами и пошел на выход.

– Постой, – окликнул его Служкин.

Градусов, уже распахнувший дверь, остановился в проеме, недоверчиво покосившись на Служкина. Служкин, не торопясь, снова закурил.

– Знаешь, сегодня у меня неожиданно счастливый день, – сказал он Градусову. – Поэтому я никого не хочу огорчать, даже если кто этого и

заслуживает... Приходи завтра ко мне вместе со всеми: получишь свой список продуктов.

## Уважительная причина для святости

Когда появился Служкин, Ветка ожесточенно лепила пельмени. Она сидела за столом в криво застегнутом, испачканном мукой халате, спиной к окну. Во все окно пылал закат. На его фоне Ветка выглядела черной, как черт. Ее лохматые кудри испускали дымные лучи наподобие лазерных.

– Ты чего так злобно стряпаешь? – поинтересовался Служкин, усаживаясь напротив. – Где у тебя Шуруп, где Колесников?...

– Шурупа мама забрала, а Колесников у Руневой.

– Э-э... не понял, – немного ошалел Служкин.

Ветка захлопнула и защипала ракушку пельменя, словно не желала слушать его оправданий.

– Чего не понял-то? Сам небось все знаешь. Колесников мне в пятницу позвонил, сказал, что его до понедельника посылают в командировку в область. А сегодня утром я поперлась в магазин, гляжу: он там с Руневой винище покупает. Да еще колбаса у него из кармана торчит. Копченая. Я такой колбасы уже год не жрала. В общем, поняла я, что Рунева и есть его любовница.

– Ну и что ты сделала, когда их застукала? – безрадостно поинтересовался Служкин.

– Ничего. Плюнула, купила теста да водяры взяла. Решила сегодня нажраться. Пришла домой, как дура, вмазала немного, да чего-то не полезло на голодняк. Вот, думаю, под пельмени вкачаю. Ты будешь водку?

– Почему бы и нет? – задумчиво спросил себя Служкин. – Я нынче тоже один. Будкин Надю с Таткой к себе на дачу повез. Мне можно.

Ветка вскочила, тотчас выхватила откуда-то две чашки и разлила. Служкин поднял чашку, поглядел в нее и сказал:

– Ну, за здоровье молодых...

Он выпил и оскалился. Ветка тоже опрокинула водку и со слезами на глазах оторвала кусочек теста зажевать.

– А ты у Колесникова в курсе всего этого был? – спросила она.

– В курсе, – кивнул Служкин.

– И давно у них?

– Не приставай, все равно не буду рассказывать.

– Сейчас-то уж чего? – хмыкнула Ветка. – Тоже мне, партизан на допросе. Чего ж ты Руневу-то Колесникову уступил? Все ходил, стонал...

Служкин пожал плечами.

– Самое обидное не то, что он с ней трахается, – сказала Ветка. – Это ладно, по пьянке всякое бывает... Обидно то, что он ее любовницей сделал. Значит, гад, со мной разговаривал, а сам планировал, когда к ней пойти... Мне врал, а ей цветы дарил, про меня всякие гадости рассказывал, деньги на нее тратил, время... Да и я тоже хороша. На моих глазах они познакомились, и по всему видно было, что после этого у него кто-то завелся, и девки мне ее описывали один к одному, а я все сообразить не могла, идиотка...

– Вы, бабы, все такие, – успокоил ее Служкин. – Как шагающие экскаваторы. За десять верст ямы роете, а под пятой лягушки спят.

Ветка возмущенно фыркнула.

– И что ты собираешься делать? – спросил Служкин.

– А что делать? Ничего. В магазине они меня не видели. Колесников вернется в понедельник как огурчик, а я молчать буду в тряпочку. Я уже подумала: если ему скандал устроить или перестать с ним спать, так он, пожалуй, насовсем к Руневой уйдет. А куда я – без денег, без работы, без квартиры, да еще с ребенком на шее? И мужика тоже хочется – что мне, монашкой жить или снимать кого на улице? Если он до сих пор от меня не ушел, может, и совсем не уйдет. Поваландается с ней, перебесится и бросит. Что я, его не знаю?

– А говорила – если засечешь, то всех повесишь, город взорвешь... – разочарованно напомнил Служкин.

– Мало ли что я говорила... Давай еще вмажем.

Они еще вмазали. Закатное пылание в окнах тускло, и Служкин уже мог хорошенько рассмотреть Веткино лицо – грубо-красивое, чувственное, беспокойное.

– Ладно, не грусти, Витька, – сказала ему Ветка. – Я знаю, что ты в той же заднице, где и я. Фигня. Выживем, не сдохнем.

– В смысле?... – не понял Служкин. – Про задницу-то поподробнее...

– Ну, что Надя спит с Будкиным.

– А ты откуда узнала? – удивился Служкин.

– Колесников сказал. А ему Рунева растрепалась.

– Надо обо всем этом в газете корреспонденцию тиснуть, – заметил Служкин. – А то вдруг еще не все слыхали.

– Не понимаю, чего Надя в Будкине могла найти? – Ветка пожалала плечами. – Будкин как Будкин, ничего особенного.

– Чего все бабы в нем находят, то и она нашла.

– А чего все в нем находят? Я тоже с ним переспала – все равно ни фи́га не прорубила.

– Ты-то когда умудрилась? – грустно удивился Служкин.

– Да уж не помню когда... Ты же сам рассказывал, как все бабы на него кидаются. Вот я и заинтересовалась. Пошла к нему в гости да потрахалась. И ни черта не допетрила, чего в нем такого.

– Что-то я не слышал раньше этой дивной истории...

– Да все забывала тебе рассказать, – отмахнулась Ветка.

– Жаль, что вспомнила.

– Не переживай. Дело житейское, как говорил Карлсон. Подумаешь, жена изменила, подумаешь, муж. Не война все-таки. Останутся – хорошо, а уйдут – фиг с ними. Я тогда за тебя замуж выйду. У меня Колесников еще семь раз слезами умоется. Я ему такие рога приделаю – в автобус не влезет. И ты тоже отомсти Наде. Пусть знает, выдра, что на ней свет клином не сошелся.

– Да не хочу я мстить, Ветка, – поморщился Служкин. – Я и не считаю, что она по отношению ко мне непорядочно поступила...

– Уж передо мной, Витька, не изображай из себя апостола, – скептически заметила Ветка. – Я-то знаю, какой ты самолюбивый. Ты, конечно, дурак: у себя под носом не разглядел, как они спелись. Но уж если лопухнулся, то отыграйся вволю, а не корчи благородного. И нечего стесняться, что любовницы пока не нашел. У меня тоже любовника сроду не было – так, уроды какие-то... Любовницу найти, наверное, потруднее, чем жену. Искать надо, а не философствовать.

– Ох, Ветка, как бы тебе объяснить... – вздохнул пьяный Служкин, стряхивая пепел себе в чашку. – Ты думаешь, у меня все так получается, потому что я не могу по-другому?... Нет. Я просто хочу жить как святой.

– Это что ж, не трахаться ни с кем? – напрямик спросила Ветка.

– Нет, не то... – с досадой сказал Служкин.

– Так святые же не трахались.

– Дура. Не трахались монахи, а не все святые были монахами. Я и имею в виду такого святого. Так сказать, современного, в миру... Я для себя так определяю святость: это когда ты никому не являешься залогом счастья и когда тебе никто не является залогом счастья, но чтобы ты любил людей и люди тебя любили тоже. Совершенная любовь, понимаешь? Совершенная любовь изгоняет страх. Библия.

– Опять твои заморочки!... – Ветка потрясла кудрями. – Чокнутый ты, Витька. Все у тебя через задницу, не по-людски. Ты мне лучше скажи популярно: мы с тобой идем или что?

– Куда идем? – спросил Служкин, разливая водку.

– Куда-куда! В постельку. Трахаться.

– Нет, Ветка, – печально сказал Служкин. – Нехорошо это.

– Надю жалко, да? Или святость мешает?

– Дважды дура ты, – обиделся Служкин. – Ничего не понимаешь.

– А чего я должна понимать?

– Я, Ветка, тут в девочку влюбился, – смущенно признался Служкин.

– Вот, здрасте! – изумилась Ветка. – В какую?

– В ученицу свою.

– Прямо так, ни с того ни с сего и – бац!

– Ну почему же... Она мне давно нравилась, но я как-то не определял своего отношения к ней. А недавно она вдруг попросилась со мной в поход – ну, я и понял. Это только в кино: увидел – и любовь до гроба. А на самом деле все незаметно происходит. По порядку. Прозаично.

– И ты ее в любовницы взять решил?

– Господь с тобой! – испугался Служкин. – Она же маленькая! Ей всего четырнадцать лет! Я же ее вдвое старше!

– Ну и что? У нее, что ли, еще ничего не прорезалось, или у тебя, что ли, уже отсохло?

У Служкина чуть искры из ушей не посыпались.

– Ветка, я тебя укушу! – скрипя зубами, предупредил он.

– Подумаешь, в девочку влюбился! – Ветка пренебрежительно махнула сигаретой. – Что, твоя девочка окочурится, если ты с кем-нибудь потрахнешься? Тоже мне, нашел повод для воздержания!

– Ну, мне как-то перед собой неудобно... – промямлил Служкин.

– А кто только что говорил, – Ветка скорчила рожу и пропищала: – «Никого не делать залогом своего счастья»?... Тебе такое счастье привалило – ни Колесникова, ни Шурупа, ни Нади, ни Таты, да я еще сама навязываюсь, – а ты за какую-то салагу уцепился!...

Служкин озадаченно поскреб затылок.

– Ну, в общем-то ты права, – подумав, согласился он. – Только давай хоть водку допьем...

В комнате Ветка разобрала диван и с аппетитом сообщила:

– Еще никогда я не изменяла Колесникову в супружеской постели!

Ветка начала быстро раздеваться, расшвыривая вещи.

– Иди сюда, – велела она, валя Служкина на себя. – Под тобой как под велосипедом... Ты, Витька, не думай, что чик-чик – и готово. Ты у меня сейчас работать будешь как негр!

И Служкин действительно работал как негр. Под его руками и губами Ветка бесстыже вертелась и корчилась, рычала, орала и материлась, мотала головой, колотила пятками, царапалась. Со стороны могло показаться, что

Служкин в постели сражается со стайей бандерлогов.

– Сильнее, грубее, вот так, вот тут, – хрипло поучала Ветка, зажмуривая глаза. – Я тебе баба, а не микрохирургия!... А-у-ум-м!...

Через некоторое время они упали с дивана на пол, и мокрая от пота Ветка, отползая от Служкина, простонала:

– Если, Витька, я еще раз кончу, то лопну...

Они лежали на полу, отдохнули.

– Давай теперь я тобою займусь, – подползая обратно, сказала Ветка. – А то у нас с тобой пока еще только рукопашная была...

– Валяй, – согласился Служкин. – Теперь ты будешь негром.

Однако негра из Ветки не получилось. Сколько она ни трудилась, чего бы ни выдумывала, ничего не помогло. Наконец Служкин начал отпихивать ее, страдальчески кряхтя:

– Ну тебя на фиг... Не видишь – один обмылок остался... Все, приехали, бензин кончился...

– Что же мы, толком и не потрахаемся?... – усаживаясь, обескураженно спросила Ветка.

– А я что поделаю? – грустно сказал Служкин.

– Ну, не расстраивайся. – Ветка извиняюще погладила Служкина по колену. – Мне с тобой и так было просто зашибись – чуть в космос не улетела. В другой раз все будет нормально... Только не внушай себе ничего.

– А чего мне внушать? – удивился Служкин. – Я и так про себя все знаю. Дома хожу как «тэ»-тридцать четыре...

– Тем более.

– Это, Ветка, судьба, – убежденно сказал Служкин. – И ничто иное. Сама посмотри, как она из меня насильно святого делает.

– Пить надо меньше, – философски заметила Ветка.

## **Часть III. Вечное влечение дорог**

## Первые сутки

«Пермь-вторая, конечная!» – хрипят динамики.

Колеса трамвая перекатываются с рельса на рельс, как карамель во рту. Трамвай останавливается. Пластины дверей с рокотом разъезжаются в стороны. Я гляжу с верхней ступеньки на привокзальную площадь поверх моря людских голов.

Над вокзалом, за проводами с бусами тарелок-изоляторов, за решетчатыми мостами, за козырьками семафоров – малиновые полосы облаков. Небо до фиолета отмыто закатом, который желтым свечением стоит где-то вдали, за Камой.

Хоть времени и в обрез, я иду в толпе медленно, чтобы ненароком не сбить кого своим огромным рюкзакищем. Гомон, музыка, шарканье шагов, свистки, перестуки. Издалека я замечаю свою команду у стенки правого тоннеля.

Девочки смирно сидят на подоконнике. Пацаны курят. Рюкзаки составлены в ряд. Ученички мои, конечно, вырядились кто во что горазд. Маша и Люська в кроссовках, брючках и разноцветных импортных куртках. Отцы в телогрейках, брезентовых штанах и сапогах. С Градусовым вообще беда. Под свисающей с плеч рваной курткой – тельняшка, заляпанное известкой трико подпоясано солдатским ремнем, на ногах – болотники с подвернутыми голенищами. На рыжем затылке висит длинная лыжная шапочка с красным помпоном. Н-да, походнички... Девочки словно бы на пикник собрались, отцы – в колхоз, а Градусов – вообще в армию батьки Махно.

– Опаздываете на пятнадцать минут, – строго говорит мне Бармин.

– Думали, совсем не придете, обломаете... – гнусавит Тютин.

– Надевайте свои сидоры, – велю я. – Дома ничего не забыли?

И тут раздается дикий крик. Люська закрывает лицо руками.

– Я сапоги забыла! – Она таращит глаза сквозь пальцы.

– Ну, все! – Я ожесточенно машу рукой. – Поход отменяется!

– Из-за нее одной все страдать должны?... – расстраивается Тютин.

– Да фиг с ее сапогами, – говорит Деменев.

– Дура, блин! – орет Градусов. – Корова! Чего из-за нее поход отменять, Виктор Сергеевич! Если она ноги промочит, я ей их на фиг оторву, чтобы не заболела, и все дела!

Маша смеется. Бармин глядит на часы.

– Да суетитесь живее, лопухи, – тороплю я.  
– Накололи, да? – доходит до Градусова, и он яростно пихает Тютину:  
– Шевели рейками, бивень! Из-за тебя опаздываем!

«Электропоезд Пермь – Комарихинская отправляется с пятого пути Горнозаводского направления!...» – грозно раскатывается над вокзалом.

Мы рысью пролетаем туннель и выскакиваем на перрон. Бармин, как фургон, уносится вперед, к полосатой роже нашей электрички. Остальные бегут за ним. Я предпоследний: за моей спиной надрывно сопит и подвывает Тютин.

Бармин прыжком взлетает в вагон и хватается за рукоять стоп-крана. Отцы с рюкзаками карабкаются на ступеньки. Я подсаживаю девочек. Визжит Тютин, которого сверху втаскивают за воротник, за рюкзак, за уши, за волосы. Я вспархиваю самостоятельно.

Двери съезжаются с пушечным грохотом. От толчка мы валимся на стенку тамбура – электричка трогается. Плывет за окнами привокзальная площадь с ларьками, рекламными щитами и разноцветными крышами машин, похожими после недавнего дождя на морскую гальку. Деревья под насыпью сквозисто-зелеными кронами замутняют город.

Мы едем. За окнами быстро смеркается. В вагоне включают неторопливый и неяркий дорожный свет. Почти все лавки пусты, пассажиров практически нет. Слева за окнами бледным отливом то и дело широко сверкает Кама. Воют моторы. Колеса стучат, как пулеметы, и трассирующие нити городских огней летят в полумгле.

Отцы долго собачатся, распахивая рюкзаки, потом садятся играть в карты. Я ухожу в тамбур, где сломана одна половинка двери, и сажусь на ступеньки. Я курю, гляжу в проносящуюся мимо ночную тьму и думаю о том, что я все же вырвался в поход. Пять дней – по меркам города немного. Но по меркам природы в этот срок входят и жизнь, и смерть, и любовь. Но по меркам судьбы эти пять дней длиннее года, который я проработал в школе. В эти пять дней ничто не будет отлучать меня от Маши, которую, может, черт, а быть может, Бог, в облике завуча первого сентября посадил за третью парту в девятом «А». Воз слепого бессилия, который я волок по улицам города от дома к школе и от школы к дому, застрянет в грязи немощенной дороги за городской заставой. Река Ледяная спасет меня. Вынесет меня, как лодку, из моей судьбы, потому что на реках законы судьбы становятся явлениями природы, а пересечь полосу ливня гораздо легче, чем пересилить отчаяние.

Я поднимаюсь и иду в вагон. Отцы режутся в дурака уже вяло, без гвалта. Только Градусов, точно розгами, яростно сечет козырями Чебыкина,

который кряхтит и почесывается. Тютин трет глаза кулаками. Маша прикорнула на плече у Овечкина, который незаметно и ласково приобнял ее сзади. Бармин напряженно смотрит в свои карты и задумчиво держит себя за нос. Из другого тамбура появляются Люська и Демон. У Деменева совершенно обалделый вид. У Люськи глаза хитрые и трусливые, зато восторженные. Понятно, целовались в тамбуре до легкой контузии. Я увещаю всех лечь спать. Все по привычке не желают.

Тогда я ухожу обратно. Мне здесь сидеть до Комарихи. Станция Дивья, станция Парма, станция Валёжная – снежная, таежная. Станция Багул, станция Ергач, станция Теплая Гора. Я жду, я караулю. И несется мимо неясная, еще льдистая майская ночь.

Сгорбясь под рюкзаками, стоим в тамбуре. За окном в мути проплывают глухие огни спящей Комарихи. На стекле дождь растворяет их в звезды, волны, радуги. Электричка тормозит, останавливается. Двери раскрываются. На улице – тьма и дождь. В потоке света из тамбура виден только какой-то белый кирпичный угол и голая ветка, отбрасывающая на него контрастную тень. Отцы, кряхтя, лезут вниз. Я – за ними. Дождь сразу ощупывает холодными пальцами волосы, лоб, кончики ушей. Отцы ежатся. Я закуриваю.

– Что, – говорю, – худо, Магелланы?

Молчат, даже Тютин молчит. Значит, действительно худо.

Цепочкой понуро бредем по перрончику мимо вокзала под горящими окнами нашей электрички. Полоса этих окон в темноте похожа на светящуюся фотопленку. В кустах у граненого кирпичного стакана водонапорной башни слышатся пьяные выкрики. Отцы прибавляют шаг.

За башней глазам открывается туманное, мерцающее дождем пространство, понизу расчерченное блестящими рельсами. Вдали смутно громоздится какой-то эшелон, светлеет голова другой электрички, ожидающей отправления в тупике. Туда и идем.

Я запикиваю школьников в пустой и темный вагон с раскрытыми дверями, а Градусову, который мне наиболее подозрителен, говорю:

– Градусов, без вещей на выход! Пойдешь со мной за билетами.

Злобно махая руками, Градусов выпрыгивает из вагона.

На вокзале у кассы толпятся брезентовые туристы, засаленные колхозники, какие-то драные бомжи. Окошечко кассы маленькое и необыкновенно глубокое, вроде штрэка. Такую кассу можно ограбить лишь силами крупного воинского соединения. Скорчившись, вытаскиваю девять влажных, липких билетиков. С огромным облегчением мы с Градусовым

выходим на улицу и вдоль путей идем к себе. Я на ходу пересчитываю билеты – точно, девять.

– Мужики, стоять!... – Из кустов возле водонапорки к нам вываливаются пятеро пьяных парней примерно моего возраста. Один хватает меня за рукав, другой цапает Градусова за шиворот.

– Мужики, помогите деньгами, – проникновенно говорит кто-то.

– Отпусти, козел! – тотчас орет Градусов.

Не успеваю я и чирикнуть, как Градусов врезает кулаком в глаз тому, кто держал его за шкурку. Все мои внутренности обрываются и шлепаются на дно живота. Ой, дура-ак!... Сейчас начнется битва на Калке!... Удар в челюсть откидывает Градусова на меня. Градусов кидается на врага. В неизмеримо короткий миг я успеваю выдернуть свою руку, перехватить Градусова уже в полете и развернуть в другую сторону. Я отвешиваю Градусову такого пинка, от которого тот уносится к нашей электричке. Я чешу за ним.

Матерясь и запинаясь о шпалы, парни преследуют нас.

– Ну, туристы, падлы, вычислим вас в электричке!... – отставая, кричат они нам вслед.

Мы с Градусовым тормозим только у дверей своего вагона.

– Фиг ли ты в драку-то лезешь, урод?! – хриплю я. – Они тут сейчас всю Комариху поднимут, колья пойдут выворачивать!...

Градусов молчит, вытирая шапкой лицо. Мы переводим дух.

– Нашим про это – ни слова! – предупреждаю я.

В вагоне горит свечка. Маша гадает Люське. Отцы слушают.

– Ты нагадай, чтобы хорошо получилось... – жарко шепчет Люська.

– Дура, что ли? – спрашивает Маша.

Меня все еще колотит после встречи с комарихинскими алкашами. Мне надо чем-то занять мысли, руки, чтобы не тряслись.

– Давайте пожрем, – говорю я. – До Ледяной больше не успеем.

Отцы лезут в рюкзаки, вытаскивают свертки с перекусами. Один только Демон остается в стороне. Он развалился на скамейке и положил ноги на соседнее сиденье.

– Что, перекус дома забыл? – спрашиваю я.

– А-а, неохота собирать было... – лениво отвечает Демон.

Я тупо гляжу на свои бутерброды. Все жуют. У меня в ушах все еще звучит: «Вычислим вас в электричке!...» Кусок в горло не лезет. Я пододвигаю свою снедь Демону:

– Лопай. От своих-то не дождешься, чтобы поделились...

Я иду в тамбур курить. Там уже стоит и курит Градусов.

– Чего не ешь? – спрашиваю я.

– Мне блевать охота, какая еда...

Вот уж не ожидал от Градусова такой ранимости. Мы молчим.

– А ведь у меня, Виктор Сергеевич, нож с собою был... – вдруг говорит Градусов. – Если бы вы меня не оттащили, я бы точно того козла пырнул... Ничего уже не соображал...

Я не знаю, верить ли Градусову. В четырнадцать лет все крутые.

– А если они полезут нас искать? – спрашивает Градусов.

Тоска подкатывает мне под горло. Почему всегда что-то отлучает меня от Маши? То одно, то другое, вот теперь – страх.

– Я пойду тогда к первому вагону, а? – предлагает Градусов. – Если придут, подерусь с ними, они и отвалят, дальше и не сунутся... Все равно нам на запасном пути еще два часа торчать...

– Я с тобой, – неожиданно для себя говорю я.

Мы выпрыгиваем под дождь и идем к головному вагону, усаживаемся на ступеньку тамбура.

– Вы, наверное, жалеете, что взяли меня... – бубнит сбоку Градусов. – Двоечник, в школе вам всегда подляны делал, тут чуть драку не устроил... А я вас только первые полгода ненавидел, а потом уже нет... Только остановиться не мог... Я и в поход-то напросился из-за вас, чтобы вам здесь помогать... Мне ведь компания-то эта совсем не нравится, чмошные все, особенно эта Люська Митрофанова... – Градусов помолчал, но я ничего не сказал. – Не верите... – горько кивнул он.

Он колупнул ногтем краску на стене и вдруг достал из своей гусарской курточки пузатую фляжку.

– Водка! Нажрусь щас назло вам!...

Он отвинчивает колпачок и пьет из горлышка. Я не гляжу на него. Он снова пьет. Потом переводит дух и глотает опять.

– Мне-то оставь, – говорю я. – Я тоже нажрусь.

Градусов подозрительно смотрит на меня, ухмыляется и протягивает фляжку. Я прикладываюсь и возвращаю ее.

– Вы серьезно? – с некоторым удивлением спрашивает Градусов.

А я чувствую, что я страшно устал. Устал от долгого учебного года, от города, и от похода тоже уже устал. Устал от Маши, от Градусова, от комарихинских алкашей, от себя. Устал от страха, от любви, от жизни. Устал от своих разочарований и от своих надежд, устал от своей непорядочности и от своей порядочности. А-а, катись все к черту.

– Серьезно, – говорю я. – Вместе нажремся. Идет?

– Вы встать-то можете?... – тормозит меня Овечкин.

Я сажусь на скамейке. Господи, как я сюда попал? Где я? Где мы? Что было? Ничего не помню, ничего не понимаю. Кошмар, что со мною! Я еще пьяный, но уже маюсь с похмелья. Сердце зашкаливает, душа в тело вставлена сикось-накось, раскаленный крест жжет мозги. Мимо меня по проходу вагона Бармин и Чебыкин волокут Градусова.

Я встаю, вдеваюсь в рюкзак и, шатаюсь, бреду в тамбур. Стук колес замирает, двери разъезжаются. Маша, Люська, Демон, Тютин, Овечкин, как парашютисты, прыгают в блещущую тьму. Из нее ко мне, как цветы, тянутся руки. Я валюсь на них, как телефонная трубка на рычаг. Сзади Бармин и Чебыкин спускают тело Градусова и выпрыгивают сами. Двери шипят. Электричка взывает и течет прочь.

Узкая тропа заменяет платформу. За полночь. Дождь. Пустынная темная станция, затонувшая в дожде и тьме, как Атлантида. Табуном мы бредем через рельсы к вокзальчику. Вокзал – это заколоченная и запертая хибара. Борман плюет на замок и сбрасывает рюкзак в грязь. Все поступают по его примеру, потом натягивают на головы капюшоны и садятся на завалинку под облупленной стеной.

– Слушайте, – говорю я, снимая кепку, чтобы дождь освежил башку. – Так пойдемте лучше к реке. До нее от станции...

– От какой станции? – мрачно спрашивает Борман.

– От Гранита, – тупо отвечаю я.

– Вот твоя станция, – говорит Борман и носком сапога переворачивает в луже ржавую, свалившуюся сверху табличку.

– Семичеловечья... – обалдеваю я.

– Семичеловечья – третья после Гранита, – печально поясняет Овечкин. – Проспали мы Гранит из-за вас, алкашей...

Трясущимися руками я достаю сигарету.

– Что, я сильно напился?... – робко спрашиваю я.

– Воще жара! – говорит Чебыкин и начинает хихикать. – К нам пришли и спросили: не наши ли там туристы? Мы говорим: наверное, это наш руководитель. Вы с Градусом сидели в первом вагоне, курили, плевались, матерились, песни орали. Ты нас увидел – полез под скамейку. Когда волокли тебя, ты ноги поджимал, цеплялся за все, ржал. Потом бухнулся к Машке на лавку, обнял ее, сказал, что она все равно будет твоей женой, и уснул.

Мне хочется залезть в какой-нибудь сосуд и похоронить себя в морской пучине, как старик Хоттабыч.

– Короче, мы тебя за пьянку свергли из начальников, – неохотно

информирует Овечкин.

– Нам такие начальники-бухгалтики не нужны, – беспощадно добавляет Борман. – Так что ты нам больше не командир, и звать мы тебя будем просто Географ. А все вопросы станем решать сами.

– О-ох... – стону я и, нахлобучивая кепку, ухожу во тьму.

К черту все. Завтрашние проблемы решу завтра. Сейчас я хочу спать. Я озираюсь, подыскивая место для ночлега. Невдалеке я вижу какой-то навес. Пустая лесопилка. Словно Бог подсунул...

По моргающим лужам шагаю обратно. Просторное мятое небо дымно пучится над головой. Тускло горит вдали одинокий фиолетовый семафор. Неприглядная, без единой искры деревня Семичеловечья по слякоти соскальзывает вниз с косогора черными, раздерганными копнами домов. Холодным ветром тянет с северного горизонта, как сквозняком из щели под дверь.

Издаലെка вижу отцов, съезжившихся на фоне некогда беленой стены вокзальчика. Они надвинули капюшоны, закутались в дождевики и штормовки, а вода все равно течет по головам, по плечам, по коленям. Дождь метет по перрону, бренчит на брошенной табличке с названием станции. Бедные отцы! Представляю, каково им – зябко, сыро, голодно, спать охота... Ночь длинная, дороги огромные, сил нет, будущее во тьме, никто не поможет, и командир – гад.

Раннее утро. Мы спим на дощатом настиле под навесом лесопилки. Мы залезли в спальники, прижались друг к другу и укрылись сверху полиэтиленовым тентом. Голубое небо размыто светится сквозь запотевший от дыхания полиэтилен.

Нам тепло, хоть и тесно. Спящий рядом Тютин лежит наполовину на мне, наполовину на Чебыкине. Я сдвигаю с себя свою половину Тютина и вылезаю наружу.

Над миром ясно и тихо. Вдалеке у ветхого забора на окаменевшем кряже сидит Маша. Прочие еще спят. Я иду к Маше, хрустя тонким льдом. Лужи обметаны припаем. На штабелях бревен искрится иней. Опилочная грязь затвердела так, что не продавливается сапогом. Воздух пахнет водой и остывшими дорогами.

Я усаживаюсь на комель рядом с Машей и закуриваю, спокойно любуюсь ею. Похмелья почти нет. Маша молчит.

– Зачем вы вчера напились, Виктор Сергеевич? – наконец спрашивает она, но я не отвечаю. Сам не знаю зачем. Так.

Мы с Машей молча глядим на спящую деревню Семичеловечью –

убогую, выцветшую, кривую, грязную. Улицы ее проваливаются в косогоры, как прогнившие доски настила в подпол. Топорщатся гребенки заборов. Цвет у мира – серо-голубой. Негасимые сумерки красоты. Вечный неуют северного очарования. Сдержанные краски, холодная и ясная весна. Сизые еловые острия поднимаются за деревней ровной строчкой кардиограммы. Сердцебиение Земли – в норме. Покой. Туманом катятся к горизонту великие дали тайги.

– Виктор Сергеевич, – осторожно говорит Маша, – а вы помните, что вам вчера пацаны сказали?

– Это что свергли меня? Помню. И очень этим доволен. Мне хлопот меньше. Пусть сами командуют. Я и в школе накомандовался.

Маша смотрит на меня как-то странно. Учитель, называется. Вытащил детей в глухомань, напился, и плывите, как хотите.

Я беззаботно подмигиваю Маше.

– Вы или врете, или ошибаетесь, – серьезно говорит Маша.

Я закуриваю и не отвечаю. Все-таки Маша – еще девочка, пусть красивая и умная, но еще девочка. Мне не суметь объяснить ей то, до чего сам я добрался с содранной кожей. Я знаю, что научить ничему нельзя. Можно стать примером, и тогда те, кому надо, научатся сами, подражая. Однако подражать лично мне не советую. А можно просто поставить в такие условия, где и без пояснений будет ясно, как чего делать. Конечно, я откачаю, если кто утонет, но вот захлебываться он будет по-настоящему.

И жаль, что для отцов, для Маши я остаюсь все-таки учителем из школы. Значит, по их мнению, я должен влезть на ящик и, указывая пальцем, объяснять. Нет. Не дождетесь. Все указатели судьбы годятся только на то, чтобы сбить с дороги.

Из-под тента, где лежат отцы, до нас с Машей начинают доноситься глухие голоса. Я слышу обрывками: «Географ... Географ...»

– Пойдем послушаем, – предлагаю я Маше.

– Подслушивать некрасиво.

– Зато увлекательно и поучительно, – отвечаю я и иду один.

– Из-за вас, алкашей, станцию проспали... – ноет Тютин.

– Заткнись, Жертва! – огрызается Градусов. – Сами бы и вставали!

– Надо решать, а не базарить, – замечает Овечкин.

– Домой надо ехать... – убито говорит Тютин.

– Фиг ли домой? По теплomu сортиру заскучал?

– Вернемся обратно на Гранит... – предлагает Чебыкин.

– День потеряем, – хозяйственно вздыхает Борман.

– Погребем по-пырому, да и наверстаем, – говорит Чебыкин.

– Сам гребь! – не соглашается Демон. – Я что, ишак?  
– Дам в пилораму, и погребешь! – рычит Градусов.  
– Может, спросить у Географа, где есть речка покороче, да и поехать туда? – предлагает Овечкин. – И поплаваем, и не опоздаем...  
– На хрена ехать еще куда!... – пугается Демон. – Уйдем за деревню, поставим палатку, все сожрем, выпьем – и домой!  
– Чего вы орете... – ворчит Люська. – Пусть Географ решает.  
– Снова ему доверять? – скептически хмыкает Борман.  
– Дак че, – удивляется Люська. – Ну напился он вчера... У меня папка тоже сперва напьется, а потом все починит, лучше, чем было.  
– Нет, решать будем сами, – твердо заявляет Овечкин.  
– А можно я предложение внесу? – громко спрашиваю я и вылезаю на помост лесопилки. Отцы подозрительно затихают.

– По карте в десяти километрах от Семичеловечьей течет речка Поньш. Она впадает в Ледяную как раз напротив Гранита. Давайте поплывем по ней, а закончим маршрут в деревне Межень. Пойдет?

– А ты ничего не намудрил? – неуверенно спрашивает Борман.

– Чтобы я напутал? – удивляюсь я. – Кто из нас всех Географ?

У конторы леспромхоза я договариваюсь с водилой, что за литр он довезет нас до Поньша. У могучего КраЗа длинная, хищная, волчья морда, словно кровью, заляпанная пятнами грунтолки. Девочек я сажаю в кабину, а отцы привязывают рюкзаки на площадку сзади. Мы усаживаемся. Поливая грязь струей солярного выхлопа, лесовоз трогается, вытягивая за собой длинный прицеп с рогами, напоминающий орудие на лафете.

Щебневая дорога прет напрямик по увалам. Нас валяет с боку на бок и подбрасывает. Мы цепляемся друг за друга. Тютин при толчке пинает себя коленом в скулу и лезет в рот грязным пальцем ощупывать зубы. Дизель ревет, лязгают цепи, которыми скрепляются штабеля бревен, подскакивает и грохочет прицеп-тележка, мотая рогами.

По обе стороны трассы громоздится тесный, вековой ельник, в толще которого вдруг проскакивают белые нитки берез. Снег в нем только начал сходить, и наст кое-где изъеден обугленными разводьями проталин. Косой валежник оброс бурой пеной из плесени. Проселки, как выстрелы, внезапно хлопают по глазам неожиданным светом. На обтаявших, грязно-волосатых полянах топорщатся треноги из жердей для будущих стогов. А иногда на плече кряжа лес расступается, и мы видим синие, холмистые дали, исчезающие в дымке, и над ними – кривые изломы далеких, высоких шиханов.

Наконец после очередного поворота вниз под склоном взблескивает

извив реки. Большая пролысина вырубки, вся заросшая мелкими березками, боком сползает от дороги к берегу.

Наш лесовоз останавливается. Отцы спрыгивают, ковыляя на занемевших ногах. Я достаю две бутылки водки и лезу в кабину.

– Ты у них учитель, что ли, какой? – спрашивает водила, принимая бутылки. – Чего учишь?

– Географию, – говорю.

– Я тоже в школе любил географию... – мечтательно говорит водила. – Молодец парень. В наше-то время хочешь еще чему-то научить этих оболтусов... На! – И он вдруг протягивает мне обратно одну бутылку. – Держи. Вам небось она нужнее будет.

– Спасибо... – растерянно отвечаю я.

Поныш, который летом был шириною едва ли в двадцать шагов, сейчас разлился так, что затопил ельник на противоположном берегу докуда хватает глаз. Весна выдалась поздняя и дружная. Талые воды со склонов гор, из урочищ хлынули сплошным потоком. Этот поток стремительно нес сорванные ветки, источенные льдины, куски мха и дерна, недогнившую листву, обломки коры, черную траву. На стволы деревьев накрутило юбки из бурого мочала. Грязная пена тянулась по быстротоку, сбивалась в комья над водоворотами. Поныш был мутным, как самогон.

Наши рюкзаки распотрошены, а вещи разбросаны среди чахлых березок. Я обучаю отцов правильной укладке. Напялив красные спасжилеты, отцы, ругаясь, уныло бродят по берегу, волоча свои шмотки то в одну кучу, то в другую. Управляемся еле-еле за полтора часа.

– А теперь надо жерди для каркаса вырубить, – говорю я.

Отцы насупленно сидят общей кучей и злобно курят. Я фальшиво насвистываю, поигрывая топором. Наконец в насупленной куче зарождается угрюмое бурчание, которое постепенно перерастает в яростную брань. Отцы решают, кому идти за жердями. Наконец из кучи задом наперед на четвереньках вылетает Тютин, встает, забирает у меня топор и, хныкая, сутулясь, утаскивается в березки. Все сидят, ждут, молчат, курят. Я тоже. Тютин возвращается с охапкой тоненьких сосенок.

– Это слишком хлипкие, – говорю я. – Нужны попрочнее.

– Ты, блин, Жертва, дергай снова за дубинами! – орет Градусов.

Девочки уходят в сторону и, отвернувшись, усаживаются на берег. Отцы лежат. Я молча курю. Тютин поодаль стоит в кустах, как олень.

– Ладно, – говорю я. – Пусть каркас будет из тонких жердей. Но учтите: я предупреждал, что они могут сломаться.

Я объясняю, как строится катамаран. Показываю, как накачивать гондолы. Всем сразу кажется, что это самое легкое. Градусов, Демон и Овечкин устремляются ко мне. В свалке Градусов овладевает насосом и бьет им всех по голове. Что ж, пусть качает Градусов.

Я учу вязать раму. Все с мрачным предчувствием смотрят на меня, обступив полукругом и засунув руки в карманы. Молчат. Я вяжу. Все смотрят. Я вяжу. Все смотрят. Я говорю:

– Человек может смотреть бесконечно на три вещи в мире: на горящий огонь, на падающий плевок и на чужую работу.

Борман, тяжело кряхтя, присаживается на корточки и тоже берется за веревки. Нехотя к нему присоединяется вздыхающий Чебыкин. Потом понурый Овечкин. Демон и Тютин по-прежнему лежат в березках.

Катамаран пусть и медленно, но строится. К шаткой раме из тонких жердей мы приматываем четыре гондолы – по две в ряд. Потом натягиваем сетку, прикручиваем чалку и уже дружно спускаем свое судно на воду. Все задумчиво разглядывают его.

– Эротично получилось, – говорит Чебыкин.

– У нас в деревне тоже один мальчик плавал-плавал на надувной лодке и утонул, – тихо говорит Тютин.

Все надолго замолкают.

– Бивень, – наконец говорит Градусов.

– Ну, делите места, – предлагаю я. – Мое – справа на корме.

Справа на корме – это место командира. Отцам же почему-то кажется, что места на корме – чуханские, а вот барские места только на носу. Градусов падает ничком на передок правой гондолы, обхватывает его руками и орет, что всем сокрушит пилораму. Чебыкин и Овечкин отдирают его. Тютин прыгает вокруг, пока градусовский сапог случайно не заезжает ему под дых. Тютин укладывается на землю лицом вниз и молчит. Пока Чебыкин и Овечкин дергают за ноги в разные стороны Градусова, Борман быстро и деловито пришнуровывается на передок левой гондолы. Ушлый Демон пристраивает свое барахло за спиной Бормана. Потом вчетвером они все-таки отрывают бьющегося Градусова. Чебыкин ловко занимает правое носовое место, а Овечкин – место за спиной Чебыкина. Градусов выдергивается из рук Бормана и Демона и начинает отрывать от катамарана крепко пришнурованный к каркасу рюкзак Чебыкина. Все вновь оттаскивают Градусова и кричат ему, что алкаши сидят на корме и не рыпаются, например Географ. Градусов бешено плюет на рюкзак Чебыкина и идет на корму. Я помогаю устроиться девочкам – Люське перед Градусовым, а Маше перед собою. Оклемавшийся Тютин поднимается и

видит, что ему осталось место лишь посередине катамарана. Надо только выбрать, где сесть – справа или слева. Тютин берет весло, забирается зачем-то на бугор и веслом долго, вдумчиво машет там, примериваясь, с какой руки ему будет удобно загребать. Выясняется, что удобнее с левой. Он укладывает свой рюкзак на левую гондолу. Градусов грозит, что если увидит перед собой черепок Жертвы, то сразу раскроит его на фиг. Тютин, вздыхая, покорно переползает на правую гондолу. Сражение утихает.

– А теперь, – говорю я, – нужно идти за дровами на обед.

Отцы неподвижно сидят в березках – злые и молчаливые. Курят.

– Пацаны... – жалобно просит Люська. – Чего вы как эти... Борман...

– А фиг ли я?! – огрызается Бармин. – Всегда: Борман! Борман!...

Самый резкий, что ли? Вон Демон пусть идет!

– Я не могу. Я руку порезал. Вот, смотрите.

– Ты чего грабли свои суешь мне в харю?! – орет Градусов. – Отжимайся! Я тоже ногу стер! Ну и что?

– Нога – не рука, ею дрова не рубить.

Свара разгорается с новой страстью. Вскоре уже все орут, бьют себя в грудь, швыряют друг другу топор и размахивают увечьями. Тютин постепенно откочевывает к кустам.

– Виктор Сергеевич, – утомленно говорит Маша. – Вы же видите – никакого костра они не сделают... Может, устроить просто перекус?

– Во-первых, – отвечаю я, – они уже все сожрали, что взяли из дома...

– Я не сожрала, – быстро вставляет Люська.

– Во-вторых, – продолжаю я, – потерпите, девчонки. Так надо. А в-третьих, пойдемте в лес и слопаем Люськины пироги втроем.

– Нехорошо втроем, – твердо говорит Маша. – Делить – так на всех.

– Маша, – говорю я. – Не старайся понять меня, а просто поверь.

Потом сама увидишь, что я окажусь прав.

Маша растерянно молчит.

– Да верит она вам, только выделяется, – говорит Люська.

– Дура, – краснея, отвечает Маша.

Мы втроем уходим в лес и там съедаем Люськины бутерброды, вафли и чипсы. Когда через полчаса мы возвращаемся, отцы в живописных позах угрюмо лежат на берегу.

– Вон дрова... – цедит мне Градусов и носком сапога поддевает небольшую кучку срубленных березок.

Я поднимаю одну березку и сгибаю ее подковой.

– Это не дрова, это веревки сырые, – говорю я. – К тому же их мало. И где рогадины для костра? Где перекладина? Где котлы с водой? Где огонь?

Отцы не отвечают.

– В общем, так, – подвожу итог я. – Чтобы найти место для ночевки, мы выплываем прямо сейчас. Позавтракаем и пообедаем в ужин.

И вот мы плывем. Я так долго ждал, когда же смогу вложить реальное содержание в эти простые слова: мы плывем. Запястьями, висками, кончиками ушей я ощущаю влажную свежесть воздуха. От каждого гребка на желтой воде закручиваются две воронки, и узор их напоминает рельеф ионической капители. Когти тоски, что целый год ржавели в моей душе, потихоньку разжимаются. Мне кажется, что впервые за долгое время я двигаюсь по дороге, которая приведет меня к радости.

Отцы вдруг забыли, что они голодные и уставшие. Они ошалели от того, что по-настоящему плывут по настоящей речке в настоящей тайге. Они бестолково гребут в разные стороны и гогочут.

– Эротично!... – балдея, бормочет Чебыкин.

Поныш стремительно катится среди ельников – блестящая, янтарная от заката дорога между двух черных, высоких заборов. Над рекой стоит шум – журчат кусты, гулом отзывается пространство. Мимо нас совсем рядом – хоть веслом дотянись – мелькают еловые лапы. Вечер сгустил все краски, в цвета тропических рыб расписал хвосты и плавники облаков. Дикий, огненный край неба дымно и слепо глядит на нас бездонным водоворотом солнца. Надувная площадка и пригоршня человечков на ней – посреди грозного таежного океана. Это как нож у горла, как первая любовь, как последние стихи.

– Географ, а что это там впереди? – спрашивает Борман. – Дом?

– Может, Пермь? – с надеждой предполагает Тютин.

– Доплывем – увидим, – говорю я.

– Блин, это же скалы!... – кричит Чебыкин.

По длинной дуге мы несемся вперед. И вот из-за поворота навстречу нам и вверх лезут каменные стены. Ельник оттягивается в сторону, как штора.

Не просто огромная, а чудовищно огромная скала, как гребенчатый динозавр в траве, лежит на левом берегу в еловых дебрях. Чебыкин длинно свистит от ужаса или от восторга. С таким свистом падает бомба. Отцы перестали грести, уставившись на каменные кручи.

На общем скальном фундаменте, вдоль которого летит Поныш, громоздятся два кривых утеса. Левый сверху расколот на три зубца, а правый расщеплен на четыре. И между утесами фантастическим сверлом ввинчивается вверх, разбухая на конце, узкая щербатая башня – Чертов Палец. Семь пиков – семь Братьев, скала Семичеловечья. Еловые копы

вонзаются Братьям под ребра.

Поныш затягивает нас под скалу. Мы дружно задираем головы. Грубая кладка. Старые сколы. Дуги пластов словно потрескивают под давлением неимоверной тяжести. Трещины и рубцы, покрытые размывами внешних водостоков и бурым лишайником. Из расщелин, как орудийные стволы из амбразур, торчат обломанные стволы рухнувших сверху деревьев. И еще языки каменных осыпей, и груды валежника в теснинах, и мертвая твердь монолита за ветвями засохших елок. А по гребню на страшной высоте – кайма сосновых крон, алых от заката.

И вдруг Борман начинает орать, судорожно дергая веслом. Я роняю взгляд с вершин на реку. Волосы ходуном прокатываются по моей голове. Поныш под скалой словно бы спотыкается о длинную плиту поперек русла и летит кувырком. Блестящий слив скатывается по плоскости плиты и, как нож, вонзается в бурлящую пенную кашу, из которой вылетают фонтаны брызг.

Наш катамаран боком заходит в струю. Через миг нас перевернет.

– Левый борт, гребите! – ору я.

– Табань! – орет Борман.

– Чеба, раззява, убью! – орет Градусов.

– Назад! – тонко вопит Чебыкин.

– Поворачивай! – верещит Овечкин.

– А-ы-ы!... – взывает Тютин.

Я табаню, всем корпусом откинувшись назад и носками сапог закрючив перекладину каркаса. Цевье весла хрустит от напряжения, а из-под лопасти ползет пена. Катамаран вздрагивает, поворачивая бегемотово рыло навстречу препятствию. Мне кажется, что в спине у меня от натуги рвутся веревки. Мы вплавляемся в слепящее на закате зеркало потока и в упор ухаем вниз по сливу.

Белое клочкотание проглатывает Бормана и Чебыкина, потом Демона и Овечкина. Катамаран прогибается посередине, и даже сквозь обвальный грохот воды я слышу треск лопающегося каркаса. Отцы выныривают, а пенный язык катится через Тютина и расшибается о коленки Маши и Люськи. Словно получив пинок, мокрый катамаран вылетает из порога, едва только чиркнувшего нас с Градусовым по сапогам.

И тут я вижу, как Тютин вдруг начинает медленно погружаться в каркас. Тютин молчит. На лице у него остаются лишь пугающей величины глаза и маленький, плотно сжатый рот. Каркас разломился прямо посередине, где стыкуются две пары гондол – то есть под Тютиным. И теперь катамаран медленно разделяется на две половинки.

– Держи Жертву!... – первым орет Градусов.

Маша, Люська и Овечкин дружно вцепляются в Тютин, который торчит из каркаса уже по пояс, как Иван Коровий Сын из сырой земли. Теперь Тютин – единственное связующее звено между двумя половинками нашего катамарана. Он висит между ними по грудь в воде, как амбарный замок между створками ворот.

– К берегу! – команду я.

Полянка подвернулась сразу после Семичеловечьей, под ее левым плечом. Озверев от передраг, отцы выволакивают катамаран на берег и набрасываются на работу, словно сказочные молодцы. Вмиг образуется лагерь – кострище, гора рюкзаков и палатка, огромный десятиместный шатер. Не переодеваясь, отцы мчатся за дровами и через секунду уже возвращаются. Овечкин тащит охапку сухих сосенок, Демон – еловые лапы, Тютин – трухлявую валежину, Чебыкин – пень. Градусов позади всех, выпучив глаза и оскалившись, прет огромное бревно, вспахивая им землю, как плугом. Стараясь успеть до темноты, разжигаем костер, развешиваем на просушку одежду, рубим дрова, вяжем новый каркас для катамарана.

Закат стекает к горизонту, и над еловой пилой гаснет последняя багровая полоса. Четыре зубца Семичеловечьей еще освещены, а остальное заволакивают сумерки. По затопленному лесу на другом берегу пробираются гривы тумана. В воздухе словно плавают призраки – как тени, отслоившиеся от вещей. В насыщенной синеве неба над хищными елками ярко зажигается Луна – белое волчье солнце.

Жизнь в нашем лагере постепенно стягивается к костру. Девочки чистят картошку на ужин. Вбитые кольшки обрастают распяленной для просушки одеждой, как огородные пугала. С ветвей березы на краю поляны, как паруса, свисают подмокшие спальники.

– Какой хрен на мой спальник свое паршивое шмотье повесил? – орет от березы Градусов. На фоне звездного неба, как птицы, пролетают штаны и свитер.

Тьма сгущается окончательно. Я чувствую, что к лицу, к рукам словно прикасается тонкая, холодная паутина. Это ложится ночная роса. В свете костра наша поляна похожа на остров, всплывающий из пучины мрака вверх к луне. Огонь то стелется по углям, то под ветром с реки напряженно топорщится в разные стороны и дрожит. При сполохах из окружающей черноты, как морды любопытных лесных страшилищ, высовываются вдруг то березовые рога, то усы тальника, то вынюхивающий нос пня, то

насупленные еловые брови. Стена Семичеловечьей, встающая над нашей поляной, в плещущем свете костра похожа на занавес из багрового бархата, который под ветром величественно колыхается, опадает и снова вспучивается.

На ужин мы тушим картошку. Должность шеф-повара выбрал себе Градусов. Отцы тоже вертятся вокруг котлов, то подкладывают дрова, то просовывают ложку, чтобы попробовать. Градусов лупит всех по рукам, по затылкам поварешкой и командует:

– Борман, открывай консерву!... Уйди отсюда, сволочь, со своей помощью! Щас как помогу сапогом по зубам, всю пенсию на стоматолога потратишь!... Овчин, бивень, ты чего по костровой варежке топчешься?... Перцу надо! Чеба, у тебя перец?... Демон, сбрызни, последний раз говорю!... Жертва, неси полено! «Зачем, зачем» – по башке тебе треснуть, вот зачем!... Митрофанова, какого фига картошку так крупно порезала? В рот не влезает!...

– Т-що тебе не нравится? – возмущается Люська. – В твой-то рот, да чтоб не влезло? Орешь, как потерпевший...

Наконец и картошка, и чай готовы. Их ставят на землю. Маша с поварешкой готовится раздавать. К ней со всех сторон тянутся тарелки. Градусов, ругаясь, пролезает вперед, отпихивая Демона.

– Кто глазки пучит, ничего не получит, – строго говорит ему Маша и первым накладывает Тютину.

Но drobный стук ложек неожиданно быстро замедляется. Картошка пересолена так круто, что у меня трещит в щеках.

– Кто, хаты, солил, кроме меня? – сипло спрашивает Градусов.

– Ну, я, – с достоинством говорит Борман. – Я люблю солененькое.

– И я, – удивляется Люська. – Дак че, там недосолено было...

– И я, – добавляет Чебыкин. – Но только одну ложку.

– И я ложку, – кается Овечкин.

– А у меня камушек упал... – пищит Тютин.

– Какой камушек?... – жалобно спрашивает обалдевший Градусов.

– Соляной камушек... Из пакетика...

– А ты-то, Жертва, как к котлу прокрался? – Градусов, кажется, едва не плачет. – Ты же в кустах ползал, барахло свое искал...

– Ну... искал сапоги, которые ты выбросил, заодно и посолил.

– Нет уж, – решительно заявляю я и отставляю тарелку. – Лучше быть сегодня голодным, чем завтра холодным. Давайте водку пить.

Приуныв, голодные отцы отставляют тарелки. Однако Градусов с потом на висках упрямо давится картошкой.

– Если еще хоть капельку съем – точно проблююсь, – хрипит он и, как нож в сердце, втыкает ложку в рот. Мгновение он сидит зажмурившись, с полной пастью. Потом закрывает ладонью рот и мчит в кусты. Возвращается он бледный, на дрожащих ногах. Молча зачерпывает кружкой из котла чаю и делает сладострастный глоток. Тотчас его глаза вывинчиваются из орбит, и он опять улетает в кусты.

– Смотреть надо, из какого котла черпаешь, – назидательно говорит Тютин. Отцы ржут, валясь друг на друга.

Борман встает и, утирая глаза, уходит. Через минуту он приносит большую емкость с водкой и бутылку вина.

– Для девок, – грубо поясняет он. – Небось водку они пить не станут...

Люська визжит и хлопает в ладоши. Маша улыбается. Из кустов, шатаясь, выходит несчастный, прозрачный Градусов.

– За что выпьем? – разлив, хозяйственно интересуется Борман.

– Давайте за Географа, – бескорыстно предлагает Чебыкин. – Что не насвистел и по-настоящему взял нас в поход.

– И чтоб вы его в командиры вернули, – добавляет Люська.

– Нет. За Географа, конечно, выпьем, но в командиры его не вернем, – строго ограничивает Борман, и мы выпиваем.

– Дак кто ж тогда у нас командир? – наивно спрашивает Люська.

– А на фиг он нужен? – пожимает плечами Демон, приобнимая ее.

– Мы все – командиры! – гордо заявляет Чебыкин.

– Вы, пацаны, конечно, все командиры, – говорит Люська, – токо катамаран сломали, да не жрали ни в обед, ни в ужин...

– Так выбирайте одного командира, – подсказываю я.

– Давайте Чебыкина, – тотчас предлагает Люська.

Демон обиженно убирает руку с Люськиной талии.

– Ты что, дура? – изумляется Чебыкин. – Не-е, я не умею...

– Тогда давайте Деменева, – молниеносно меняет мнение Люська.

– Куда, на хрен, Демона! – орет Градусов. – Ему же все пофиг!

– Тогда Овечкина, – говорит Люська.

– Я свою кандидатуру снимаю, – солидно говорит Овечкин. – А ты, Митрофанова, что – секретарь у нас?

– Дак че! Вы же молчите! Надо же кому-то предлагать!

– Я хочу быть командиром, – скромно заявляет Тютин.

Отцы роняют кружки, хватаются за животы, валятся с бревен. Маша хохочет так звонко, что отзывается эхо на Семичеловечьей.

– Уйди, уйди, Жертва! – визжит Градусов, пихая Тютина. – Уйди, щас умру!...

Когда все отсмеялись, Градусов утирается и заявляет:

– В общем, меня надо командиром.

– Тебя? – хором удивляются все.

– А кого же еще? Вас, что ли, бивней?

– Дак ты ж дурак... – обескураженно говорит Люська.

– Ты все время орать будешь, – боязливо добавляет Тютин.

– Я?! Да когда я орал, ты, скот?! – орет Градусов.

– Орешь – больше, чем вешишь, – соглашается с Тютиним Маша.

– Чего гадать, один Борман и остался из нормальных, – просто решает проблему Чебыкин.

– Уж если не Виктора Сергеевича, то Бормана, – поддерживает Чебыкина Маша.

– Бормана, да? – кривится Градусов и злобно плюет в костер. – Ну ладно! Ну и выбирайте себе Бормана, если такие пробитые! Только мне он не начальник! Я ему подчиняться не буду!

– Да и фиг с тобой, – спокойно говорит Борман.

Мы пьем дальше. Летят в костер дрова, летят в кусты пустые бутылки, летит к небу огонь, летят звезды, летит и кружится мир в моей голове, летит время.

– Я еще никогда столько не пил!... Я еще никогда таким пьяным не был!... – изумляется Чебыкин, подставляя кружку.

– Водки? – спрашивает Борман, когда у девочек кончается вино.

– Капельку, – говорит Маша. – Я раньше никогда ее не пробовала...

– А я и пробовала, и пила! – заявляет Люська. – Сто раз! Однажды на дне рождения у Цыплакова...

– Лю-ся, – укоризненно одергивает ее Маша.

– У нас в деревне в прошлом году один мальчик напился водки и умер, – рассказывает Тютин.

Голова моя полна цветного тумана.

Тютин напивается первым. Это замечают, когда он вдруг затягивает какую-то заунывную песню. Борман оттаскивает Тютина в палатку. Оттуда недолго еще доносится пение, но потом стихает.

Следующей приходит очередь увлекшегося Чебыкина.

– Что-то я уже напился так эротично... – бормочет он, осоловев.

По кривой он тоже уходит в палатку и больше не возвращается.

Вскоре от компании откалывается Градусов. Какое-то время он что-то ожесточенно втолковывает пню на поляне, потом вообще исчезает. Через пять минут из кустов доносится могучий храп. Мы с Борманом идем туда. Градусов спит на земле, шинка его расстегнута. Называется, погрузился

в сон, не надев кальсон. Вдвоем с Борманом мы штабелируем Градусова с Тютиным и Чебыкиным.

Демон, видимо, намеревается спить Люську с какими-то темными целями. Он все подливает ей и себе. Люська хлещет водку и лишь румянится, а Демон с оловянными глазами уже раскачивается по кругу. Борман за воротник ставит его на ноги и нацеливает на палатку. Демон с трудом, но попадает туда. Доносится его сладкий голос:

– Люсенька, дорогая...

– Убери протезы, бивень! Щас как дам в пилораму – будет тебе Люсенька дорогая!...

Мы хохочем. Люська выразительно смотрит на Бормана. Смущенно покряхтывая, Борман предлагает ей прогуляться. Они уходят в лес. Я остаюсь с Машей и Овечкиным. Краем глаза я вижу, как Овечкин осторожно берет в руки Машину ладошку. Н-да, третий – лишний... Я забираю остатки водки в бутылке и отправляюсь на берег Поньша.

Я сижу на берегу Поньша, пью водку, курю, смотрю на затопленный лес, на туманную от луны реку, на скалу Семичеловечью, которая призрачными парусами белеет вдали. До меня долетает шум порога, разломившего наш катамаран. Все небо над Поньшем заполнено серебряными серпами, треугольниками, бумерангами.

Хмельная тоска сосет душу. В голове звучит только одно: Маша... Маша... Маша... Я готов утопиться от того, что настолько неравен с ней. Я до хрипа в груди завидую сейчас Овечкину. Я допиваю водку и по топкому берегу лезу умываться. Я бросаю в глаза холодную, тяжелую воду, а потом погружаю в нее лицо и руки. Пусть река смывает мои желания, как грязь. Разве я не обрел того, чего хотел?

Я возвращаюсь на поляну и лезу в палатку, холодную и темную.

– Виктор Сергеевич, а что завтра делаем? – тихо спрашивает Борман.

– До обеда лезем на Семичеловечью, потом – плывем...

– Может, не полезем? Времени-то мало...

– Надо, Борман, – твердо говорю я. – Иначе зачем в поход идти?

– Ну, как скажете. А я вот дежурных на завтра забыл назначить.

– Назначай меня, – советую я. – Все равно я первым проснусь.

– Тогда берите в напарники Градуса, раз вы такие друзья...

В палатку заходят Маша с Овечкиным. Пошептавшись, они расползаются по своим местам. Машино место – между мной и Люськой. Я специально лег так, чтобы оградить собою девочек от ночных посягательств пацанов. Я тихо протягиваю руку. Маша ложится на нее. С минуту она лежит неподвижно, словно ждет, что я руку вытащу. За эту

минуту с меня сходит семь потов.

Потом Маша поворачивается ко мне спиной и устраивается на моей руке поудобнее. Я бесшумно обнимаю Машу и прижимаю к себе. Затем ладонь моя накрывает Машину грудку. Я целую Машу в макушку.

И вдруг в тютинском спальнике словно взрывается граната.

– П-Р-Р-Р!!! – дико тарахтит Тютин и спросонок бормочет: – Ой, мамочка... П-Р-Р-Р!!!

Некоторое время над нами по инерции висит тишина, а потом и я, и Борман, и Овечкин дружно раздражаемся гомерическим хохотом. И Машина грудка мелко клюет меня в ладонь. Мы ржем до кашля, до хрипа. Тютин дрыхнет по-прежнему безмятежно. Я вытаскиваю руку из-под Машиной головы – какая уж тут любовь? – и поворачиваюсь к Маше спиной.

## Вторые сутки

Я просыпаюсь в таком состоянии, словно всю ночь провисел в петле. Еще не открыв глаза, я вслушиваюсь в себя и ставлю диагноз: жестокое похмелье. О господи, как же мне плохо...

Все еще спят. Я вываливаюсь из палатки на улицу. Холодно, как в могиле. Моросит. Стена Семичеловечьей покрыта морщинами, словно скала дрожала от стужи, когда застыла. Над затопленным лесом холодная полумгла. Где вчерашнее небо, битком набитое звездами? Сейчас оно белыми комьями свалено над головой.

По нашему лагерю словно проскакали монголо-татары. Все вещи разбросаны. Тарелки втоптаны в грязь. В открытых котелках стоит вода. В черных, мокрых углях кострища – обгорелые консервные банки.

Я бреду к кострищу и усаживаюсь на сырое бревно. Дождь постукивает меня в голову, словно укоряет: дурак, что ли? Дурак. Раз напился, так, конечно, дурак. Я закуриваю. В голове начинает раскручиваться огромный волчок. Хочется пить. Хочется спать. Нич-чего не хочется делать.

Похмелье, плохая погода – они не только в моем теле, не только в природе. Они в душе моей. Это у души трясутся руки и подгибаются ноги. Это у нее мутно в голове и ее тошнит. Это в ней идет дождь и холод лижет кости. А сам я – это много раз порванная и много раз связанная, истрепанная и ветхая веревка воли. И мне стыдно, что вчера эта веревка снова лопнула.

Мне стыдно перед Машей, что я вчера распустил руки. Ведь она девочка, еще почти ребенок, а я вдвое старше ее и вдесятеро искушеннее, в сто раз равнодушнее и в тысячу раз хитрее. Для нее, примерной ученицы, я не парень, не ухажер. Я – учитель. А на самом деле я – скот. Я могу добиться от нее всего. Это несложно. Но что я дам взамен? Воз своих ошибок, грехов, неудач, который я допер даже сюда?... Куда я лезу? Маша, прости меня...

Мне стыдно перед Овечкиным. Иззавидовался, приревновал... Нос разъело. Переехал ему дорогу на хромой кобыле. Пусть уж простит меня Овечкин. Хоть бы он ничего не заметил!... Я больше не буду.

Мне стыдно перед отцами. Свергли меня – мало, да? Опять напился! Изолировал их от девочек – мол, держать себя в руках не умеете. Не доверяю, мол. А сам?... Бивень!

Все. Самобичевание изнурило меня. Зоркие мои глаза давно уже видят прислоненную к противоположному бревну открытую бутылку. В ней настойка водки на рябине. Есть водка на рябине – значит, есть Бог на небе. Я беру бутылку и пью из нее. Потом я начинаю заниматься делами. Мир беспощаден. Помощи ждать неоткуда. Мне даже Градусов не помогает, хотя, между прочим, он сегодня тоже дежурный. Я разжигаю костер, отогреваюсь в его тепле и иду мыть котлы. Потом ворошу мешки с продуктами и начинаю варить кашу на завтрак. Конечно, между делом не забываю и о бутылке. Когда она иссякает, завтрак готов. Я трясущими руками трясу шест палатки и ору: «Подъе-ом!... Каша готова!»

Я решил: кончено. Маши больше нет. Я никого не люблю.

Вершина Семичеловечьей – это плато, поросшее соснами. Оно полого скатывается к торчащим над обрывом зубцам Братьев. Между зубцами – ступенчатый лабиринт кривых, мшистых расселин, загроможденных валежником.

Мы выходим к кромке обрыва. Внизу – страшная пустота. Впереди, до горизонта, разливается даль тайги. Тайга туманно-голубая, она поднимается к окоему пологими, медленными волнами. И нету ни скал, ни рек, ни просек, ни селений – сплошная дымчатая шкура.

– Эротично!... – бормочет Чебыкин, восторженно озираясь.

Прямо перед нами беззвучно поднимается жуткий идол Чертового Пальца. Кажется, он вырастает прямо из недр ископаемой перми, от погребенных в толще костей звероящеров. Он гипнотизирует, как вставшая дыбом кобра. Я чувствую его безмолвный, незрячий, нечеловеческий взгляд сквозь опущенные каменные веки.

– Фу, как смотрит... – ежится Люська.

Отцы поскорее проходят мимо каменного столба.

– Географ, а в эти ущелья соваться-то можно? – спрашивает Чеба.

– Суйтесь, – разрешаю я. – Только не звезданитесь откуда...

Чебыкин исчезает в одном из ущелий. Остальные почему-то медлят. Неожиданно Чебыкин показывается на одном из зубцов-Братьев.

– Эгей, бивни-и!... – орет он и машет руками.

– Слезай немедленно!... – хором в ужасе кричат Маша и Люська.

Но Чебыкин, довольно хохоча, карабкается дальше, исчезает за выступами, спускается в расщелины, появляется снова, ползая по скалам, как муха. С ледяным шаром в животе я слежу за его передвижением. Я боюсь даже вздрогнуть, словно этим могу его столкнуть. Отцы кричат, инстинктивно сжимая кулаки и напрягая мышцы. Люська закрывает лицо ладонями. Я трясущими руками вставляю в рот сигарету фильтром

наружу и прикуриваю ее, ничего не замечая. Чебыкин взбирается на последний, самый высокий, острый и недоступный зубец. Он что-то вопит, размахивает шапкой, поворачивается к нам задом и хлопает по нему.

– Ну, все, конец Чебе, – цедит сквозь зубы Градусов.

– Там пещера-а!... – доносится до нас крик Чебыкина.

Потом он быстро и ловко лезет обратно и где-то на полпути сворачивает, чтобы выбраться к пещере покороче.

– Давайте тоже к пещере двинем, – говорю я отцам. – Вон туда...

Мы спускаемся в мшистое, сырое, холодное и темное ущелье. Оно круто и ухабисто падает вниз. Отцы цепляются руками за мокрые камни, скользят на сгнившей хвое и склизких бревнах. Кое-где нам приходится спрыгивать с невысоких обрывчиков. Отцы снизу страхуют девочек. Маша меня сегодня просто не замечает.

Я иду последним и думаю об этом. Мне уже не стыдно за вчерашнее, и мне не больно от Машиного невнимания, а может, и от открытой неприязни. Мне кажется, что в душе я заложил Машу кирпичами, как окно в стене. В душе лишь легкий сквозняк от новой дыры где-то в районе сердца – откуда я выломал кирпичи.

Впереди и внизу мелькает Чебыкин.

– Иди сюда, козел! – злобно орет Градусов.

– Отжимайся! – советует Чебыкин и с хохотом убегает за уступ.

Наконец мы выходим на ровную, голую площадку. Над нею в стене треугольная дыра пещеры. Отцы взбираются к входу и заглядывают.

– Там обрыв, – говорит Овечкин.

– А как же Чебыкин спустился? – удивляется Люська.

– Бу-бу-бу-бу! – жизнерадостно доносится пояснение из пещеры.

– Ага, – скептически соглашается Борман. – Не все же такие макаки.

– У нас в деревне один мальчик лазил-лазил по скалам, упал и разбился, – говорит Тютин.

– У вас в деревне живые-то мальчики хоть остались? – интересуется Маша.

– Знаете, куда Чеба залез? – спрашиваю я. – В древности эта пещера была...

– ...сортиром! – подсказывает Градусов и ржет.

– ...святилищем, и здесь, на площадке, стояли идолы.

– Каким святилищем? – удивляется Люська. – Разве здесь кто-то жил?

– Здесь жили великие народы, о которых человечество уже давно забыло. Здесь были крепости, каналы, капища. Были князья, жрецы, звездочеты, поэты. Шли войны, штурмами брали города, могучие племена

насмерть дрались среди скал. Все было. И прошло.

Отцы слушают непривычно внимательно. На уроках в школе я такого не видал. По их глазам я понимаю, что они ощущают. Они, конечно, как и я, у Чертового Пальца тоже почувствовали незримый и неизъяснимый взгляд. И вот теперь у них под ногами словно земля заговорила. До самых недр, до погребенных костей звероящеров, она вдруг оказалась насыщенной смыслом, кровью, историей. Эта одухотворенность дышит из нее к небу и проникает тела, как радиация земли Чернобыля. Тайга и скалы вдруг перестали быть дикой, безымянной глухоманью, в которой тонут убогие деревушки и эковские лагеря. Тайга и скалы вдруг стали чем-то важным в жизни, важнее и нужнее многого, если не всего.

– Географ, говори погромче!... – слышится крик Чебыкина.

– Лучше вылезай! – кричит в ответ Борман.

– Фигушки, вы драться будете... Географ, погромче!...

– Археологи проводили здесь раскопки, – рассказываю я то, что читал и слышал про Семичеловечью, – нашли множество костей жертвенных животных и наконечников стрел...

– Ты, что ли, мослы растерял, Жертва? – Градусов пихает Тютина в бок.

– Нашел! Нашел! – возбужденно орет из недр пещеры Чебыкин. – Наконечник стрелы нашел!...

Отцы взволнованно заметались перед пещерой.

– Вылезай, урод! – кричит Градусов. – Не тронем! Слово пацана!

Через некоторое время Чебыкин вылезает и протягивает мне продолговатый камень. Отцы благоговейно смотрят на камень, трогают кончиками пальцев. Камень – обычный обломок.

– Что это? Стрела? Копье? – сияя, спрашивает Чебыкин.

– Кусок окаменевшего дерьма мамонта, – говорю я.

Отцы хохочут. Чебыкин сконфуженно прячет камень в карман.

– Для вас, бивней, может, и дерьмо... – независимо говорит он.

Мы уходим обратно вверх по ущелью. Я иду последним. Пацаны учесали вперед и забыли про девочек. Когда я хочу посадить Машу, она оборачивается и взглядом отодвигает меня.

– Не надо! – зло говорит она и, помолчав, добавляет: – Я вообще не хочу, чтобы вы ко мне прикасались!

Пообедав, мы собираем вещи, чтобы отплывать. Борман потихоньку берет у меня консультации. А Маша меня не замечает. Она это делает не демонстративно, что само по себе означает какое-то внимание. Она не замечает меня, как человек не замечает развязавшийся шнурок. Но я

спокоен. Я знаю, что Маша – моя. Я только не знаю, что мне с ней делать. В своей судьбе я не вижу для нее места. От этого мне горько. Я ее люблю. И я тяжелой болью рад, что мы сейчас в походе. Поход – это как заповедник судьбы. Собирая у палатки рюкзак, я слышу, как Маша разговаривает с Овечкиным. Они в палатке вдвоем. Им кажется, что стены отделяют их от мира.

– Ты сегодня непонятная... – осторожно говорит Овечкин.

– Я нормальная, – твердо отвечает Маша. – Убери руки.

– Это из-за Географа?

– Не твое дело.

– А как же я? – после молчания наконец спрашивает Овечкин.

– Решай сам.

Мне жаль Овечкина. У Маши слишком крепкий характер. Другая песня – Люська. Когда мы спускались с Семичеловечьей, она грохнулась на склоне, а потом начала ныть и проситься на руки.

– Ладно, давай донесу, – согласился Борман.

Он усадил Люську на закорки и, побрякивая, потащил к лагерю. Благо что до него было метров двести.

– Градусов, ты сегодня дежурный, – на обеде напоминает Борман.

– Иди котлы мой, – поддакивает Люська, увиваясь вокруг Бормана.

– Одному запахло! – рычит Градусов. – Пусть и Географ чешет!

– Он за тебя в завтрак дежурил, а ты спал.

– Меня не колышет! Будить надо было! И вообще, Борман мне не начальник! Я был против него!

– А его большинство выбрало, значит, он – командир!

– Пусть тогда большинство и моет котлы!... А ты чего раскомандовалась, если он командир? Сильно невтерпеж – так командуй своим Борманом, а не мной, поняла, Митрофанова?

– Почему это Борман мой? – опешила Люська.

– Он же тебя на горбу таскает, как мешок с дерьмом...

– Ну и пусть я в него влюбилась! – злится Люська. – А тебе завидно, потому что ты рыжий и нос у тебя вот такой! – Люська широко разводит руки.

– Было бы чему завидовать! – яростно кричит Градусов и хватается за котлы. – Да пускай, на фиг, он тебя любит, дерьма не жалко!

Демон пугается, видя такую битву вокруг Люськи. Он пытается всунуться, но никто его не замечает. Тогда ленивый Демон в отчаянии решается на подвиг. После обеда он рапортует Люське, что привязал ее рюкзак на катамаран.

– Ой, спасибо... – мимоходом радуется Люська и тотчас кричит: – Борман, а че Градусов грязью кидается!...

Градусов ходит злой, ко всем придирается, пинает вещи. В конце концов перед отправлением оказывается, что только он еще и не готов. Он носится по поляне и орет:

– Борман, где мой рюкзак? Я его самый первый собрал!

– Вон твой рюкзак, – спокойно кивает Борман в кусты.

Градусов выволакивает рюкзак и брезгливо кидает его на землю.

– Это вообще какой-то чуханский, а не мой!

– Это мой... – тихо пищит Люська.

Демон беспомощно улыбается и пожимает плечами.

С грехом пополам мы выплываем.

Вновь нас несет желтая, пьяная вода Поньша. Вновь летят мимо затопленные ельники. Низкие облака нестройно тащатся над тайгой. Длинные промоины огненно-синего неба ползут вдаль. На дальних высоких увалах, куда падает солнечный свет, лес зажигается ярким, мощным малахитом. На склонах горных отрогов издалика белеют затонувшие в лесах утесы. Приземистые, крепко сбитые каменные глыбы изредка выламываются из чащи к реке, как звери на водопой. Вода несет нас, бегут мимо берега, и линия, разделяющая небо и землю, то нервно дрожит на остриях елей, то полого вздымается и опускается мягкими волнами гор – словно спокойное дыхание земли.

Под вечер у берегов начинают встречаться поваленные ледоходом деревья. Я тревожусь. Такие «расчески», упавшие поперек реки, могут запросто продраить наши гондолы. Впереди я вижу длинную сосну, треугольной аркой перекинувшуюся над потоком. Достаточно порыва ветра, чтобы сосна рухнула вниз и перегородила дорогу, как шлагбаум. Я встаю на катамаране во весь рост и гляжу вперед. Я вижу одну, две, три, еще сколько-то елей, рухнувших в воду. Дело худо. Мы проплываем под сосной, как под балкой ворот. Ворота эти ведут в царство валежника.

Катамаран обходит одну «расческу», потом, чиркнув бортом, другую. Борман командует толково, без нервов. Но третью «расческу» мы зацепляем кормой. Градусов сражается с еловыми лапами и вырывается из них красный, лохматый, весь исцарапанный.

– Бивень! – орет он на Бормана. – Соображай, куда командуешь!

И тотчас нас волочит на другую елку.

– Падайте лицом вниз и вперед! – кричу я.

Экипаж, как мусульмане в намаз, падает лицом вниз. Мы влетаем под

елку. Сучья скребут по затылкам, по спинам, рвут тент, прикрывающий наше барахло. За шиворот сыплется сухая хвоя, древесная труха. Поньш свирепо выволакивает нас по другую сторону ствола.

– Ата-ас! – вдруг истошно вопит Чебыкин.

Мы налетаем бортом теперь уже на березовую «расческу».

– Упирайтесь в нее веслами! – ору я.

Сила течения так велика, что весла едва не вышибает из рук. Круша бортом сучья, мы врубаемся в крону. Я вцепляюсь в раму и ногами принимаю удар ствола. Я изо всех сил отжимаюсь от него, чтобы нас не проволокло под «расчесткой». Она лежит слишком низко и попросту сгребет нас всех в воду, как ножом бульдозера. Поньш от нашего сопротивления словно приходит в бешенство. Целый вал вмиг вырастает, бурля, вдоль левого борта. Левая гондола всплывает на нем. Мы кренимся на правую сторону, и вал все же вдавливают нас под березу.

– Тютин, Маша, живо на левый борт! – команду я. – Всем надеть спасжилеты! Овечкин, руби сучья снизу!

Серой тенью мимо меня пролетает по стволу Овечкин с топором. Он седлает ствол и начинает яростно рубить его перед собою.

– Овчин, назад!... – надрываюсь я.

Овечкин молчит. Лицо его побелело. На лбу по-мужицки вздулись вены. Топор носится вверх и вниз. Щепки клюют меня.

Оглушительный треск, хруст, плеск – это отсеченный ствол, обнимая катамаран всеми ветвями, рушится в воду. Фонтан брызг окатывает нас с Градусовым. Освободившись, катамаран резко идет вперед. Мгновение я вижу Овечкина, сидящего верхом на обрубленном стволе, который остается позади. А еще через мгновение Овечкин, как летучая мышь, прыгает на уходящий катамаран и падает грудью на корму. Мы с Градусовым выволакиваем его из воды. Поньш несет нас дальше – свободных и очумелых.

– Ты что, охренел?! – орет на Овечкина Градусов. – Ты, что ли, Буратино, который не тонет?!

Маша смотрит на Овечкина потемневшими, серьезными глазами.

– Он ведь спас нас!... – потрясенно говорит Люська.

– Еще «расчестка»! – через десять минут кричит Борман.

Теперь, перегородив реку, в русле лежит кряжистая, разлапистая сосна. Вода клокочет в ее ветвях, волны в пене перескакивают через ствол, возле которого кувырывается и толчется разный плавучий мусор. Эту «расческу» мы можем преодолеть, только волоком протащив свой катамаран через прибрежный тальник.

– Левый борт, загребай! – командую я.

Мы прочно увязаем в кустах. Мы подтягиваемся за ветки изо всех сил, но катамаран не лезет дальше. Я веслом меряю глубину.

– Чего зырите? – зло кричу я отцам. – Снимай штаны, будем толкать!

Борман безропотно начинает стягивать сапоги.

– Нам тоже? – оборачиваясь, спрашивает Маша.

– Куда вам, блин! – орет Градусов. – Сидите, не рыпайтесь!

В свитерах, трусах и сапогах мы соскальзываем в воду и беремся за каркас. Холод, как вампир, впивается в тело. Глубина тут – чуть повыше колен.

– Ты-то куда лезешь? – орет Градусов на Тютина. – Помощник, блин, пять кило вместе с койкой!...

– Р-раз!... – командую я. – Р-раз!... И-эх!...

Всемером мы волочем катамаран по зарослям мимо упавшей сосны. Катамаран тяжеленный, как дохлый слон. Голые прутья тальника царапают ноги. Мы скользим по корням. Чебыкин и Борман дружно падают, но поднимаются и тянут дальше.

– Так же свои струги тащили ватажники Ермака... – хриплю я.

Наконец можно забраться наверх. Трясаясь, отцы натягивают штаны прямо на мокрые трусы. Синий Градусов орет:

– Митрофанова! Доставай мне флакон и сухие рейтузы!

– Откуда? – пугается Люська.

– Щас как скажу откуда!... Сидишь-то на моем рюкзаке!

Люська торопливо развязывает градусовский рюкзак. Она достает какие-то веревки, мотки проволоки, банки, свечи, маленькие механизмы непонятного назначения, и все это с ужасом передает Маше. Наконец на свет появляются огромные зеленые семейники и бутылка водки. Я зубами распечатываю ее, пью из горлышка и пускаю по кругу. На мой озноб словно бы льется горячая вода.

– Впереди ледовый завал, – убито говорит Борман.

Мы вытягиваем шеи. Поперек реки лежит елка, а к ней прибило целую гору льда. Его сколы и грани искрятся на солнце – оказывается, тучи уже разошлись. И справа, и слева – непролазный затопленный ельник. Ни проехать, ни пройти. Затор.

– Что же делать? – растерянно спрашивает Борман.

– Отжиматься, – говорит Градусов. – Конец фильма.

Чтобы найти поляну для ночевки, мы сворачиваем в затопленную просеку. Здесь – черная тишина и покой. Гул Поньша гаснет. Мы медленно плывем между двумя стенами елей. Под нами видны размытые колеи. В

чистой воде неподвижно висят шишки. Лес отражается сам в себе. Ощущение земной тверди теряется. Вдали, за еловыми острями и лапами, стынет широкая, ярко-розовая заря.

Поляну мы нашли не очень удобную – маленькую, неровную, кособоковую. Однако выбирать не из чего. Воды Поньша причудливыми узорами растеклись по лесу, оставив от суши небольшие островки, соединенные гривками. Мы устало возимся с лагерем, рубим дрова, разжигаем костер. Потом я предлагаю желающим пойти за березовым соком.

– Блин, точно! – спохватывается Чебыкин и бросается искать посуду.

– Тебе принести соку? – негромко спрашивает Машу Овечкин.

– Я тоже хочу! – ноет Люська. – Демон, принеси мне соку...

– Ой, да ну тебя!... – пугается Демон, неподвижно лежащий на земле с сигаретой в зубах. – Маленькая, что ли?...

– Дак че, хочется...

– Принесу я тебе, не стони, – утешает Люську Чебыкин, весь увешанный кружками и банками.

– Ладно-ладно, Демон, я запомнила, – обидчиво говорит Люська.

Втроем – я, Чебыкин и Овечкин – мы идем в глубь леса, вброд по протокам. Некрутой склон старого отрога весь освещен закатом. Он сух, бесснежен, покрыт прошлогодней травой. Вперемежку с черными елями стоят еще прозрачные по весне березы с голубоватыми кронами и розовыми стволами. От этого склон издалика кажется пестрым, как домотканый половичок. Над ним из синевы вытаивает бледная луна.

Чебыкин, захваченный новой идеей, с ножом наперевес убегает вперед. Он, как колокольчики коровам, подвязывает березам свои кружки и банки, лижет свежие надрезы, чмокает и ахает. Я делаю неглубокую зарубку и на шнурке подвешиваю кружку. Нежно-восковая древесина с неяркими жемчужными дугами годовых колец сразу набухает прозрачными каплями. Я чувствую запах березового сока – тонкий, предутренный, росный. Овечкин молча и отрешенно стоит невдалеке.

– Овечкин, – окликаю я. – Знаешь, что хочу тебе сказать... Маша – это не Люся Митрофанова. Ей не нужны подвиги. А мне не нужна тюрьма. А тебе не нужен уютный гробик.

Овечкин не отвечает, глядит в сторону. Я закуриваю.

– Да я понимаю, Виктор Сергеевич, – наконец говорит Овечкин.

Чебыкин на склоне мелькает между стволов. Он все бежит от кружки к кружке, изумляясь этому тихому, незамысловатому чуду весны – березовому соку.

Мы возвращаемся в глубоких сумерках. Мы шагаем по озерам через блестящие, прозрачные и яркие вертикали ночной тьмы. В кружках, которые мы бережно несем на весу, – светящаяся вода. Над просекой, как зеленая карета, катится луна.

Борман ножовкой пилит бревнышки, чтобы можно было сесть вокруг костра. Градусов варит ядреную гречневую кашу с тушенкой. Маша и Люська держат над костром весла, на металлических лопастях которых сушатся подмокшие буханки. Весла похожи на опахала, а костер – на высокую чалму султана, усыпанную рубинами.

– Эх, водки бы сейчас было эротично... – над кашей мечтательно вздыхает Чебыкин.

Мы выпиваем водки. Хмель легко пробирается в голову и словно окутывает тело тонкой, горячей тканью. Острее ощущается холод, но от него никто уже не мерзнет. Все ухайдакались за день, все молчат. Но молчание у огня объединяет нас прочнее, чем все развеселые базары. Я знаю, что обозначает это молчание. Оно обозначает север, ночь, половодье, затерянность в тайге. Оно обозначает наше общее одиночество. Оно обозначает грозную неизвестность, ожидающую нас у ледового затора на Поньше.

Немногословно расходимся после ужина. Я ухожу побродить глубоко в лес, закуриваяю. Лес – словно дворец без свечей, с высокими сводами, с отшлифованным до блеска паркетом. Оцетинившееся звездами небо закрыто еловыми вершинами. Оно просеивается вниз полярным, голубоватым светом. Я стою и слушаю, как в полной тишине беззвучно течет время, текут реки, течет кровь в моих жилах. Огонек моей сигареты – единственная искра тепла во вселенной.

Когда я возвращаюсь, навстречу мне попадается Маша. Я очень ясно вижу ее в темноте. Мы молча глядим друг на друга. Я помню ее слова: не прикасайся! Мы осторожно огибаем друг друга и расходимся. Но, сделав пару шагов, я останавливаюсь и оборачиваюсь. Маша тоже стоит и смотрит на меня.

– Иди ко мне, – наконец зову я.

Маша медлит, а потом идет ко мне. Я чувствую, что словно бы лед скользит под моими ногами, и я проваливаюсь в любовь, как в полынью. Я обнимаю Машу и целую ее. В холоде вселенной, где погас последний уголек моей сигареты, я чувствую тепло Машиного тела под одеждой, тепло ее волос, ее губ. Я расстегиваю ремень ее джинсов и оголяю ее бедра – такие неожиданно горячие. Я тяну Машу вниз, и она поддается. Я чувствую, что сейчас возьму ее – прямо на сырой земле, в воде, на дне

морском. Но Маша вдруг легко уходит из моих рук и поднимается, отстраняясь.

– Нет, – устало говорит она. – Нет. Никогда.

Она отворачивается и, застегиваясь на ходу, идет в лес. Мир качается в моих глазах, как корабль. Качаются огромные колокола елей, и звезды – как искры отзвеневшего набата. Я иду к костру.

Никого нет. Я достаю недопитую бутылку. Я пью водку. Зеленая карета катится над черной просекой. Она катится над старыми горами, которые осели и рассыпались, обнажив утесы, – так истлевает плоть, обнажая кости. Карета катится над волшебной тайгой, сквозь которую пробираются темные, холодные реки. В небе одно на другое громоздятся созвездия. Я гляжу на них. У меня есть собственные созвездия, мои. Вот они – Чудские Копи, Югорский Истукан, Посох Стефана, Вогульское Копье, Золотая Баба, Ермаковы Струги, Чердынский Кремль... Целый год я не видел их такими яркими.

Какая древняя земля, какая дремучая история, какая неиссякаемая сила... А на что я эту силу потратил? Я уже скоро лысым стану, можно и бабки подбивать. И вот я стою под этими созвездиями с пустыми руками, с дырявыми карманами. Ни истины, ни подвига, ни женщины, ни друга, ни гроша. Ни стыда, ни совести. Ну как же можно так жить? Неудачник... Дай бог мне никому не быть залогом его счастья. Дай бог мне никого не иметь залогом своего счастья. И еще, дай бог мне любить людей и быть любимым ими. Иного примирения на Земле я не вижу.

Я допиваю водку у погасшего костра и тоже иду в палатку. Там темно, но я вижу, что во сне, выпростав руку из спальника, Овечкин обнимает Машу.

## Третьи сутки

Я просыпаюсь от пронзительной стужи, которая лижет мне пятки. В палатке – ровный молочный свет. Шатер провис. Половину днища занимает лужа. Демон дрыхнет, уходя в нее ногами.

Дрожа, я вылезаю наружу. На улице густой снегопад. Поньш за ночь поднялся, и наш лагерь оказался на острове. Один край палатки стоит прямо в черном потоке. В низких, мутных тучах призрачно темнеют еловые вершины. Все вокруг в белом дыму. Ельник весь засыпан снегом. Он стоит седой, словно за ночь прошла тысяча лет. Половина лагеря под водой. Костер затоплен. В квадрате из бревен из воды торчат рогатины, плавают, как в купальне, кружки, миски, обугленные головни.

– Застава, в ружье-о!... – ору я. – Тонем!

Отцы один за другим вылезают из палатки и охают.

– Воще жара-а!... – стонет Чебыкин.

– Ноги-то не промочил? – спрашивает Борман зевающего Демона.

– Не-а. Я в сапогах спал.

– Оборзел? В спальнике-то в сапогах?

– Да неохота снимать было... Тебе не понять.

Тесной кучей мы стоим под снегопадом и озираем последствия катастрофы. Я курю. У остальных и так от дыхания поднимается пар. Но стоять на холоде хуже, чем заниматься делом. Мы принимаемся восстанавливать лагерь. Отцы угрюмые, молчаливые. Один только Чебыкин радостно изумляется всему и хохочет – то над тем, что недопитый чай в кружках превратился в янтарный лед, то над тем, что ложки пристыли к тарелкам, то над тем, что Градусов задумчиво сгибает и разгибает, как книгу, свои трусы, провисевшие на костровой перекладине всю ночь.

Демон и Люська сегодня дежурные. Грустя, Демон пробует развести костер. На мокрой газете у него покоятся два прутика.

– Не выйдет ни хрена, – говорит Борман, подходя сзади.

– Может, выйдет? – мечтательно предполагает Демон.

– Дров принеси, – тихо приказывает Борман. – А то убью.

Борман сам присаживается и разводит костер. Теперь Демон стоит у него за спиной и ласково наблюдает. Борман оборачивается.

– Я уже в лесу, – лучезарно улыбаясь, быстро говорит Демон.

Борман заколачивает рогатины. Демон приносит тоненькую веточку.

– Что-то нет дров-то в лесу... – озадаченно говорит он, ломает свою

веточку и заботливо подкладывает в огонь.

– Воды принес? – стараясь быть спокойным, спрашивает Борман.

– Ой, забыл.

– Убери носки с рогатины!! – орет Борман на Тютин.

Тютин, сорвав носки, отскакивает на другую сторону поляны.

Потом Демон пилит бревна, на которых мы вчера сидели, и пилу его заклинивает. Демон бросается рубить чурбаки и всаживает топор в сучок. Бревна допиливает Градусов, чурбаки колет Овечкин.

– Иди катамаран подкачай, – говорит Демону Борман.

– А чего его качать? – удивляется Демон.

Катамаран и вправду выглядит надутым на все сто. Демон, как колесо у машины, пинает гондолу. Гондола с хрустом сминается, и каркас оседает вниз. За ночь мокрые гондолы обледенели, как трубы, и продолжали держать форму, хотя давления в них было ноль.

Мы успеваем свернуть лагерь, а завтрак еще не готов.

– Ну скоро там жратва-то поспеет? – орет Градусов.

– Уже пристеночно-пузырьковое кипение, – отвечает Демон.

Котлы висят над еле тлеющими углями.

– Дак ты подбрось еще дров, – советует Люська.

– Куда? – искренне изумляется Демон, сидящий на последнем полене.

– И так вон пышет – смотреть страшно...

Мы завтракаем недоваренной кашей и пьем недокипяченный чай.

– Ну и бурду вы сварганили, дежурные, – плюется Градусов.

– Чего вот из-за тебя выслушиваю... – ворчит Люська на Демона.

– Не знаю, чего они морды морщат? Классная каша... А я ведь, Люсенька, тебе посуду вымыл. А ты даже не заметила...

– Ты мою вымыл, бивень, – говорит Градусов.

– Ума нет: как фамилия? Деменев! – подводит итог Люська. – Все, Демон, я с тобой больше не дружу!

Демон только вздыхает и стреляет у меня сигарету.

– Виктор Сергеевич, – вдруг обращается ко мне Маша. – У вас есть аптечка? Дайте мне таблетку, а то я простыла, знобит...

Маша сидит на бревне ссутулившись, обхватив себя за плечи.

– Сейчас дам, – говорю я. – Может, еще чего надо?...

Мне очень жалко Машу. Мне важно понять, как она относится ко мне после вчерашнего, а ей сейчас совсем не до того.

– Кроме таблетки, мне от вас ничего не надо, – отвечает Маша.

Перед отплытием Овечкин устраивает для Маши на катамаране гнездо из спальников. Маша молча укладывается в него. Мы отплываем.

По узкой просеке мы выходим в Поньш.

– Географ, там же затор, – напоминает Борман. – Что делать-то?

– Гондурас чесать, – отвечаю я. – Доплывем – решим.

Мы всматриваемся в сумеречную даль. Никто не гребет.

– Куда же этот затор, блин, на хрен, делся? – ворчит Градусов.

– Привет! – говорю я, когда до меня доходит. – Затор-то наш – тю-тю, уплыл! Вода поднялась и лед унесла, а бревно сдвинула.

Струятся мимо заснеженные берега, уставленные полосатыми, белосизыми пирамидами елей. Облачные валы бугристыми громадами висят над рекой, сея снег. Повсюду слышен очень тихий, но просторный звук – это снег ложится на воду. Серые, волокнистые комья льда звякают о лопасти весел. В снегопаде даль затягивается дымкой. Все молчат, все гребут. На головах у всех снежные шапки, на плечах – снежные эполеты. Посреди катамарана над Машей намело уже целый сугроб. Ни просвета в небе, ни радости в душе. Тоска.

Опять начинаются «расчестки». Борман негромко командует, но то и дело кормой или всем бортом нас заносит под ветки.

– Борман, у нас Маша больная, – говорю я. – Будь внимательнее.

Овечкин очень серьезен, держит наготове топор.

– Болты-то прочисти, щ-щегол! – ругается на Бормана Градусов. – Мозгами думай, а не чем еще!... Ну куда вот ты загребаешь, бивень?...

– Ну командуй сам! – не выдерживает Борман.

– И покомандую! – соглашается Градусов. – Уж побассе некоторых!

Под началом Градусова мы тотчас вновь въезжаем под елку.

– Оба вы командиры хреновые! – в сердцах говорит Овечкин.

– С меня чуть скальп не сняло, понял, Градусов? – обиженно заявляет Люська, вытряхивая из волос ветки, хвою, труху.

Так плывем дальше час, другой. Снег все валит, Градусов все ругается с Борманом, вода все бежит. Но вот впереди лес расступается. Открывается непривычно большое, чистое пространство, задымленное снегопадом.

– Зырьте, вроде домики впереди... – неуверенно говорит Чебыкин.

Я откладываю весло и встаю во весь рост. Сквозь снегопад я вижу вдали белый, в черных оспинах косогор, отороченный поверху полосой леса. Под ним – смутно-темные прямоугольники крыш, кружевная дуга железнодорожного моста. На отшибе – кристалл колокольни. Широкой черной дорогой перед нами течет Ледяная.

– Поздравляю, – говорю я отцам. – Поньш пройден. Это – Гранит.

Пока мы перегребаем Ледяную, нас сносит к окраине поселка, к

церкви. Она стоит на вершине высокого, безлесого холма. Издалека она кажется чистенькой, аккуратной, как макет. Белая церковка на белом холме под белым снегом, падающим с белого неба.

Шурша, катамаран грузно выезжает обеими гондолами на берег. Из своего барахла мы забираем то, что нам нужно для обеда, и поднимаемся на холм, к церкви. Пообедаем под крышей. Все равно церковь заброшена.

К храму не ведет ни единого следа. На склоне торчат столбики былой ограды. Кое-где снег лежит рельефными узорами – это на земле валяются прясла ажурной чугунной решетки. Мы обходим храм по кругу. Старый вход заколочен. Окна алтаря заложены кирпичом. Штукатурка на углах выщербилась. Ржавый купол кое-где обвалился, и там изгибаются лишь квадраты балок, как параллели и меридианы на глобусе. На кровле торчат березки. В прозорах колокольни белеет небо. На шатре, как на голодной собаке, проступили худые ребра.

Сверху, с холма, от стен храма как из космоса обозревается огромное пространство. Широкая, сизая дуга Ледяной, волнистые, зыбкие леса до горизонта, строчка выбегающего из тайги Поньша, шахматные прямоугольники поселка. Пространство дышит в лицо каким-то по-особенному беспокойным ветром. Снежинки влажно чиркают по скулам. Вдвигаются громады облаков, и в них грозно и неподвижно плывет колокольня.

– Градусов, – говорю я. – В общем, вот тебе деньги, и вали в поселок за хлебом. Возьми с собой Чебыкина.

– И Жертву, – добавляет Градусов. – С его рожей нам все продадут.

По доске, приставленной к стенке, мы забираемся в окно. В церкви захламлено, но пол почти везде уцелел. Мы располагаемся. На ржавом листе кровельного железа из щепок и досок я разжигаю костер. Борман из обломков кирпичей строит пирамидки, кладет на них перекладину и вешает котлы. Все тянутся к огню погреться.

– Как-то неудобно в церкви костер жечь, – вдруг говорит Маша, закутавшаяся в спальники и сидящая поодаль.

– Как французы в восемьсот двенадцатом году, – добавляет Овечкин.

– Ну, идите на улицу, под снег, – предлагает Борман.

Я молчу. По-моему, Господь за этот костер не в обиде. В своей душе я не чувствую какого-то несоответствия истине.

– Вот если отремонтировать тут все, подновить... – хозяйственно вздыхает Борман.

– Наверное, не стоит, – говорю я. – По-моему, так Богу понятней.

Когда обед готов, возвращается экспедиция Градусова.

– По домам хлеб скупали, – говорит Градусов, протягивая к огню красные лапы. – Давайте жрать быстрее, охота как из пушки...

Мы обедаем. Сквозь прорехи в крыше на нас падают снежинки.

– Ну что, пойдем церковь зырить? – отобедав, спрашивает Чебыкин.

Все соглашаются. Мы идем зырить церковь.

Над нами – величественный сумрак. Пол усыпан отвалившейся штукатуркой, битым кирпичом, обломками досок, дранкой. Стены понизу обшарпаны и исцарапаны, исписаны матюками, но сверху еще сохранились остатки росписей. Из грязно-синих разводьев поднимаются фигуры в длинных одеждах, с книгами и крестами в руках. Сквозь паутину и пыль со стен глядят неожиданно живые, пронзительные, всепонимающие глаза. В дыму от нашего костра лица святых словно оживают, меняют выражение. Взгляды их передвигаются с предмета на предмет, словно они чего-то ищут.

Я рассказываю отцам о символике храма, поясняю, где чего было, показываю фрески – Оранту в конхе, Пантократора в куполе, евангелистов на парусах, Страшный суд.

– Ой!... – пугается Люська, взглянув вверх в глаза Пантократору.

– Эротично! – восхищается Чебыкин и подбирает с пола кусочек фрески с частью затейливой славянской буквы. – На память, – благоговейно поясняет он.

Мы останавливаемся в шахте колокольни. Перекрытия здесь кое-где рухнули, хлипкие лестницы висят на трухлявых балках.

Градусов, презрительно насвистывая, пробует ногой лестницу.

– А-а, я тоже полезу! – решается Чебыкин.

– Шеф идет первым, – важно предупреждает его Градусов.

Наверное, мне не стоило разрешать этот альпинизм, но я уверен, что ничего не случится. Градусов лезет первым и командует, Люська ойкает и взвизгивает, Чебыкин кряхтит и пихает ее в зад. Мы задираем головы, наблюдая их медленный подъем. Доски скрипят, на нас сыплется труха, в воздухе пылит известка. Последний марш Градусов проползает на брюхе и встает в проеме входа на звонницу.

– Делайте, как я, не каните, – пренебрежительно поясняет он.

Но Люська, застряв на ступеньках, канит.

– Дак че... Не все же такие смелые и сильные...

Градусов гордо раздувается.

Наконец и Люська, и Чебыкин добираются до порога арки и уползают на площадку, где раньше хозяйничал звонарь.

– Дозлезли... – с сожалением вздыхает Тютин.

Обратно спускаются наоборот: впереди Чебыкин, который ловит Люську, позади Градусов. Люська цепляется за его гусарскую куртку, как за самую надежную опору. Борман, видя это, плюет и уходит к костру. Градусов, обнаглев, сходит вниз не сгибаясь, с сигаретой в зубах, и держится за кирпичи двумя пальцами.

Отдуваясь, Чебыкин и Люська спрыгивают к нам.

– Там так высоко!... – с восторгом рассказывает Люська. – И видно все-все-все! Я чуть не упала со страху! Как это Градусов не боялся?

– А мне-то что? – хмыкает со второго этажа Градусов. Он даже не смотрит под ноги. Его мушкетерский сапог проскальзывает по ступеньке, и Градусов с грохотом кубарем летит по лестнице вниз.

После обеда снегопад наконец прекратился. Когда мы отчаливаем, облака над церковью разреживаются. В них проглядывает мутно-желтое пятно солнца. Нежно золотится одна грань шатра колокольни. Ледяная уносит нас вперед, и увал постепенно загораживает плечом поселок Гранит. Но церковь еще долго виднеется над лесами, пока не растворяется в облаках.

Ледяная неспешно, спокойно изгибает перед нами свои протяжные, широкие створы. Отяжелев от обеда, мы сонно лежим на своих рюкзаках и почти не гребем. Зачем? На катамаране по такой реке гребля не даст существенной прибавки скорости. Сейчас уже неважно количество ходового времени. Мы плывем то правым бортом вперед, то левым.

Поныш был диким, свирепым, первобытным. Он был словно только что создан природой и брошен на землю, не готовую его принять. Он бурлил, бился в скалы, топил леса, пер напрямик, выворачивал деревья. А Ледяная совершенно иная. Глубокая, спокойная и ровная вода мерно и мощно идет в крепких берегах. Ложе реки емкое, и половодье не переливается за края, смешивая твердь и хляби. Здесь все кажется движущимся по прочному, надежному, многократно себя оправдавшему порядку. На Поньше весна была катастрофой. На Ледяной весна – величественный, издревле ведущийся ритуал. Здесь кажется, что природа раздумывала веками, тщательно подгоняя дерево к дереву, выстраивая и приглаживая горы, прорисовывая линию русла, возводя по берегам скалы. Даже снег здесь лежит картинно – накрахмаленными скатертями полян, дворцовой лепниной еловых лап, яркой чеканкой и тонкой гравировкой куржака на рубчатых, грубых, бугристых стенах утесов. На Поньше все было как попало, а здесь – как положено. А может быть, просто в нас отзываются тысячи взглядов, что сотни лет отражали эти створы, берега,

леса, утесы.

Подмерзнув, отцы через час поднимаются. Борман, Чебыкин, Градусов и Овечкин берутся за весла. Тютин и Демон предпочитают бездельничать. На них никто не орет, даже Градусов. Люська вообще уснула, уткнувшись головой Маше в бок. Маша, закутавшись в спальники, полулежит на продуктовой мешке. Я привалился к этому мешку с другой стороны. Мне приятно лежать на том же мешке, что и Маша.

– Впереди мост, – вдруг говорит Чебыкин.

Я приподнимаюсь. По карте нету тут ни дорог, ни деревень...

Впереди действительно мост. Крепкий бревенчатый настил покоится на двух быках-срубах, похожих формой на утюги. Быки доверху засыпаны землей и камнем. Это ледоломы. Их носы обшиты ржавыми листами железа, исцарапанными былыми ледоходами.

– Странный какой-то мост... – негромко замечает Овечкин.

Мост и вправду странный. Прочный, надежный, но – заброшенный. Поверху нанесло земли, и там растут кусты. А увалы по обоим берегам – сплошной ельник. Ни тропки, ни тем более дороги. Мост соединяет два лесных берега, бессмысленный и пугающий.

Нас постепенно втягивает под мост. Проходят мимо массивные, ржавые форштевни быков. Над головами проплывает тяжелый настил, из которого свисают бледные веревки корней. Мы, задирая головы, провожаем его глазами.

– Понял! – говорю я. – Это зэки мост строили! Здесь были лагеря. Потом их закрыли. Не стало лагерей – и дороги сделались не нужны, вот и заросли. А мост сохранился.

Отцы, обернувшись, все глядят на заброшенный мост, растянувшийся от ельника до ельника. И у меня самого непонятное ощущение. Мосты – самое доброе изобретение человечества. Они всегда соединяют. А здесь мосту соединять нечего.

Но мост уходит за поворот. Мы плывем дальше. Время идет. Тянутся неторопливые километры. Клонится к вечеру день.

Вот на правом берегу мы видим просторную белую луговину. Это покос. Сбоку притулился вагончик косарей. Над его крышей вьется тонкий дымок. На берегу лежит лодка с запрокинутым мотором.

Когда мы проплываем мимо, из вагончика выбираются два мужика.

– Туристы!... – орут они и машут руками. – Плыви сюда!...

– Чего им надо? – недоверчиво спрашивает Борман.

– Может, помощь какая нужна?... – щурясь, предполагает Чебыкин.

– А вдруг они нас убьют? – пугается Люська.

– Они-то? – хмыкает Градусов. – Отоварим по мозгам, и все дела.

– Давайте причалим, – решаю я. – Мало ли что.

Мы дружно гребем к берегу. Мужики поджидают нас, приплясывая от нетерпения. Когда мы выезжаем на мелководье, один из них, который в болотных сапогах, забегает в воду, хватает нашу чалку и мощно выволакивает нас носом на землю. Только тут я замечаю, что они вовсе не приплясывают от нетерпенья, а качаются, вдребезги пьяные. Все это начинает мне резко не нравиться.

– Пацаны, давно плывете? – радостно спрашивает тот, что с чалкой.

– Это... третий день... – неохотно отвечает Борман.

– Водку-то уже всю выпили, а?

– Не всю... – мямлит Борман. – Мы не пьем... Мы с учителем...

Я мысленно плюю с досады. За язык, что ли, тянут Бормана – болтать про водку-то? Градусов вертит пальцем у виска.

– Пацаны, выручите, дайте бутылку, – прочувственно просит мужик, не выпуская чалки. – Вас вон сколько, от одной не убудет... Не гнать же нам за бутылкой в Гранит за двадцать километров!...

– Нету у нас водки, дядя! – кричу я. – Не видишь – дети!

– А ты заткнись, не с тобой базар! Короче, распрягайтесь, парни!

Мужик изо всех сил тянет катамаран на берег.

– Да плюнь ты, Толян, на этих козлов, – машет рукой его дружок.

– Не могу я, Санек, когда такие молодые – и уже такие гаденыши!

Я смотрю на Градусова. Градусов, сузив глаза, кивает. Я беру топор и лезу по катамарану вперед. За мной с веслом ползет Градусов.

– На меня?! С топором?! – звереет Толян. – Да я щас всех урою!...

Санек быстро хватается Толяна сзади и отнимает у него веревку.

– Хрен с ними, – увещевает он. – Видишь – пацаны, как твой Димка...

– Да мне хоть кто!... – орет, вырываясь, Толян.

Я бросаю веревку Градусову, слезаю и спихиваю катамаран на воду.

– Гребите живо! – командую я, падая животом на каркас.

Отцы мощным толчком уводят катамаран на реку и дружно гребут. Мы уплываем. Все молчат. На душе мерзко.

Но едва мы заплываем за поворот, сзади нарастает надсадный треск моторки. На воде общение с этими гранитными ублюдками может кончиться для нас утопленниками. Здесь они нас сильнее.

– Всем надеть спасжилеты! – командую я. – Маша, быстро вылезай из спальника! Всем провериться, чтобы, если что, ничем ни за чего не зацепиться и сразу всплыть! Гребем к берегу изо всех сил!

– Вы что, Виктор Сергеевич?... – плачуще говорит побелевшая

Люська.

– Географ, мы с тобой, – добавляет Овечкин.

Моторка догоняет нас и глушит двигатель.

На моторе сидит Толян. Он издали кричит:

– Пацаны, не тронем!... Разговор есть!...

Моторка мягко утыкается носом в гондолу моего борта.

– Да забей ты болт на них, – уговаривает Санек. – Поплыли дальше!

Есть у меня на Долгом Лугу заначка! Что, час не дотерпишь?

– Отвали, дядя, – говорю я Толяну. – Ничего не дадим.

– Ты вообще заглохни, к-козел!... – орет Толян.

Наклонившись, он зачерпывает ладонью воды и плещет мне в лицо.

Вода обжигает меня, как расплавленный металл. Это при всех. Это при Маше. Бешенство тупо ударяет в виски. Но я чувствую, как Градусов хватается меня за штормовку на локте. Ладно. Я поднимаю руку и молча утираюсь.

– Ну продайте, п-падлы!...

Отцы молчат. Толян матерится и дергает за шнур мотора. Из пенного буруна подо мною летят обрывки, капрона и резины. С пушечным выстрелом гондола лопається. Каркас моим углом рушится в воду. Люська визжит. Маша и Тютин, как кузнечики, перескакивают на другую гондолу. Я уже из воды перепрыгиваю через Градусова и падаю на Люську.

Отлечев, моторка ложится на скулу и по дуге разворачивается к нам. Толян правит на вторую гондолу. Расчет прост – пропороть ее винтом и утопить нас окончательно.

– Весла выставляйте!... – ору я, цепляясь за Люськины плечи.

Наш катамаран со всех сторон ошестинивается веслами, как фаланга – копьями. Удар лопастью по рылу – это серьезно. Моторка отворачивает и проносится мимо.

Катамаран раскачивается на волнах, едва держась на плаву. Счастье, что у нас четыре гондолы, а не две. Иначе бы мы все давно уже барахтались в воде. Пустая гондола тряпкой полощется под каркасом, который моим углом погрузился чуть ли не на полметра.

– Гребем к берегу! – вставая, команду я. – К левому!...

– Айда к правому! – хрипит Градусов. – Вернемся к их вагончику и разнесем там все вдребезги!...

– К левому! – повторяю я. – Вон к той поляне!

Стоя по пояс в воде, я отвязываю от катамарана наши вещи.

– Борман, чего не командуешь, бивень? – орет Градусов. – Схватились

все за свое барахло!... А лагерь кто ставить будет?

Солнце висит уже над елками. Борман бросает свой рюкзак.

– Девчонки, разбирайте продукты! Мокрые надо высушить, – распоряжается он. – Деменев, Тютин – за дровами! Остальные...

– Куда их за дровами? – разоряется Градусов. – Они тебе к утру вичку принесут! На чем сушиться будем? На свечке? Дрова рвать я сам пойду! Чеба, Овчин, по-пырому за мной!...

Выбивая фонтаны из раструбов своих мушкетерских сапог, Градусов, размахивая топором, топает в лес. Овечкин и Чебыкин бегут за ним.

К сумеркам наш лагерь готов. Стоит палатка, горит огромный костер, варятся в котле рожки. Отцы сушат продукты и шмотки. Я в стороне в одиночку чиню разорванную гондолу. Я отказался от всякой помощи, заявив, что помощники только напортчат.

Я по-прежнему мокрый. Я на четвереньках ползаю по снегу то за резиной, то за клеем, то за ножницами. Губы мои в ожогах от прилипших сигарет. Я курю так, словно хочу выдымить из себя душу, чтобы не было стыдно. Мое лицо все еще пылает от брошенной в него воды. От костра ко мне идет Маша, тихо присаживается рядом на корточки и смотрит на мои трясущиеся пальцы в оранжевой слизи клея.

– Может быть, вам все-таки нужна помощь, Виктор Сергеевич?

Я смотрю на Машу сквозь дым сигареты. Маша смотрит на мои пальцы и не поднимает глаз. Я чувствую, что она поняла, как мне сейчас хреново. Как мне холодно, тоскливо и унижительно от бессилья. Я чувствую, что Маша хочет снять с меня хотя бы ту боль, которая кривым гвоздем засела во мне после нашей вчерашней встречи в затопленном лесу. Но сейчас я так испсиховался и устал, что мне безразличны все благие побуждения Маши.

– Я же сказал, мне помощь не нужна, – отвечаю я. – Не мешай. Уйди.

Маша встает и уходит. Я доклеиваю заплату и протекторы один. Потом я тоже встаю, иду к костру, молча сдвигаю с бревна Чебыкина, сажусь и протягиваю к огню замерзшие руки со склеенными пальцами. Воцаряется тяжелая, виноватая тишина. И тут в нее всверливается басовитое жужжание лодочного мотора.

Моторка выползает из-за кустов. На середине реки она выглядит маленькой, как перочинный ножик. Поравнявшись с нами, Санек, который по-прежнему лежит на носу, машет Толяну рукой на берег.

– Заметили!... – охает Люська, растопырив глаза.

Толян резко перекладывает руль.

«На этот раз я его убью», – тяжело думаю я.

И вдруг происходит чудо. От резкого поворота, от удара течения в борт моторка круто, в секунду, переворачивается. На миг в воротнике пены мелькает ее просмоленное днище. И все – река пуста, словно кто-то смахнул с нее лодку невидимой рукой.

– Уто... – потрясенно шепчет Люська.

Но тут из воды, как черные мячики, выныривают две головы. Бешеными саженками Толян и Санек гребут к нашему берегу.

– Надо помочь!... Ведь утонул же!... Катамаран спустить!... – не отрывая глаз от плывущих, хватает меня за рукав Маша.

– Спущен уже наш катамаран, – отвечаю я.

Мужики добираются до мелководья и, кашляя, отплевываясь, руками отбрасывая воду, рвутся к берегу. Дрожащие, синие, мокрые, они появляются на поляне и кидаются к костру. Отцы молча расступаются, давая им место. Я сижу там, где сидел. Мужики хрипят, с них льет.

– Согреться... – выдавливая из себя Санек.

Отцы молча наблюдают, как мужики тянут к огню руки, а потом по одному начинают уходить, словно от колодца, в который плюнули. Остаются только Градусов и любопытный Тютин, который, вытягивая шею, прячется за моей спиной. Санек поднимает голову и обводит поляну взглядом. С бровей его свисают сосульки волос. Я сижу.

– Земляки... Вы это... Простите нас... Ну, пьяные были...

В ответ ему – все то же молчание.

– Дайте водки... – вдруг просит Санек. – Загнемся же с холода...

Бутылки у всех на виду лежат в распотрошенном продуктовом мешке.

– Нету водки, – в тишине отвечаю я.

– Начальник, будь человеком...

– Нету водки, – повторяю я. – И вас чтобы через пять минут здесь не было.

Санек смотрит на меня побелевшими глазами. С такими глазами вцепляются в горло. Но мне не страшно. Я хочу драки.

Однако Санек ломает себя.

– Дай хоть у костра посидеть до рассвета, – просит он.

– Четыре минуты.

– Ну, дай хоть спичек сухих... – придушенно говорит Санек.

Я молчу, глядя на часы. Я не хочу мстить этим мужикам. Я не хочу причинять им зло. Но я не хочу делать для них ни капли добра.

– Три минуты.

Толян, обхватив голову руками, начинает тихо и тонко материться, доводя себя до отчаянья, чтобы набраться сил. Я жду. Толян замолкает.

– Время, – говорю я.

Санек еще немного сидит, потом медленно поднимается и за плечо поднимает Толяна. Оба они, сгорбившись, уходят через снег, чавкая сапогами. Уже на опушке Толян оборачивается.

– Ну, щенки, ждите гостей!... – орет он. – Не жить вам, падлы!...

Ему никто не отвечает. Мужики скрываются в лесу.

Отцы к костру не подходят.

– Рожки уже в кашу раскисли, – говорю я.

Ужинаем без разговоров, быстро. Я так и не встаю с бревна, будто приколочен к нему. Меня избегают. Только кто-то – я не заметил кто – ставит передо мной, как перед собакой, мою миску.

– Надо караулить ночью, – глухо говорит Борман. – Вдруг вернутся...

– Не майтесь дурью! – зло отвечаю я. – Идите спать!

Отцы угрюмо уходят в палатку, а я остаюсь. Я слышу, как в палатке что-то тихо и жалобно говорит Люська, как поет Тютин.

– Ложитесь, не каните! – бурчит Градусов. – Он уснет, мы с Чебой вылезем дежурить!...

А я сижу и вспоминаю прошедший день: снегопад над затопленной просекой, Поньш в белых берегах, широкую дорогу Ледяной, храм на взгорье, заброшенный мост, три встречи с гранитными мужиками – на их берегу, на реке и на нашем. Но все, о чем я вспоминаю, так или иначе восходит к Маше. Шаг за шагом она уходила от меня сегодня. Я был досажден ей утром, когда она болела. Я показался ей лживым, когда рассказывал отцам про фрески, а сам жег в церкви костер. Я был унижен, когда мне в лицо бросали воду. Наконец, я был страшен, когда готов был затеять целое побоище ради бутылки водки.

Я достаю эту бутылку и пью. Зря, что ли, я ее отстоял?...

В палатке тихо. Все уснули. Я даже вижу, как они спят. Борман спит солидно. Он покровительственно предоставил Люське руку. Но Люська все равно сползла с нее, свернулась кренделем и успокоенно уткнулась носом Борману в бок. Тютин спит на спине, спит нервно, вздрагивая, раскрыв рот и подняв брови. А Маша спит тяжело, глубоко, отрешенно. Овечкин обнимает ее, сам не очень веря своему счастью. Безмятежно дрыхнет Демон. Он выгреб из-под кого-нибудь мешок себе под голову и забросил на кого-нибудь свои ноги. Строго спят Градусов и Чебыкин. Они и во сне верят, что перехитрили меня и вовсе не спят, а только притворяются.

Я пью водку. Я гляжу по сторонам – бессильно и отчаянно. Яркая, обнаженная луна горит над утесом дальнего берега. Утес похож на застывший водопад. Черная стремнина Ледяной несет над собою холод. По

берегу белеет снег. За кронами сосен празднично светятся высокие дворцы созвездий. Издалека тлеют города галактик. И я безответно-глухо люблю Машу, люблю этот мир, эту реку, люблю небо, луну и звезды, люблю эту землю, которая дышит прошедшими веками и народами, люблю эту бессмертную горечь долгих и трудных верст.

## Четвертые сутки

За ночь я выпил всю бутылку, но от холода даже не окосел. Гранитные мужики не возвращались. В общем-то я и не думал, что они вернутся, и сидел совсем не ради них. Я совершенно продрог у погасшего костра и поднимаюсь с бревна, скрипя заржавевшими суставами, как Железный Дровосек. Одежда стоит на мне коробом. Руки, ноги, плечи, уши и даже зад – как протезы. Я делаю неуверенные шаги, раскачиваясь, как на костылях. В жилах трогается кровь, словно река в ледоход. Я приступаю к делам.

Голубой рассвет растекается в полном беззвучии. За ночь стужа дочиста вылизала тонкое полотно снега на поляне. Сосновые иглы в инее. В мире ни малейшего движения. Даже река задохнулась в холоде. Мир замер. Это – моментальная фотография зимы. На память – до нескорой встречи. И я понимаю, что вижу последний хрупкий миг, отделяющий землю от весны и тепла.

Я занимаюсь простыми, мудрыми и вечными делами – латаю свой корабль, поддерживаю огонь, готовлю пищу. Мир ясный и яркий: синее небо, белый снег, черные угли, алый огонь, оплетающий котлы, и желтая пшенная каша. Это все, что у меня есть. Но этого никто у меня не отнимет. Никакая женщина, будь она хоть тридесято прекрасна. Пусть что угодно, но только не любовь. Я хочу веры в мир и в то, что я делаю. Я хочу твердо стоять на ногах, не желать ничего более и не ждать неизбежного удара в спину.

Отцы к завтраку вылезают из палатки помятые, как фантики из урны. Они хмуро поглядывают на меня, не зная, чего от меня ждать. Рассматривая их сумрачные физиономии, я прикидываю в уме, каким они ожидали меня увидеть. Тютин – мертвым. Демон – пьяным. Маша – каким угодно, но непотребным. Люська – каким угодно, но все сделавшим правильно. Градусов с Чебыкиным небось рассчитывали, что я буду весь в крови, а две туши гранитных мужиков будут жариться на вертеле. Овечкин, наверное, вообще обо мне ничего не думал, а Борман все угадал точно.

– Ты что, всю ночь караулил? – злобно спрашивает Градусов.

Ему досадно, что вчера с Чебыкиным они перехитрили сами себя.

– Можно было и по очереди дежурить, – замечает Маша. – Зачем такое геройство?

– А где еще один флакон? – задает самый щекотливый вопрос Борман.

Я хлопаю себя по животу.

– Ни одного хорошего дела не можете сделать без выпивки, – тихо говорит Маша и опускает глаза, словно ей стыдно.

– Дак че, – возражает Люська. – Ему же холодно было... Страшно.

После завтрака Борман куда-то уходит, и командовать некому.

– Жертва, скажи котлы драить! – тут же распоряжается Градусов.

– А почему я, а не Чеба? Он тоже дежурный!

– Потому что ты струбец, понял? Чеба, пошли чум сворачивать!

Мы начинаем сворачивать палатку. Градусов залезает внутрь и выбрасывает оттуда вещи, потом шест. Шатер парашютом опускается, накрывая Градусова. Из леса выходит Борман. Мы с Овечкиным сворачиваем гремящий от холода тент. И тут с реки доносится Люськин истошный вопль:

– Катамаран уплыл!...

На миг нас всех парализует. Маша, сидящая у костра, приподнимается и вытягивается в струнку, глядя на реку. Демон, лежащий рядом, обеспокоенно разгоняет ладонью перед лицом дым сигареты. Потом мы дружно срываемся и мчимся на берег. Градусов бьется в палатке в поисках выхода, как рыба в сети.

По реке медленно плывет наш катамаран. За ним в воде хвостом тащится чалка. Посреди катамарана, как посреди эшафота, на коленях стоит Тютин, прижимая к груди котелок. Он залез мыть котлы на катамаран, и, пока возился, катамаран тихо сполз с отмели и поплыл сам по себе. Люська, как провожающая за уходящим поездом, бежит за катамараном вдоль кромки реки, зажав рот ладонями и вытаращившись на Тютину, как на покойника, который секунду назад был жив, хрустел сухарями и даже не помышлял о внезапной гибели.

Борман первым вылетает к воде и мечется по берегу.

– Хватай чалку!... – ору я ему.

Борман суетливо забегает в сапогах в воду и тянется за веревкой, но беспомощно оборачивается и говорит:

– Глубже не могу зайти!... Сапоги зальет!... Последние сухие носки остались!...

– Котелком гребите!... – кричит Тютину Овечкин.

Тютин торопливо и бестолково гребет котелком.

Катамаран начинает вращаться вокруг своей оси и отходит от берега еще дальше.

– Надо за ним плыть! – решается Чебыкин.

– С дор-роги!!! – слышится сзади рев Градусова.

Мы шарахаемся в разные стороны. Между нами, напаяливая спасжилет,

с веслом в руке пролетает Градусов и бухается в воду. Люська визжит. Градусов, взбивая фонтаны брызг, с пушечным гулом колотит сапогами и рукой. Красный спасжилет и рыжая шевелюра добираются до катамарана. Забросив весло, Градусов вываливается на каркас.

Первым делом он отвешивает Тютину пинка. Тютин воет, закрываясь котелком. Схватив весло, Градусов пятью гребками утыкает катамаран в берег. Чебыкин цапает чалку. Градусов спрыгивает на землю и злобно топает к костру. На ходу он сдирает с себя спасжилет, куртку, свитер и все это шваркает себе под ноги.

– Обсушился, блин!... – разоряется он. – За-шиб-бись!... Аж вспотел, как припекло!... Бивни!...

Люська виновато трусит за Градусовым, подбирая его шмотки.

– Ну дак че... – бормочет она.

Градусов вдруг останавливается и утыкает палец в Бормана:

– Сапоги ему промочить жаль! До Перми бы в них и чапал, если бы катамаран уплыл! В гроб себе их положи, с дарственной надписью: «Дорогому Борману с любовью от Бормана»! К-хапитан штопаный!...

И снова река, и снова тайга, синие хребты на горизонте, белые скалы над темной водой, плеск весел, поскрипывание каркаса. Я задремываю прямо на ходу. Тогда я отодвигаю весло и укладываюсь прямо на продуктовый мешок. Никто не возражает. Дрема заволакивает глаза. Сквозь ее радужное сияние я молча и безвозмездно наслаждаюсь Машей, сидящей рядом, – линиями ее рук, плеч, склоненной головы. Катамаран покачивается, словно гамак. Я засыпаю с дивным ощущением дороги, которая вечно будет бежать подо мною.

Не знаю, сколько я проспал – час? Два? Три? Я просыпаюсь, оцепенев от холода. Небо вновь затянуто серыми тучами. Ну откуда они только берутся? Я подтягиваю колени к подбородку, обхватываю их руками, но не встаю. Я слушаю, как судачат отцы.

Градусов опять за что-то наезжает на Бормана.

– Господи, Градусов, – спокойно, но с сердцем говорит Борман, – что бы я ни сделал, все тебе не нравится, все не так, всякий раз хайло разеваешь. Да команду ты сам! Жалко мне, что ли?

– Нет уж! – мстительно отвечает Градусов. – Раз уж все такие мудрые, тебя выбрали, ты и команду! Куда уж нам – косопузым, фанерным!...

– Чего орать-то? – хмыкает Демон. – Плыдем же, все нормально.

– А ты молчи в тряпочку! – набрасывается на Демона неугомонный Градусов. – Все нормально ему!... За весь поход кола не отесал!... Ты,

Демон, балласт голимый! Знали бы заранее, так не брали бы тебя!

– Поздняк метаться, – говорит Чебыкин.

Демон только кряхтит, посмеиваясь. Он, как и я, тоже лежит.

– Главное, Градусов, не суетись, – поучает он.

– Я не подсуеюсь, так никто не подсуется! Митрофанова сдохнет, Тютин медведь какой-нибудь задерет, Борман на дерево полезет сапоги свои спасать, а ты все лежать будешь, как дерьмо на лопате! Жертва и то больше вкалывает, чем ты!

– Вообще как зверь работаю, – охотно соглашается Тютин.

– Ну так и шел бы в поход вдвоем с Тютиним, – предлагает Маша.

– В следующий раз так и сделаю! – грозит Градусов. – Как Географ соберется снова, так и позову только Жертву да Чебу, а вы, блин, сидите дома, спускайте воду в унитазах и орите на весь подъезд: «Шум порогов! Шум порогов!»

– А что, Географ уже снова собирается? – оживляется Чебыкин.

– Соберется, куда денется! – уверенно заявляет Градусов.

– Градусов, я тоже хочу в поход! – ноет Люська.

– Ты сперва из этого вернись, – останавливает ее Маша.

– Дак че, вернусь как-нибудь... Борман, а ты еще пойдешь?

– Если с Градусовым, с Демоном, с Тютиним, да еще начальником Географ – не-ет!... – отрекается Борман.

– Я-то все равно больше не пойду, – говорит Демон. – Никакого покоя. Я думал, отдохну в походе, а тут как в шахте.

– Чего вы, как дураки, спорите? – удивляется Овечкин. – Неужели еще не хватило приключений? Так вы разбудите Географа, дайте ему флакон, и дело сделано. Только успевай пригибаться.

– После экзаменов можно снова пойти... – мечтает Люська.

– До лета еще, как до Пекина раком, – вздыхает Чебыкин.

Я лежу и слушаю. Конечно, обалдели все и от меня, и от такого похода. Всем домой хочется. Половина клянется, что больше ни в жисть из города не вылезет. Но все это – пустые обещания. Все они, и даже Демон, через месяц снова придут ко мне и начнут канючить: давайте схо-одим, Виктор Сергеич... Сейчас все хотят одного: тепла, уюта, покоя. Но отравы бродяжничества уже в крови. И никакого покоя дома они не обретут. Снова начнет тревожить вечное влечение дорог – едва просохнет одежда и отмоемся грязь из-под ногтей. Я это знаю точно. Я и сам сто раз зарекался – больше ни ногой. И где я сейчас?

– Домой приеду, расскажу про все, так меня мама за порог не выпустит, – говорит Тютин. – У нас в деревне тоже один мальчик

отпросился за грибами, вернулся – и месяц в больнице пролежал.

– Ты доберись до дому-то, а то и рассказывать некому будет, – хмуро говорит Овечкин. – Трупы не разговаривают.

– А че не выпустят-то? – удивляется Люська. – Меня дак выпустят, и мамка, и папка. Чего в походе такого?

– Чего такого?! – охает Борман. – Да вы сами вспомните! Не на ту речку приехали, да целый день не жрали, да катамаран в пороге разломило, да наводнение, да палатку залило, да «расчески», да эти мужики местные, да вообще – все!

– И Географ каждый день пьяный, – добавляет Маша.

Гм, Маша впервые назвала меня Географом, а не Виктор-Сергеевичем. Что бы это значило?

– Классно, – почесав затылок, подводит итог Чебыкин. – Куча всего! Будет что вспомнить на пенсии. Я бы еще чего-нибудь хотел. А то скучно. Землетрясение бы какое-нибудь или лавину...

– Вон лавина спит, – мрачно указывает Овечкин.

– Чего ты на него наезжаешь? – вскидывается Градусов.

– А ты чего его защищаешь? – парирует Овечкин. – Ты же его в школе ненавидел! Обещал ему дверь поджечь, кота его повесить!...

– Ну, это я шутил, – спотыкается Градусов. – Баловался... А Географ все правильно делает, хоть и нажрался! Подумаешь, нажрался!...

– Нажрался – и правильно, – соглашается Маша.

– Ну и пусть неправильно! Была бы ты, вся такая правильная, моим начальником, так я бы удавился! А с Географом, каким есть, я куда хочешь еще пойду!

– Да иди на здоровье, скатертью дорожка. Кто тебя держит? Кому ты нужен?

– Дак че ты, Маш... – виновато встречает Люська. – Он же тоже человек... Может, он не пьяный заснул, а просто ночью устал...

– Так устал, аж перегар за три километра против ветра, – говорит Овечкин.

– Зато он не орет и не учит, как жить, – выдал сокровенное Тютин. – И относится по-человечески...

– Фиг ли спорить? – пожимает плечами Чебыкин. – Лучше его все равно не с кем в поход идти. Если бы физрук пошел, что бы мы делали? Отжимались бы весь поход... Или Сушка – воще жара! А с Географом приключения эротичные...

– На свою задницу, – добавляет Борман.

– Какая разница: Географ – не Географ, – подает голос Демон. – Какой

он есть, такой и есть. Дело-то не в нем, а в том, что вообще это такое – поход...

Я дивлюсь внезапной мудрости Демона.

– Да Географ командовать совершенно не умеет, – заявляет Борман. – Не умеет, а берется в поход вести.

– А ты умеешь, бивень, да? – насккивает Градусов.

– Так что – я... Я ведь командовать-то не собирался...

– Дак че – командовать, – пожимает плечами Люська. – Его бы все равно никто не слушал. И никого бы не слушали, не только его.

– Я бы первый и бузил, – соглашается Градусов.

– По тебе и видно, – бормочет Борман.

– Тут не командование главное, – говорит Маша. – Может, он и прав, что не стал командовать, я не знаю...

– Тут главное – какой он человек, – заканчивает за Машу Овечкин.

– Под Машкину дудку поешь? – фыркает Градусов.

– Да завали, – отмахивается Овечкин. – Ладно, с командованием мы бы и сами разобрались... Или бы вообще без него обошлись... Но ведь Географу на все наплевать – как Демону. Хочет – напивается, хочет – спит, хочет – в драку лезет. Он как это... бросил нас в воду, и выплывайте сами, как сумеете... Он же опытнее, старше... В конце концов, он за нас отвечает.

– А ты сам за себя отвечай.

– Ну, он хоть какой-то пример нам должен подавать, что ли... – говорит Маша. – Он же учитель, а не так, не пришей кобыле хвост...

– А ты бы брала с него пример, если бы он подавал?

– Брала бы, – подтверждает Маша.

– Вот и бери, – советует Градусов. – С таким, какой он есть, мне баще.

Я лежу, делаю вид, что сплю, и слушаю, как шлифуют мои кости. Конечно, никакой я для отцов не пример. Не педагог, тем более – не учитель. Но ведь я и не монстр, чтобы мною пугать. Я им не друг, не приятель, не старший товарищ и не клевый чувак. Я не начальник, я и не подчиненный. Я им не свой, но и не чужой. Я не затычка в каждой бочке, но и не посторонний. Я не собутыльник, но и не полицейский. Я им не опора, но и не ловушка и не камень на обочине. Я им не нужен позарез, но и обойтись без меня они не смогут. Я не проводник, но и не клоун. Я – вопрос, на который каждый из них должен ответить.

– А что это за шняга впереди? – спрашивает Чебыкин.

– Да скала это, – говорит Овечкин. – Только растрескалась по слоям, вот и похожа на что-то...

– Сам ты растрескался по слоям! – шумит Градусов. – Убери черепок, нормальным людям ни хрена не видно!

Я приподнимаюсь и смотрю вперед.

– Это пристань, – говорю я. – Старая строгановская пристань.

В молчании мы медленно подплываем ближе. Берег разворачивается. Виден большой, холмистый, грязный луг, на котором догнивают беспорядочно разбросанные черные бревна. Луг кончается еловым косогором, за которым лежит глухое, дикое, непролазное урочище. В нем плавают сизая дымка. На камнях и упавших деревьях гулко рокошет маленькая речка. Дальше поднимается горбатая гора, лысая поверху. Между горой и речкой на берегу Ледяной стоит пристань. Темное, угрюмое небо низко навалилось на урочище. Кажется, что урочище вдали, сворачивая, уходит не за гору, а за облако.

– Это речка Урём, урочище Урём и развалины деревни Урёмной, – говорю я отцам. – Гребите к пристани, пора на обед.

– Страшно-то как!... – шепчет Люська.

– Даже причаливать неохота, – признается Чебыкин.

– Че я, один воду лохматить буду?... – орет Градусов.

Мы причаливаем за пристанью. Ее борта, обращенные к Ледяной и к Уремке, сложены из огромных, грубо обтесанных валунов. Валунные стены поднимаются из воды на высоту моего роста. Два других борта пристани, видимо, были скроены из бревен. Но земля, плотно затрамбованная в этот короб, со временем расперла бревна и расплылась, а сами бревна истлели.

Мы поднимаемся на верхнюю площадку пристани, где рыжеют космы прошлогодней травы. У моих ног – валунный обрыв, под которым кружится темная вода. Слева, за Уремкой, нестираной скатертью лежит долина вымершей деревни. Левую скулу обносит зябкостью из елового ущелья урочища – холодного, шумящего каньона, заштопанного вдали косыми стежками рухнувших стволов. Налево и направо широко распаивается Ледяная – мощный свинцовый поток, под тяжестью которого точно прогибается земля, и по уклону к реке бегут мелкие притоки, сползают скалы и сходит тайга. И над всем миром – взрытая облачная пашня, готовая вот-вот просеяться дождем.

– Мощная постройка, – шаркая сапогом по валуну, говорит Борман.

– Как египетская пирамида, – соглашается Овечкин.

– Пирамиды были бесполезные, – возражаю я. – А пристань строили для дела.

Чебыкин, присев на корточки, проводит пальцем по чуть заржавленной железной скобе, какими скреплены гигантские камни.

– Это, наверное, демидовское железо, – с уважением говорит он. – Я по телику кино смотрел про Демидовых. «Демидовы» называется...

– Все смотрели, – бурчит Градусов. – Не один ты такой резкий... Слушай, Географ, а как тут барки-то ихние причаливали? Тут же мелко, а они такие дуры были... – Градусов широко разводит руки.

И тогда я опять рассказываю отцам – про закопченные заводы Демидовых и Строгановых, про плотины и пруды, про барки и сплавщиков, про весенний вал, на гребне которого летели к Перми железные караваны, рассказываю про каменные тараны бойцов, про риск и гибель, про нужду и любовь, которые снова и снова выстраивали людей в ряд у могучих веселопотесей.

– Эх, эротично было на барках плавать... – завистливо вздыхает Чебыкин. Отцы молчат.

– А куда же все это подевалось? – негромко спрашивает Маша. – Сплавы, заводы, плотины, деревни?... Плыдем, и все кругом заброшенное – и церковь, и мост, и пристань... Как будто кладбище...

Отцы глядят по сторонам, точно рассчитывают увидеть то, что пропало. Но конечно, ничего нет. Только голый косогор с трухлявыми бревнами, черный ельник, глухое урочище, старая пристань на берегу пустынной реки, посреди безлюдных таежных путин. Отцы молчат, словно вбирают в себя этот немой простор, одиночество, древнюю тоску земли. Облака медленно текут над нами. С высоты пристани видно, как вдали излучина Ледяной то вдруг сталисто загорается от упавшего рассеянного света, то блекло гаснет в тени. Я все слышу Машины слова: «Как будто кладбище...» То, что раньше нам казалось здесь страшной глухоманью, дремучей дикостью, угрюмой угрозой, на самом деле было печалью, невысказанной болью, неразделенной любовью. И я чувствую, как снова нашу разношерстную маленькую компанию посреди этого неприкаянного пространства сшивают незримые горячие нитки человеческого родства.

– Ладно, – как-то по-особенному сварливо говорит Градусов. – Почмондели, и будя. Дрова пора рвать, жрать охота.

В поисках сушины я забредаю в ельник и вдруг выхожу на поляну у берега Урёмки. Она притаилась в тихом месте и, обойденная ветрами, отогрелась раньше всех. Она сплошь покрыта короткой, ярко-зеленой травкой – такой непривычной взгляду после скупых, темных, строгих красок Ледяной. В траве повсюду, как горошины, разбросаны бледные подснежники. Запах их неуловим, но одуряющ, как вкус талой воды. Я набираю целый пучок полупрозрачных, нежных, еще помнящих морозный морок цветов. Сердце мое словно оголяется от их застенчивой, неброской

красоты.

На полпути до пристани я сталкиваюсь в ельнике с Люськой.

– Вот тебе подснежники, Люся. – Я отделяю ей половину букетика.

– Цветочки!... – вопит Люська и вытаращивает глаза так, словно я протягиваю ей букет скорпионов. Она хватает подснежники, засовывает в них нос и заговорщицки предлагает: – Давайте я вас поцелую?

Она обхватывает меня за шею. Поцелуй ее отнюдь не целомудрен. Но едва я приобнимаю Люську за плечи, как она сразу шепчет:

– Только не говорите никому про это! А то меня убьют!

– Слово пацана! – клянусь я, и тотчас Люська убегает.

Когда я выхожу из ельника, она уже на пристани среди отцов. Она визжит, прячет букетик за спину и отпихивает от себя Градусова.

Градусов, мрачный, как кровник, встречает меня у пристани.

– Географ, – тихо говорит он, – ты чего это цветы даришь?

– Успокойся, – советую я. – И морду сделай проще.

Вторую половину букетика я протягиваю Маше, которая сидит на валуне. Не глядя на меня, Маша молча берет цветы и кладет их рядом.

Чебыкин развел на пристани здоровенный костер, в котором почти не видно котлов. Тютин суетливо бегаёт вокруг с поварешкой.

– В момент котелки закипели! – хвастается он, заваривая чай. – Учитесь, как надо обед готовить! Пык-пык, и сделано! Это вам не Демон, это мы с Чебой – монстры!... Ага, вот и супчик поспел!

Чебыкин режет хлеб. Все держат наготове тарелки. Тут Тютин штормовкой зацепляется за костровую перекладину. Рогатка вылетает, как табуретка из-под ног висельника, перекладина падает, и котел опрокидывается. Суп широкой звездой размазывается по земле, взрывается на углях. Все молчат, потрясенные. Градусов отлепляет от сапога кусочек мяса, кладет его в рот и в полной тишине говорит:

– Вот и поели... Низкий поклон тебе, Тютин.

На Тютина жалко смотреть. Все прячут глаза.

Отплываем голодные и злые. Перед отплытием я обхожу пристань посмотреть, не забыто ли чего. На валуне у черного круга кострища белеют подснежники, оставленные Машей. Посреди старой пристани они похожи на те букетики, которые кладут на Могилу Неизвестного Солдата.

Плывем. Начинается дождь. Сплошная рябь слепотой затягивает реку. Дальние концы плесов как в тумане. Мутное, неровное небо шевелится над скалами.

Моя гондола совсем сдулась. Видимо, разошлась одна из вчерашних

склеек. Катамаран перекосялся на мою сторону. Угол каркаса ушел в воду. Гондола мятой, бесформенной грудой пучится подо мною.

– Все, отцы, – говорю я. – Я свое веслом отмахал.

Я откладываю весло и налаживаю насос. Отцы продолжают грести, то и дело оглядываясь на меня. Я качаю. Плечи мои ходят вверх-вниз, воздух шипит в шланге, катамаран колыхается.

– Это похоже... – начинает сравнение Демон.

– Не говори! – вопит Люська.

Отцы ухмыляются. Я тоже знаю, на что это похоже.

– Это оно самое и есть, – подтверждаю я.

Люська стонет, Маша возмущенно фыркает, отцы ржут.

Мы плывем.

– Географ, – раздумчиво окликает меня Борман. – А вот если до деревни Межень километров двадцать осталось, так ведь мы и самосплавом к завтраку доплывем, да? Тогда, чтобы не мокнуть, можно всем залезть под тент и не грести, да?

– Хрена ли! – тут же орет Градусов. – Вы сюда зачем приехали – грести или как? Подумаешь, на лысину капает! А вдруг чего впереди – порог или «расчестка»? Мы и попадем в них, как телега с навозом!...

Но все уже расправляют тент и лезут под него от дождя.

– А-а, ну вас! – сердчает Градусов. – Я один грести буду!

– Я тогда тоже, – говорит Чебыкин. – Чего мне дождь? Фигня.

Теперь я качаю под тентом. Здесь тепло и влажно.

– И зачем только люди в походы ходят? – заводится Тютин. – Голодают, мерзнут, мокнут, не высыпаются, устают и пахнут как негры... И это по собственному желанию, за свои же деньги...

– Не стони, – обрывает Тютин Овечкин.

Крен катамарана постепенно уменьшается. Гондола принимает прежние размеры. Впрочем, через час она все равно спустится. Я откладываю насос и ложусь на продуктовый мешок. Под тентом тихо, все слушают, как ропочет дождь по полиэтилену, и, видно, потихоньку засыпают под шум дождя, как под бабушкину сказку.

Я просыпаюсь от того, что Градусов тычет в меня веслом.

– Географ, кажись, гроза будет! – говорит он.

Я откидываю тент и сажусь. Лицо сразу обдает холодом. Дождик прекратился. Над рекой порывами шарахается ветер. Лес по берегам шумит. В потемневшем и сквозистом воздухе удивительно четко и графично рисуется каждое дерево. Облака сгребло в кучи с черными подбрюшьями и седыми космами по краям. Эти космы стоят дыбом и

жутко лучатся в ярких, темно-синих промоинах между облачными горами. Река нервно горит пятнами голубых отражений в угрожающе-тусклой, мрачной воде. Дальняя белая скала – как разбойник, поджидающий на большой дороге, чтобы огреть кистенем.

– Верно, гроза будет, – соглашаюсь я. – Залезайте под тент.

– А кто грести будет? – злобствует Градусов. – Пока вы дрыхли, тут одни острова пошли! Натащит в протоке на завал, проткнемся, Борман сапоги промочит – беда же будет! Давай сам залезай под тент, какой с тебя прок! Через полчаса твою полупопицу снова дуть надо будет!

– А я вот весь в тоске, – говорю я, – почему это мне Градусов приказать забыл?

Рубашки Чебыкина и Градусова пузыряются на ветру. Туча надвигается, распахиваясь, как пасть. Свет, летевший сверху, вдруг моментально отключается. В полумраке свистит падающая на нас, захлопывающаяся челюсть грозы. Ельник на берегу, охнув, дружно пригибается. Я стремительно натягиваю на себя тент, поджимая ноги. Последнее, что я успеваю увидеть, – это ярко-желтые, пылающие облака в полыньях высокого неба. Гроза гонит их перед собой, как каратели гонят овчарок.

Белый огонь режет по глазам. Одновременно потрясающий залп разрывается над нами. Все спавшие мгновенно просыпаются и подскакивают. Тотчас тяжелые капли, как первый перебор струн на гитаре, пробегают по тенту. И сразу рушится ливень. Полиэтилен грохочет, как жесть. Градусов и Чебыкин снаружи воют, точно изгнанные из избы собаки. Целые ледяные пласты падают сверху, скульптурно облепляя нас тентом. Ливень лупит так, что всем телом воспринимается его жидкий, бегущий вес. По макушке, по затылку, по ушам и по плечам я ощущаю щелбанную дробь.

– Ни фиги себе!... – охает кто-то.

– Гроза-то прямо над нами... – дрожащим голосом говорит Люська.

– Такая сильная гроза ненадолго, – успокаивает Овечкин.

– Только бы молния в воду не ударила, – заклиняет Тютин. – Тогда всем конец... У нас в деревне...

– Заткнись, – обрывает его Борман.

Страшный грохот вновь перетряхивает душу, отзываясь ударом ужаса по нервам. Небо словно лопается под колуном и разваливается антрацитовыми глыбами. Гром катится через нас, как поток через камни порога. Катамаран медленно кренится на мой угол. Отцы хватаются за рюкзаки. Люська визжит. Маша вдруг дергается, поворачиваясь ко мне. Глаза ее сумасшедшие, губы прыгают, лицо мокрое. Запинаясь, она

отчаянно кричит:

– Вик!... Сер!... Географ! Шланг выдернул!...

– Тонем!... – визжит Люська и страшно взывает Тютин.

Это я, пока возился, выбил ногой шланг насоса из пипки гондолы, и теперь воздух прет обратно, а мы действительно тонем.

Я волчком разворачиваюсь на брюхе и по пояс вылетаю из-под тента. Хвостик пипки ушел в воду. Из него, бурля, вылетают гроздьи пузырей. Я сую руки в воду по плечи, хватаю хвостик и пережимаю его. Тотчас я трогаюсь и еду под уклон, как лодка со стапеля.

– Девки, держи меня!... – ору я. – Машка, насос!...

В четыре руки за штаны Маша и Люська выволакивают меня на рюкзак. Я лихорадочно впихиваю шланг насоса в пипку и начинаю качать. С рукавов и груди у меня течет. Ливень отплясывает на голове, на плечах, на спине, на коленях. Черная река в белой пене. Градусов и Чебыкин таращатся на меня. Они голые по пояс, блестящие, синие. Волосы у них облепили лоб и уши, а губы от холода вообще стерлись с лиц. Сзади меня прикрывают тентом.

– Спасибо, девчонки, – задыхаясь, говорю я и качаю дальше.

Берега мельтешат. Над рекой призрачно горит многоэтажная, дымно-сизая туча. Прямо над нами – око бури: жуткое, как раковая опухоль, сгущение в сплошной толще. Оно похоже на электрического спрута, все в фиолетовых огнях. Оно вплелось в тучу щупальцами. В нем вспыхивают кровеносные сосуды, по которым бежит белая, светящаяся, ядовитая кровь.

Я залезаю под тент совершенно мокрый. Никто ничего не говорит. Я молча качаю. Дождь все метет и метет по тенту. Однако бег его словно бы замедляется.

Когда моя гондола всплывает окончательно, слышно лишь, как ветер мнет полиэтилен. Я откидываю его с головы. Задранная корма тучи висит выше по течению реки. Под ней продолжает метаться мрак, зажигаются молнии, доползает гром и раскачиваются полосы дождя. А вокруг нас уже тишина и покой. В лесу по берегам шумит ветер, словно лес переводит дух. Вода в Ледяной еще взбаламучена, и в ней еще не выкристаллизовалось ни одного отражения. Через все небо расплзлось целое облачное стадо, но эти облака – легкие, воздушные, пустые. Одно из них заслонило низкое солнце. Но веер длинных, светлых лучей медленно ползет по таежной шкуре, по дымящимся распадкам, по искрящимся скалам. А там, откуда пришла туча, в густой фиолетовой краске северной стороны небосвода, над Ледяной встала радуга, и внутри нее – еще одна. Точно такая же, но поменьше.

Створ за створом берега тянутся сплошь крутые, еловые. Ни полянки, ни бровки. Давно пора вставать на ночлег, а мы все плывем. Наконец Борман приметил какую-то луговину. Мы причаливаем, все вылезает посмотреть. Отцы долго ходят взад-вперед, топчутся, озираются, пинают кусты и орут. Наконец возвращаются обратно.

– А, пес с вами! – в сердцах говорит Борман. – Не хотите – как хотите! Ща, блин, там для вас за поворотом терем отгрохали!...

Плывем дальше. Поворот за поворотом, створ за створом, плес за плесом. Одни еловые кручи и скалы. Постепенно темнеет. Еловые штыки, вырастая, загораживают солнце. Последние отсветы, как перелетные птицы, утягиваются за теплом. Мрачно зажигается ночная гладь. Бледные утесы походят на айсберги. Дикая, голая луна висит в зените. Ее зеленый огонь фантастически очерчивает контуры плывущих облачных разводьев, и прямо над нами шевелится уродливый, светящийся, кривой узор. Стужа поднимается от воды, леденя душу. Борман ругается:

– Ползи теперь, Градус, раком по берегу, в одной руке – спичка, в другой – лупа, ищи, блин, место удобное! Ты ведь лучше всех все знаешь, все умеешь! Герой! Воевода! Если бы ты первый увидел ту полянку, так, блин, трусы бы порвал, лишь бы мы на ней заночевали! А раз я ее увидел, так не поляна, а дерьмо! Выпендриваешься тут, неизвестно перед кем...

Услышав это «неизвестно перед кем», Люська возмущенно фыркает.

– А вы все тоже!... – распаляется Люськиным фырканьем Борман. – Сами меня командиром выбрали, так хрена ли Градусу в гудок глядите? «Поплыли дальше, найдем получше!...» Вот и плывем! Ищем!

Промерзший, продрогший Градусов стучит зубами и не отвечает.

По берегам ни зги не видно. Что там – поляна? Круча? Косогор? Сплошная черная масса, глухо гудящая в ночи. Мы плывем, плывем, плывем...

– Вроде дом впереди... – неуверенно говорит зоркий Чебыкин.

– Может, деревня Межень? – робко предполагает Тютин.

– Слишком рано, – говорю я. – Перед Меженью Долгановский порог, а мы его не проплывали. Наверное, это нежилая деревня Рассоха, как на карте написано. Я думал, что там ничего нет, как в Урёме, а оказывается, еще дома стоят...

– Не дома, а один дом, – поправляет Чебыкин.

Вскоре я различаю безглазое, смутно белеющее строение.

– Причаливаем, – солидно распоряжается Борман.

На отлогом берегу, террасами уходящем от реки, мы быстро разбиваем

лагерь. Кроме этого белого дома в деревне Рассоха не видно ничего – ни других домов, ни дорог, ни столбов, ни тем более огней. Мы как попало разбрасываем вещи, второпях ставим палатку. Чебыкин приволакивает ворох досок и разжигает костер.

– Тютин, иди еще дров нарви, – говорит Чебыкин, вешая котлы. – Там по берегу досок до фига валяется.

– Я боюсь один в темноту, – хнычет Тютин.

– Сейчас как дам в репу, – предупреждает Чебыкин.

Тютин, вздыхая, уходит. Все толпятся у огня. Из тьмы появляется трясущийся от озноба Градусов с двумя большими бревнами.

– Больной таскает, а здоровые, блин, стоят как пни, – ворчит он, бросая бревна перед костром и усаживаясь. Все тоже садятся.

– Ты простыл, да? – участливо спрашивает Градусова Люська. – Дай я рядом с тобой сяду...

– А нет, не простыл, изжарился под дождем! – злобствует Градусов.

Люська заботливо кладет ладонь ему на лоб.

– Горячий! – с ужасом говорит она. – Таблетку надо!

Градусов с грохотом шмыгает носом. Маша идет за таблеткой.

– Ты же утром искупался, – сюсюкает с Градусовым Люська. – Зачем же в грозу под тент не залез?

Градусов молчит – скорбно и гордо.

– У тебя одежда сухая есть? – допытывается Люська, щупая его плечи и коленки. – Дать тебе мой свитер?

– Вот такой, да? – Градусов двумя щепотями оттягивает грудь на своей тельняшке. – Не надо!

Борман, видя все это, мрачнеет на глазах.

– А-а, давайте водки выпьем! – отчаянно предлагает он.

Никто не отзывается. Борман угрюмо глядит в костер.

– Ну и хрен с вами со всеми! – вдруг в отчаянии говорит он, швыряет тарелку, которую приготовил под суп, и уходит в палатку.

– Люська, ты – переходящее красное знамя, – говорю я.

– Где? – удивляется Люська.

Маша и Овечкин усмеваются. Градусов скрежещет зубами.

– Географ, я тебя задушу ночью, – предупреждает он. – Н-на фиг!

На старых досках суп сварился необыкновенно быстро. Чебыкин разлил всем по тарелкам, Тютину – в тарелку Бормана, а котел сразу залил водой и повесил греться, чтобы отмыть.

Пьем чай. На заварку не поскупились. Чай ядреный, духовитый.

– Маш, может, пойдём спать? – после чая тихо зовет Овечкин.

– Иди, – пожимает плечами Маша. – А я еще останусь. Хочу побыть у костра. Сегодня ведь последняя ночь...

Овечкин, как и Борман, угрюмо молчит, а потом встает и уходит. Сегодня у нас палатка – приют обиженных.

Последняя ночь... Зря Маша произнесла эти слова. Как приговор огласила.

Отцы ничего не говорят, дуют в горячие кружки. В темноте раздается деревянное бречание. Появляется Тютин, притащивший кучу досок. Он вываливает их в костер и гнусавит:

– Уже жрете, да?... А я чуть не помер, такая страхотища!... Да-а, вам смешно. – Он наливает себе суп и берет хлеб. – Даже суп остыл, пока я там шароперился, – ноет он, орудуя ложкой. – И не солено ни фи́га... Чеба, ты же орал, что густо будет, а у меня всего одна лапшинка и жира только две звезды...

– Бивень, – посмотрев в тютинскую тарелку, говорит Чебыкин. – Это не суп. Это я воду из реки набрал котел мыть.

Все невесело смеются.

Просто так сидим, молчим. Ветер треплет лоскутья костра. Кругом тишина и темнота. Не видно ни Ледяной, ни берегов, ничего. Только в небе на месте луны светятся зеленые облачные кружева.

– Ладно, спать пора, – вставая, мрачно говорит Градусов и по-хозяйски распоряжается: – Митрофанова, пошли.

А вслед за ними потихоньку утягиваются и Демон, Тютин, Чебыкин.

Мы остаемся с Машей вдвоем. Мы сидим и молчим. Последняя ночь... Все позади. Я ничего не успел. Я проиграл. И на Бога не надеялся, и сам плошал. Я пропил, повеселился, отпугнул свое счастье. Но это было прекрасно, хоть я и не успел. Те несколько минут вдвоем у костра, что нам остаются, ничего не решат. Поэтому я не хочу ни обнимать, ни целовать Машу, ни разговаривать с ней. Просто посидеть молча и разойтись насовсем. Больше-то ведь ничего уже не будет. Кто сказал, что я неудачник? Мне выпала главная удача в жизни. Я могу быть счастлив, когда мне горько.

– Эх, Виктор Сергеевич... – говорит Маша. – Так хорошо просто сидеть с вами, просто смотреть на огонь... Так бы с самого начала, каждый вечер... – В голосе Маши тоска. – А вы всегда пьяный, орете, гадости говорите, глупости всякие делаете, с пацанами паясничаете, анекдоты рассказываете... Вам надо держать себя в руках, быть нормальным человеком... Всем же от этого лучше – и вам, и окружающим...

Маша не добавляет «и мне». А я вдруг вспоминаю однажды

прозвучавшую тютинскую фразу.

– Маша, – устало отвечаю я. – Я старше тебя. Я больше перетерпел. Я опытнее. В конце концов, я твой учитель. Но ведь я не учу тебя жить...

Маша встает и молча уходит в палатку.

Я остаюсь у костра один.

## Последние сутки

Отцы уже завтракают. Меня разбудили последним. Я иду к реке, присаживаюсь на истоптанной бровке и умываюсь жгучей, ледяной водой. Словно невидимый нож срезает омертвевшую кожу с души. Я ощущаю простор, волю, холод. Боже, как хорошо – выспался, не с похмелья, и погода моя любимая: хмурая, облачная, ветреная. Ветер сразу вздувает рубашку, оборачиваясь по ребрам холодным полотенцем. Воздуха – океан. Пространства – не вздохнуть. Широкая и темная полоса Ледяной мощно утекает вдаль. Облака бегут сплошной отарой – мутно-белые, шевелящиеся, беспокойные.

Моя миска полна каши. Но я, усевшись у костра, сначала закуриваю. Градусов отклоняется от огромной головни, которую я вытянул из углей, чтобы зажечь сигарету.

– Ты бы еще бревно взял, бивень!... – орет он.

– Отжимайся, – блаженно советую я, тихо млея от первой затяжки. В голове становится облачно и пасмурно, словно тают недоснившиеся сны.

– Географ, сегодня у нас, значит, Долгановский порог, а потом из деревни Межень мы уезжаем домой, да? – спрашивает Борман.

– Наконец-то домой... – вздыхает Тютин.

– Охота, что ли? – удивляется Чебыкин. – Я бы еще год плыл!

– Дак плыви, – разрешает Тютин, осмелев от близости возвращения.

– Надо еще деревню заценить, – говорит Чебыкин. – Странная она какая-то...

Я оглядываю берег, густо заросший ивняком и березками. По берегу то здесь, то там высятся кирпичные развалины. Именно и странно, что кирпичные. Зброшенная Рассоха совсем не похожа на заброшенный Урём. Там – плешь с бревнами, тут – заросли с руинами. А в принципе, конечно, одно и то же.

– Надо сходить, – поддерживает Чебыкина Тютин. – Вдруг там клад?

– О господи, – говорит Маша, прикрывая глаза ладошкой.

После завтрака мы дружно отправляемся в деревню. Мы через кусты на склоне ломимся к ближайшему зданию. В зарослях неожиданно обнаруживается ровная, как по линейке, полоса бурьяна. Мы топаем дальше по ней. Вдруг Тютин визжит и кувыркается на землю.

– Ну что там, Жертва? – раздраженно орет Градусов.

– На гвоздь наступил!... – жалуется Тютин и поднимает ногу.

Однако никакого гвоздя в его подошве нет. От сапога тянется жесткая, толстая нить. Мы подходим ближе и глядим в изумлении. Чебыкин присаживается на корточки и выдергивает из резины длинную ржавую жилу колючей проволоки.

– Да она ж тут везде!... – пристально вглядываясь в бурьян под ногами, говорит Борман. Мы тоже смотрим на землю. Среди бурой листвы и гнилых стеблей репейника ползут, извиваясь, рыжие, шипастые железные нитки. Демон присвистывает.

– Да это ж не деревня, а зона! – тихо говорит Овечкин.

Люська вскрикивает и зажимает рот ладонью.

И вправду: мы – в брошенном лагере. И от этого мир словно нахмушивается. Облака бегут – словно хотят побыстрее уйти от этого места. Река не течет – неудержимо утекает отсюда. Солнце заслонило лицо локтем. Даже утес, выдвинувшийся из дальней горы, словно прикрылся плечом. Эта земля зачумлена.

– Да ладно! – злобно говорит Градусов. – Чего тут охать!

Мы идем по брошенному лагерю. Здания окружены грудami щебня и битого кирпича. Крыш нет. Внутри кучи мусора, полусгнившие балки, рухнувшие стропила. Блестят осколки стекла. Корезится выдернутая, изогнутая арматура. Кое-где громоздятся ржавые остовы каких-то машин. Облака все бегут и бегут над облупленными, выщербленными стенами. В проемы окон всовываются голые ветви. Запустение. Тоска.

– Люди ушли, а их тоска осталась, – вдруг говорит Маша.

В кустах, как обломки затонувшего корабля в водорослях, чернеют разные железяки – ободы автомобильных колес, трубы, какие-то смятые конструкции, проржавевшие котлы. Кое-где нам встречаются большие, сплошь заросшие прямоугольные ямы – видимо, тут стояли бараки. В одном месте вверх дном лежит кабина от грузовика. В другом – высится целая гора двухэтажных нар, сквозь которую проросли тонкие березки. То и дело наш путь пересекают бурьяновые полосы ограждения, на которых, как бакены, лежат рыжие колпаки фонарей.

– Вот времена-то были, а, Географ? – говорит мне Градусов.

– Воще жара, – соглашается Чебыкин.

– Я бы умерла, если бы сюда попала, – признается Люська.

– Я бы, блин, отсюда сразу в побег ушел, – заявляет Градусов.

– Ну и сдох бы в тайге.

– В тайге-то эротичнее, чем здесь, – говорит Чебыкин.

Мы попадаем к массивному одноэтажному зданию, по окнам врытому в землю. На его крыше растут кусты.

– О, карцер! – делано беззаботно говорит Градусов. – Кондей!

Я чувствую, как по всем нам промахнула волна жути. Словно гуляли по заброшенному кладбищу и вдруг увидели свежеразрытую могилу.

Первым сквозь решетку на входе в карцер пролезает Чебыкин.

– А-а! Тут скелет прикованный!... – гулко кричит он изнутри.

– Мамочка, я боюсь! – стонет Люська.

Отцы запикивают ее внутрь и лезут сами. Последним лезу я.

Полумрак. Какие-то клетушки. Белые нитки корней, свисающие с потолка, бесплотно касаются лба и ушей. Под ногами шуршит хлам. Толстые, совсем крепостные стены и узкие-узкие проходы. Амбразуры окон перекрыты двумя слоями могучей решетки.

Отцы разбредаются по камерам. Овечкин на пробу качает решетку на окне. Чебыкин корчится на нарах. По его лицу видно, что он прислушивается к своим ощущениям. Маша стоит в стороне, обхватив себя руками за плечи. Она ошарашенно озирается. Глаза ее поблескивают в темноте. Градусов пинает стены, словно испытывает их на прочность. Люська, встав на цыпочки, таращится в окно и вдруг дико визжит. Всех подбрасывает.

– Щас как дам в бубен! – в сердцах орет Градусов.

– Вон там, смотрите!... – жалобно говорит Люська, показывая в окно.

Поначалу из окна видны только темные, спутанные заросли – голые и дикие. И тут вспышка страха бьет в виски. Оказывается, в зарослях, почти неразличимые, еще стоят столбы с натянутой проволокой. Они словно древние, черные идолы – хранители зловещих тайн язычества.

– Как лешие, – в лад моим мыслям вздыхает Демон.

– Все это – чертовщина какая-то! – с силой говорит Маша и проводит по глазам ладонью, словно снимает паутину.

Приглушенно переговариваясь, отцы наконец выбираются из карцера. Я же присаживаюсь в уголочке камеры на нары покурить. Пальцы мои дрожат. Эта Рассоха меня доконала. И тут за стенкой я слышу голоса.

– Маша, ну что опять?... Чего ты психуешь?...

– Ничего... Место такое... нехорошее. Концлагерь.

– Не ври... О чем ты вчера говорила с Географом?

– Что за допрос, Овечкин? Я тебе кто, жена, что ли?

– Маш, ну ты же все понимаешь, чего я тебе буду объяснять...

– Ну да, понимаю... И ты ведь тоже понимаешь.

– Что?

– Ты хороший человек, – помолчав, с трудом отвечает Маша. – И ты мне очень нравишься... Но я тебя не люблю. Вот что.

Овечкин ничего не говорит. Кажется, он даже не дышит.

– Извини, – искренне добавляет Маша. – Я не хотела сделать тебе больно. Но это правда. Не расстраивайся, пожалуйста. Бывает и хуже.

«Бывает и хуже», – согласно думаю я, сидя на нарах в старом карцере посреди брошенного лагеря.

Из Рассохи мы выплываем с большим опозданием. И опять створы, леса, дальние, серые в хмурую погоду хребты, белые скалы, мгlistый простор. По берегам появляются приметы жилья – луговины с жердями для стогов, броды, просеки. В бегущих облаках проскальзывают тяжелые, темные, вислобрюхие тучи, как льдины в шуге. И точно – через полчаса опять начинает сеяться мелкая, нудная морось.

Отцы тотчас забираются под тент и начинают резаться в дурака. Снаружи уже не остается никто. Всем кажется, что поход как бы уже закончился, осталось только переждать время. В разговорах пересыпаются имена тех, с кем скоро предстоит увидеться, и через слово – «дома», «дома», «дома»... А я молчу. Я и сам не знаю, где я – дома. И пока что я не хочу уезжать с Ледяной. Я чувствую, что очень многого недобрал. Мне мало.

– Географ, глянь, – зовет меня Борман. – Это не Хромой камень?

Я откидываю тент. Изгиб реки в дождевой дымке и над ним – кривоплечая скала с черным гребнем леса поверху. Это Хромой.

– Причаливаем, – говорю я. – Пойдем на разведку порога.

Мы причаливаем, выбираемся на берег и тотчас сбиваемся в кучу. Сообразительный Чебыкин волочит тент и накрывает им сразу всех.

– Надо ведь катамаран привязать, – вздыхает Борман.

– Ну и шуруй, ты же капитан, – злорадно отвечает Градусов.

– А пойдемте все вместе, – предлагает Чебыкин, жалея Бормана.

Эта мысль неожиданно всем нравится. Мелкими шажками, пиная друг друга по пяткам, мы ползем за чалкой и привязываем ее к кусту.

– Зыко получается! – хохочет Чебыкин.

Дальше мы просто стоим, пережидая дождь.

Но стоять скучно. Демон пробует закурить, но на него орут. Тютин наклоняется почесать колено и получает пинок под зад от Градусова.

– Слушайте, давайте, чтоб не мерзнуть, водки замахнем? – предлагает Борман.

– Ну, ща! – подаю голос я. – Чтобы в пороге вы пьяные на дно пошли?

– В кои-то веки Географ против выпивки, – хмыкает Овечкин.

– Оскотинился, – соглашаюсь я. – Бивень. Лучше пойдемте на разведку

порога, если замерзли. Не ливень все же, так – морось.

– А как сейчас, слоником, идти можно? – спрашивает Люська.

– А почему бы и нет? Тут дорога вдоль берега.

Проселок сам выворачивается под ноги. Наш слоник, хихикая и взвизгивая, растягиваясь и сжимаясь, медленно выбирается из перелеска и ползет вдоль реки. Вскоре Ледяная под склоном начинает шуметь. Это внизу потянулась шивера, предваряющая Долгановский порог. Мы ползем дальше.

– Стой, – говорю я. – Зырьте, вон табличка. Отцы приподнимают тент козырьком. Блестящая никелированная табличка привинчена к скальной стене над дорогой.

– «В этом пороге 7 мая 1967 года трагически погиб турист Сергей Долганов. 1948–1967 гг.» – читает Чебыкин.

– Потому порог и называется Долгановский? – спрашивает Люська.

– Да. Географ же тыщу раз объяснял, – говорит Борман.

– Дак че, – неизменно отвечает Люська.

– Вы шары-то в другую сторону поворачивайте, – ворчит Борман. – А то вторую табличку вешать придется...

Мы идем дальше вдоль Долгана. Шивера расслаивает течение на несколько неравных потоков. Потоки словно бы заворачиваются спиралью друг вокруг друга, обрастая пеной, и в сплошном мыле начинается порог. В густом кипении торчат каменные зубцы. То взблескивают, то пропадают желтоватые струи – как спины дельфинов. Взлетают фонтаны брызг. Стоит гул и рокот. Я отчетливо вижу три рельефных пенных барьера – три каскада Долгана. Да, Долган – это штука серьезная. Не то что водяной ухаб под Семичеловечьей, разломивший наш катамаран.

Я вылезаю из-под тента и пальцем указываю, где – чего, вычлняя из хаотичной круговерти основные звенья. Вот кинжальный слив, вот бочка, вот бульник, вот косые валы, вот воронка, вот обливной валун, вот плита-полоз, вот противоток, вот улово, вот заверть, вот подрезная струя, вот суводь, вот слив ромашкой, а вот подковой. Я напрягаю глотку, перекрикивая шум порога. Я объясняю, как нам надо проходить Долган. Я объясняю каждому, кому как надо работать. Я называю ориентиры. Я даже признаюсь, что командирское место – мое и мне с Борманом придется поменяться.

Борман слушает меня, морща лоб и шевеля губами. Градусов засовывает руки в карманы, косится на реку, презрительно щурится и сплевывает. Чебыкин млеет, слыша грозные и красивые слова: «пульсирующий вал», «отбойная струя», «телемарк», «оверкиль».

Физиономия Тютина выражает предсмертную тоску. Демон, как всегда, безмятежен. Овечкин хмур и недоволен, как перед скучной и тяжелой работой. Люська таращится на меня в ужасе, открыв рот. Маша глядит чуть виновато, а может, даже грустно: стоит ли напрягать разум и силы, если перед нами – стихия, не знающая закона? Все эти пышные термины – та же пена на поверхности судьбы.

Мы добираемся до конца Долгана и оглядываем порог снизу вверх, задом наперед. И отсюда видно, что весь порог – это длинные, стертые, выщербленные ступени речного русла, по которым несется и скачет бешеная, слепая вода.

– Виктор Сергеевич, я не уверен в себе, – говорит Борман. – Может, вы все-таки сами поведете катамаран?

– Нет, – отвечаю я. – Поведешь ты. Лидер – это тот, кто лидер до конца. Будь уверен в себе. И если припечет, то не вспоминай, чему тебя учили. Лучше последовательно делай то, что считаешь верным. А вы, отцы, подчиняйтесь капитану беспрекословно. Это, между прочим, иногда труднее, чем командовать самому.

Отцы долго и задумчиво глядят на порог.

– Эротично... – наконец говорит Чебыкин.

– Страшно, – возражает Люська. – А можно по берегу пойти?

– Можно. Кто боится – идите по берегу. Ну, есть еще вопросы?

Вопросов нет.

– Значит, так, – говорю я. – Тогда вы возвращайтесь и готовьте обед. А я пойду в Межень. Вон она, за Хромым камнем. Два километра отсюда. Раз в день к четырем часам туда приходит автобус со станции Гранит. Мы на него не успеваем. Но я успею и договорюсь с водителем, чтобы он снова приехал за нами часов эдак в десять. Нам хватит времени, чтобы после порога разобрать, высушить и упаковать катамаран, собрать рюкзаки и поужинать. А в десять уедем на станцию, и ночью – домой. Расклад ясен?

– Ясен, – кивает Борман.

– Может, кто хочет со мной пойти, за компанию? – спрашиваю я.

Переться в дождь дураков, естественно, нет.

– Я хочу, – вдруг говорит Маша. – Возьмете меня, Виктор Сергеевич?...

Подняв капюшоны, мы с Машей идем по проселку. Слева – лес, справа – Ледяная. Мы не разговариваем. Я держу руки в карманах и широко перешагиваю через лужи в старых колеях.

– Виктор Сергеевич... – наконец говорит Маша. – Виктор Сергеевич...

Я хочу вам сказать... Простите меня.

– За что? – охрипнув, спрашиваю я.

– За то, что наговорила вам вчера. И вообще... Сегодня мы уезжаем, и у меня такое чувство, что все это время я потратила даром...

Надо же... Всегда вела себя безупречно – а чувство то же самое, что и у меня. Значит, есть на свете и грех праведности.

– Я вот думала, что все поучала вас... А зачем? Ведь есть Овечкин, который все делает правильно. Но я его не люблю.

Я искоса гляжу на Машу. Маша смотрит себе под ноги.

– И еще я поняла, что мне-то легко в вас влюбиться. Ученицы всегда влюбляются в учителей... А вам? Может, вы больше тосковали, чем веселились... А я вам морали читала, дура...

– Да брось ты, Маш... – без голоса говорю я.

У меня вдруг рождается дикое желание, чтобы после этого разговора у меня с Машей что-то продолжалось. Неужели такое понимание пришло зря, слишком поздно? Ведь нам не по восемьдесят лет и живем мы не в разных полушариях... Почему же душу мою гложет ощущение неминуемой вечной разлуки?

– А вы меня и вправду любите, Виктор Сергеевич?

– Вправду, Маша. А ты меня?

– А я, наверное, без вас жить не смогу.

Я усмехаюсь, пряча лицо в капюшон штормовки. Сможешь, Маша. И я смогу без тебя. Вопрос – как? Раны-то заживают, но потери не восстанавливаются.

Проселок выводит нас на берег маленькой речки – притока Ледяной. Вот так раз! Половодье раздуло эту речонку метров до семи шириной. Течение мощное, вода рыжая, оба берега – подмытые глиняные обрывчики. Через речонку переброшено старое, склизкое бревно.

– Хлипенькое какое... – говорю я, трогая бревно ногой. – Может, Маш, ты вернешься обратно, а я дальше один?...

– Что уж, я по бревну не проползу? – усмехается Маша.

Я усаживаюсь на бревно верхом и лезу вперед, опираясь на ладони и подволакивая зад. Вода несется в нескольких сантиметрах от моих сапог. На середине бревна я оглядываюсь. Маша пробирается за мной. Я лезу дальше, и тут нутром чую беду. Под нашей тяжестью здоровенный ломоть берега, на котором лежит конец бревна, начинает медленно отклеиваться от массива. Чавкнув, раскрывается красно-бурая, мясная трещина. В ней видны темные жилы корней.

– Маша, назад!... – кричу я, и тут же мы рушимся в воду.

Я переворачиваюсь через голову, точно в невесомости. Дикий холод вспышкой окатывает тело. Я пулей вылетаю на поверхность. «Маша!...» Машина голова выныривает рядом, облепленная волосами, прошлогодней травой и черными листьями. Лицо у Маши бледное, как у покойницы. Я выбрасываю руку и хватаю Машу за что придется – за капюшон. Речонка могуче несет нас к Ледяной. Я пробую встать на близкое дно. Течение валит меня, ноги пробуксовывают в полужидкой глине. Тогда я левой рукой цепляюсь за ветку ивы, пролетающую над толовой. Ветка натягивается, как шнур. Нас с Машей разворачивает по дуге и швыряет в прибрежные кусты. Сквозь заросли мы пауками карабкаемся на склон и падаем на землю.

Некоторое время мы лежим без движения. Потом я сажусь. Маша лежит ничком и корчится. Ее рвет водой. Я пробую поднять Машу за плечи. Она впивается пальцами в землю, боясь от нее оторваться. Я слышу едва звучащий, но сводящий с ума вой – не горлом, не грудью, а чревом, самой жизнью. Я глажу Машу по спине, успокаивая, целую в макушку. Под моей ладонью пролетают молнии судорог запоздалого звериного страха. «Ничего, ничего, все обошлось...» – заклинаю я.

Наконец Маша успокаивается, медленно поднимается на ноги, только сильно и крупно дрожит. Я умываю ее водой из лужи. Ладонью я чувствую ее пульсирующие веки, окаменевшие скулы, застывшие губы.

– В-виктор С-серегеев-вич, из-звините м-ме-ня... – шепчет Маша.

– Дурочка... – отвечаю я и гляжу назад, на злую речонку. – Все, Маш, обратная дорога нам отрезана. Теперь только вперед, в Межень, отогреваться...

Проселок, невдалеке вынырнувший из брода, круто уходит в тайгу, опасно огибая Хромой камень. Через Хромой в Межень напрямик ведет тропа. Мы бредем по голому, мокрому лугу к громаде горы. Дождь, словно увидев, что мы промокли до костей, решил больше не сдерживаться и хлещет по земле, как конь хлещет хвостом себя по крупу. Маша спотыкается. Я держу ее за руку.

Хромой камень нависает над Ледяной, как форштевень. По осыпи я поднимаюсь первый, Маша идет за мной. Вершина камня громоздится впереди и вверху бесформенным, белым, блестящим кубом. С высоты открывается вид на плоскость реки, и кажется, что Ледяная медленно заваливается набок. Тропа под крутым склоном покатаая, узкая, каменистая. Я то и дело скольжу, хватаясь за выступы скалы. Крупный обломок вывертывается у меня из-под сапога и, как лягушка, скачет вниз по осыпи. Я теряю равновесие, взмахиваю руками и кувыркаюсь вслед.

Я грохаюсь о камни лбом и животом и еду вниз на бедре, а потом

останавливаюсь. От удара не искры, а, наверное, целые шаровые молнии брызнули у меня из глаз. Я лежу, словно разломленный на куски. В голове молотит тяжелое пламя. От боли все темно. Огонь влажно ползет от колена к бедру.

– Виктор Сергеевич, что с вами?! – в ужасе кричит Маша.

Я поднимаюсь и вылезаю обратно на тропу. Мышцы лица не слушаются.

– Чуть не скопытился... – делано бодро бормочу я. – Дальше не пойдем, дальше тропа еще опаснее. Поскользнемся – и оба улетим. Спускайся, Маш. Пойдем в Межень по дороге.

Мы спускаемся обратно на залитый дождем луг. Голова моя кружится, ноги подгибаются. Маша оглядывается на меня, и вдруг лицо ее искажается. Она словно ломается по суставам и опускается на корточки. Сначала она молчит, потом начинает плакать и, наконец, рыдать.

– Ну что еще, что? – измученно допытываюсь я, опускаясь рядом.

– Я не могу, Виктор Сергеевич! Не могу! – Маша трясет головой.

Я вижу, как на ее спину падают бурые капли дождя. Соленый дождь течет по моим губам. Я провожу ладонью по лицу. Ладонь алая, как кровь. Точнее, это и есть кровь. Я разбил нос. Вся грудь штормовки в крови. Я зажимаю нос пальцами.

– Ну что ты, Маш... – успокаиваю я и тяну Машу вверх. – Ну подумаешь, нос расквасил... Пойдем. Иначе тут и околеем...

Дождь стрижет очередями, будто из пулемета.

Мы уходим по проселку в тайгу, прочь от Ледяной, в обход неприступного Хромого камня.

Проселок извивается, и скоро я теряю представление, в какой стороне осталась Ледяная. Мы медленно ползем вверх-вниз по волнам отрогов. Елки, сосны, елки, сосны, елки, сосны – больше ничего. Маша пошатывается. Я веду ее за руку. Сапоги вязнут в грязи. Стужа. Дождь. Я гляжу на свои электронные часы. 96 часов 81 минута. А вышли мы в 14–15. Давненько идем... Маша тихо садится в грязь.

– Не трогайте меня!... – хрипит она. – Я не могу, не могу!...

Я стою над Машей.

– Вставай, Машенька, вставай, родная, вставай, любимая... Нельзя лежать, замерзнешь... Надо идти, вставай, пожалуйста...

Это говорю не я. Это говорит кто-то, оставшийся перед упавшим бревном. Мне уже не жалко Машу. Мне не жалко и себя. Лучше бы Маша утонула в той речке. Лучше бы я разбился на Хромом камне. Я пугающе равнодушен ко всему. До такого нервного истощения я докатился.

Каким-то чудом я все же ставлю Машу на ноги. Я шагаю тупо, как автомат. Моя рука словно смерзлась в кольцо вокруг Машиной ладошки. Маша качается. Глаза у нее закрыты!

Развилка. Откуда мы пришли? Кажется, оттуда... Значит, наверное, нам туда... Мы идем. Вверх-вниз, вверх-вниз, сосны-елки, елки-сосны, поворот, поворот, поворот... Я вижу покос, обнесенный жердями. Я долго смотрю на него. Значит, близко деревня.

– Маш... – мычу я. – Покос... Близко деревня...

Но деревни все нет. Колеи, грязь, дождь, повороты, увалы, небо.

Дом. На взгорье – дом! Дошли!... Я вытягиваю Машу на подъем. Это не деревня. Это даже не дом. Какая-то хибара без окон и дверей. На ее рубероидной крыше взрывается дождь. Надо идти дальше... И мы идем. Наверное, мы бессмертны.

Мы спускаемся в распадок и вновь вползаем на увал. С другой его стороны на склоне толпятся дома Межени, густея крышами к реке. Справа белеет Хромой камень. Теперь уж мы точно дошли. Мы дошли, мы спаслись. Мы дотянули, мы победили, мы совершили подвиг. Мы всего-то-навсего добрались до маленькой таежной деревни Межень. Но сколько пришлось перетерпеть и передумать, чтобы добраться до нее!... А что выпало бы на мою долю, если бы я решил достигнуть не маленькой деревни Межень, а, скажем, Полярной звезды?

Мы идем по улице Межени. Я захожу в каждый дом, прошусь на постой, и везде мне отказывают. А чего ждать иного? Я гляжу на нас со стороны. Явились из тайги все мокрые, в земле. От меня прет перегаром, грудь в крови, пятидневная щетина. Маша едва на ногах стоит. Что я в лесу с ней сделал? Кому грех на душу брать охота? Но меня охватывает озлобление. Мы с таким трудом добрались до Межени, и для чего? Скулить под дверьми? К черту! Куплю хлеба и водки, есть зажигалка и сухие сигареты в целлофане, уйдем в ту хибару, что я видел по дороге, разведу костер, пожрем, выпьем, переночуем... Не пропадем и без деревни Межень. Из следующего дома я выхожу уже с двухлитровой банкой браги. Я протягиваю ее Маше.

– Что это? – тихо спрашивает Маша, держась за планки забора.

– Наш бензин, – говорю я и заставляю ее сделать глоток.

Магазин уже закрыт, но хлеба можно купить в пекарне. Отыскиваю пекарню на задворках деревни. У ее двери под дождем возится пожилая женщина, засовывая в скобы тяжелый брус.

– Тетенька, постойте! – окликаю я. – Хлеба купить можно?

– Продали весь уже, – отвечает женщина и подозрительно оглядывает меня, а потом Машу, бессильно присевшую на бревно. – А вы кто такие?

– Туристы, – убито отвечаю я. – Вставай, Маша, пойдем обратно...

– Ма-ашенька... – с жалостью говорит женщина, глядя на прозрачное Машино лицо. – Хоть в пекарне обогрейтесь, горе-путешественники... Печь еще горячая. Эх, и носит же вас нелегкая...

Половину пекарни занимает огромная беленая печь. Стол, широкая лавка, поленница, стойки с лотками, кочерга, цементный пол. В единственном окошке не хватает полстекла. Жара. Пахнет угаром, кислым тестом, тараканами, горячим кирпичом. Рай!

Я запираю дверь за доброй тетенькой и бросаюсь к печи. Возле нее уже стоит Маша, обхватив себя за плечи. Тепло, тепло, боже мой, тепло!... Дождь не льет на голову! Никуда не надо идти! Можно сесть, можно лечь! Пусть нет жратвы, зато есть брага и сигареты! И Маша дошла живая! И никуда из этого рая мы до утра не уйдем!

Я лихорадочно раздеваюсь до трусов, делаю здоровенный глоток браги, вставляю в рот сигарету, поворачиваюсь к печи спиной и закрываю глаза. О-о-о... В голове что-то сдвигается и мягко, стремительно несет меня в горячую тьму.

Когда я открываю глаза, Маша стоит в той же позе, одетая.

– В одежде не согреешься, – говорю я. – Разденься...

Маша чуть заметно отрицательно качает головой.

– Считай, что мы потерпевшие кораблекрушение. Не стесняйся, – убеждаю я. – Ничего принципиально нового я не увижу...

Маша молчит. Мне становится тревожно, и я от этого злюсь.

– Я отвернусь, – говорю я, но Маша молчит. – Ты меня боишься? – допытываюсь я, но Маша молчит. Она ссутулилась, опустила голову, плечи ее прыгают, колени дрожат. Маша добралась до тепла, немного расслабилась, и все – завод кончился. Так человек замерзает на крыльце собственного дома. «Она же ничего больше не может!» – ошарашенно понимаю я.

Я отшвыриваю сигарету и бросаюсь на Машу, как насильник. Я сдираю с нее набухшую водой ледяную одежду, раздеваю ее догола. Под штормовкой и джинсами на Маше не было ни свитера, ни трико. И шерстяных носков тоже не было.

– Ну как же можно так одеваться, Маша, дура!... – кричу я.

Я вливаю Маше в рот брагу, кручу ее перед печкой, поворачивая к теплу спиной, животом, боками. Я безжалостно мну и растираю ее одеревеневшие мышцы, не стесняясь ее наготы. Маша качается под моими

руками как дерево, стонет и плачет – от боли, от стыда, от счастья. Я, как поезд с толкача, гоню кровь по ее артериям.

– Двигайся! – рычу я. – Шевелись! Живи!

Я ставлю ее лицом к топке и прижимаюсь к ее спине животом, защищая от холода, летящего из выбитого окошка. Я греюсь теплом, которое от печки проходит сквозь Машу, и это тепло возвращаю ей обратно, как Луна возвращает Земле солнечный свет. Гладкий язык вселенной, просовываясь в выбитое окно, лижет меня по спине. Я пью брагу, курю, но не отпускаю Машу. Я боюсь за нее. Я чувствую себя реанимацией, искусственным дыханием, ее запасным сердцем.

– Вы сами согрейтесь... – говорит Маша. – Я уже не умру...

«Оживает», – думаю я. Я отогреваюсь и сажусь на скамейку.

– Иди на колени, – приказываю я.

Маша устало усаживается ко мне на колени боком, пьет брагу и опускает голову мне на плечо. Я тоже пью брагу и курю, выдыхая в сторону. Я тоже устал. Просто скотски устал. За окном совсем темно. По крыше пекарни ходит дождь. Пекарня загадочно освещена рубиновыми червями, ползающими в черной пещере печки. Кажется, Маша дремлет. Мои руки, сцепленные на изгибе ее талии, ощущают тихое, спокойное, ровное движение ребер. Я тоже закрываю глаза. Полусон громоотводом разряжает напряжение воли, словно распускает натянутые вожжи.

Я просыпаюсь от того, что Машина ладошка невесомо едет по моей скуле, по груди, по животу.

– Не надо, Маша, – говорю я.

– Дайте мне баночку, – помолчав, отвечает она.

Маша делает несколько глотков, переводит дух и снова пьет. Я отнимаю банку и убираю под скамью. От Машиных губ пьяняще, вольно, счастливо и по-весеннему пахнет брагой.

– Виктор Сергеевич, я люблю вас... – шепчет мне в лицо Маша.

Ее руки легкие, как листопад, – не поймаешь ладонь.

– Ты еще девочка, Маша... – как дурак, говорю я.

– Ну и что... Я люблю вас... Я люблю вас... – повторяет она.

Она сползает с моих коленей, ложится спиной на скамью и тянет меня к себе. Я подчиняюсь и ложусь рядом, подсунув руку ей под голову. Я хочу Машу. И Маша хочет меня.

Я хочу Машу. И мне ничего не мешает взять ее. И я представляю все, что может быть – все молнии, танец и медовый ливень. Но одновременно я помню, как Маша плыла в ледяной воде злой речонки, как плакала, стоя на четвереньках посреди залитого дождем луга, как садилась в грязь на

обочине таежного проселка. И во мне нет страсти. Страсть отгорела там, в затопленном ночном лесу. Осталось только желание. Оно нежное, тихое, неподвижное, как березовая ветка в безветренную погоду. Я не возьму Машу не потому, что мое чувство к ней – это умиление взрослого ребенком, или робость мужчины с девочкой, или трепет грешника перед ангелом. Нет. Я не возьму Машу по какой-то другой причине, которая мне и самому не понятна. Я просто знаю, что так надо. Я хочу Машу. Но я ее не нарушу.

– Я вас люблю... – шепчет Маша, прижимаясь ко мне.

– Не спеши, – говорю я. – Я все сделаю сам...

Кончиками пальцев я веду по линиям ее лица – по стрелкам бровей, по опущенным полумесяцам век, по излучине мягких губ, ни разу мною не целованных. Маша в последний раз приоткрывает глаза и, наконец, закрывает – словно заходит солнце.

– Я люблю вас... Я люблю вас... Я люблю вас... – словно заколдованная, сквозь сон повторяет Маша.

– Я тоже тебя люблю... – говорю я. – Засыпай... Все хорошо.

Какой-то миг – и Маша уже спит. Я держу ее голову и долго боюсь пошевелиться, глядя на Машино лицо – печальное, усталое, прекрасное русское лицо. Потом я тихонько высвобождаюсь, сажусь на скамейке и сгибаюсь пополам, как от удара под дых. Дикая душевная боль от того, что я удавил свое желание, рвет меня на куски.

Но после я встаю и щупаю одежду. Она почти высохла. Я одеваюсь. Затем осторожно, как куклу, одеваю голую Машу. Наконец, зажигаю сигарету, беру банку с брагой и открываю дверь.

Дождь кончился.

И вот я, Географ, Виктор Сергеевич, бивень, лавина, дорогой и любимый, сижу на пороге пекарни и смотрю на спящую деревню Межень. Я курю. Я пью брагу. Дождя нет, луны нет, но темное, густое небо в зените словно подсвечено каким-то тусклым туманом. Я вижу тяжелые, дымные облачные бугры. А по горизонту, над тайгой, небо охвачено полосой угрюмой тьмы. Расползаясь по склону, слабо громоздится деревня Межень. Чуть светлеют покатые крыши, да кое-где горят огоньки. В ночи шумит на невидимых камнях Ледяная, одиноко брешет вдали собака – то ли облаивая свои собачьи кошмары, то ли откопав в огороде мышь, – и беззвучно, просторно гудит тайга, словно жалуется, переполнившись дождем.

Маша спит. Я думаю о Маше, сидя на пороге пекарни. Теперь Маша уже никогда не будет моею. Теперь моя радость уж точно позади. Но я спокоен, потому что выбора мне никто не навязывал – ни люди, ни судьба,

ни сама Маша. И пускай скоро Маша, ничего не поняв, отвернется от меня и уйдет в свою свежую, дивную и прекрасную жизнь. Что ж, у нее – первая любовь, которая никогда не бывает последней. А я Машу все равно уже не потеряю. Потерять можно только то, что имеешь. Что имеем – не храним... А я Машу не взял. И Маша останется со мною, как свет Полярной звезды, луч которой будет светить Земле еще долго-долго, даже если звезда погаснет.

И еще я не взял Машу потому, что тогда все мое добро оказалось бы просто свинством. А я его делаю немного и очень им дорожу. Оказалось бы, что я вылавливал Машу в злой речонке, утешал на лугу, тащил по проселку и даже, хе-хе, кровь проливал не потому, что боялся за нее, как человек на земле должен бояться за человека, не потому, что я ее люблю, а потому, что меня взвинчивала похоть. А настоящее добро бесплатное. И теперь у меня есть этот козырь, этот факт, этот поступок. Что бы я ни делал, как бы мне ни было худо, чего бы про меня ни сказали – и алкаш, и дурак, и неудачник, – у меня всегда будет возможность на этот факт опереться. И я не уверен, что в нашей дурацкой жизни Маша бы послужила мне более надежной опорой, чем этот факт.

И я вспоминаю весь наш поход – от самой Перми-второй до деревни Межень. И сейчас, здесь, глубокой ночью на пороге пекарни, неясный смысл нашего похода становится мне вроде бы ясен. Мы проплыли по этим рекам – от Семичеловечьей до Рассохи – как сквозь судьбу этой земли – от древних капищ до концлагерей. Я лично проплыл по этим рекам как сквозь свою любовь – от мелкой зависти в темной палатке до вечного покоя на пороге пекарни. И я чувствую, что я не просто плоть от плоти этой земли. Я – малое, но точное ее подобие. Я повторяю ее смысл всеми извилинами своей судьбы, своей любви, своей души. Я думал, что я устроил этот поход из своей любви к Маше. А оказалось, что я устроил его просто из любви. И может, именно любви я и хотел научить отцов – хотя я ничему не хотел учить. Любви к земле, потому что легко любить курорт, а дикое половодье, майские снегопады и речные буреломы любить трудно. Любви к людям, потому что легко любить литературу, а тех, кого ты встречаешь на обоих берегах реки, любить трудно. Любви к человеку, потому что легко любить херувима, а Географа, бивня, лавину, любить трудно. Я не знаю, что у меня получилось. Во всяком случае, я как мог старался, чтобы отцы стали сильнее и добрее не унижаясь и не унижая.

И я все сделал неправильно. Ни как учитель, ни как руководитель похода, ни как друг, ни как мужчина. Овечкина опрокинул, отцов бросил, Машу обманул. Я даже проломил свой главный принцип: я стал залогом

счастья для Маши и сделал ее залогом счастья для себя. Маша, Маша, Маша... Дома друзья-приятели охнут: ну и лопух же ты, девку прошляпил! А подружки сморщатся: как не стыдно, пристал к девочке, малолетке, собственной ученице... Но если в душе моей сейчас такой великий покой, значит, я все-таки был прав... А кто меня поймет? Кто оценит эту правду? Никто. Разве что время... Будущее. Только вот у него ничего не визнаешь.

Но что это я? Есть ведь одно существо, которое способно понять меня. Многоголовое, сварливое, вечно орущее, вечно грызущееся само с собою существо. Отцы. Только сам-то я как увижу, что они поняли?

И теперь я уже думаю про отцов. Отцы стоят перед Долганом. На рассвете я должен бежать к ним, чтобы застать их до отплытия. Долган – штука серьезная. Без меня отцам его переплыть нельзя. Машу я оставляю перед Хромым камнем – потом подберем ее. Злую речонку переплыву, да и фиг. Сегодня мы должны уехать домой. Пора. Я взял от похода все.

Я гляжу на восток. За кручей Хромого камня уже рябит первая муть рассвета. Я залпом допиваю брагу.

Как дочитанную книгу, я закрываю дверь пекарни, беру прислоненный к стене брус, всовываю его в скобы и шагаю по дорожке вдоль забора к улице. Маша шлепает по лужам за моей спиной. Деревня неподвижна. От ее неподвижности острее воспринимается движение ветра. Ветер раскачивает шесты со скворечниками, играет провисшими проводами. От того места, где должно взойти солнце, на белесом небе кругами расплывается облачная хмарь, словно солнце – это камень, брошенный в ряску небесного пруда. Тайга просторно дышит на вершинах окрестных увалов. Шумит река.

Мы идем посреди улицы, разбрызгивая лужи. По сторонам в окнах домов белеют задернутые занавески. На крылечках стоят блестящие галоши. Слева за огородами виднеется черная полоса Ледяной и несколько белых валунов у противоположного берега, одетого в еловую, волчью шубу.

На перекрестке мы останавливаемся у колодца. Я раздеваюсь по пояс и окатываюсь холодной водой. Холодное утро робко обнимает меня, как девушка. Холод словно перетряхивает меня, и все встает на свои места. Жизнь вставляется в тело, разум – в голову, мужество – в душу. Глядя на меня, Маша зябко передергивает плечами и затягивает на горле шнурки капюшона. Я вспоминаю, что под штормовкой у Маши нет даже свитера, а утро студеное.

– Дать тебе мой свитер, Маша? – спрашиваю я.

– Что ж вы сразу-то не предложили? – усмехается Маша.

Почему я не предложил? Потому что я с ней уже простился.

Мы переодеваемся и идем дальше. Окраина. Неизменные сараи, навесы, ржавые трелевочные трактора и штабеля леспромхоза. Улица превращается в грязную, разъезженную дорогу и уходит в сторону от реки. Дальше стоит сосновый перелесок. Через него вдоль Ледяной к Хромому камню ведет тропа.

– Маша, – говорю я. – Тебе надо остаться здесь. Я приплыву с отцами и заберу тебя.

– Почему это мне надо остаться? – удивляется Маша.

– Ты разве не помнишь, как я вчера с Хромого звезданулся?

– Вчера был дождь, слякоть. И мы были на взводе. Не Эльбрус же Хромой камень, чтобы на него было трудно подняться.

В общем-то Маша права. Хромой – обычный утес. И даже не очень высокий. Чего это я вдруг так испугался? Сам не знаю.

– Но тебе все равно ведь придется ждать меня, когда я уплыву за ту речонку, где бревно упало. Не лучше ли подождать здесь?

– Я тоже переплыву. Я пойду с вами, – твердо говорит Маша.

– Боишься одна остаться? – Я злюсь и бью ниже пояса.

– Нет, не боюсь. Просто я хочу с вами. И все.

Маша обходит меня и первой начинает подниматься на Хромой камень. Пыхтя, я лезу за ней. Я сдаюсь. Вершина Хромого – это массивный каменный надолб, с одной стороны поросший кривыми, кряжистыми соснами. Их корни вспороли, пробурили монолит, расслоив его на разновысокие ступени. По этим ступеням мы и поднимаемся вверх. Маша по-прежнему идет впереди меня.

Она добирается до самой макушки и вдруг застывает на последнем шаге.

– Виктор Сергеевич!... – отчаянно кричит она. – Пацаны заходят в порог!...

Я ракетой взмываю вверх. Широкая дуга Ледяной как на блюде. Зрение мое пугающе обостряется, будто глаза вывинчиваются, как окуляры бинокля. Тяжелый молот бьет в виски. Я вижу все четко-четко, хоть и мелко. По шивере к Долгану плывет наш катамаран.

Видно, кто-то из отцов пошел за нами в Межень и увидел злую речонку. Отцы поняли, что мы на другом берегу. Поняли, что мы заночевали в Межени. И чтобы мы, дураки, возвращаясь поутру, не сунулись эту речонку переплывать, отцы решили поскорее плыть в Межень сами. И вот они плывут. Без меня. В одиночку. Через порог.

Душа моя замерзает.

Даже с такого расстояния я вижу, что заплата на моей гондоле переместилась. Отцы переставили гондолу задом наперед. Теперь ее можно подкачивать прямо в пороге тому, кто сидит посередине катамарана. Все наше снаряжение завернуто в тент и неоднократно перемотано веревкой. На этом тюке сидит Люська. Я вижу, как ветер треплет ее длинные волосы. Люська безостановочно работает насосом. У правого носового гребца на кончике весла красная точка. Овечкин обмотал рукоять своего весла красной изолентой. Значит, он сидит на месте Чебыкина. У левого носового гребца лопасть весла выкрашена желтой краской. Это весло Бормана. Значит, Борман где сидел, там и остался. Справа и слева от Люськи сидят, без сомнения, Тютин и Демон. Чебыкин сидит там, где сидел Градусов. Градусов занял мое место. Командирское место. Я узнаю Градусова по рыжей башке. Теперь Градусов – капитан. Борман ли отказался, сам ли Градусов вылез, или отцы переизбрали начальника – скорее всего, и то, и другое, и третье разом, я не знаю. Но сейчас Градусов ведет катамаран через порог.

Отсюда, с Хромого камня, все кажется таким микроскопическим, таким ничтожным... Но я знаю, как сейчас вокруг отцов до неба вздыбятся валы и рев порога, хрип пены будут рвать перепонки.

Душа моя – ледяной истукан.

И вот катамаран, как трактор в борозду, грузно сваливается рылом в первый каскад. И его начинает месить и швырять, лупить волнами, душить пеной, контузить литыми водяными зарядами, хлестать струями. Он дергается, как лошадь под плетью. То взлетают носы гондол и ноги Бормана с Овечиным болтаются в воздухе. То взбрыкивает корма и Градусов с Чебыкиным валятся на спины, отгибаясь. То погружается левый борт и я вижу весь катамаран в плоскости – маленький решетчатый прямоугольник с семью человечками. То ухаёт правый борт и левый задирается, обтекая пеной, как слюной истекает пасть бешеного пса. Вода катится поверх каркаса, завихряясь вокруг седоков кушаками струй. Я вижу, как судно ударяется боком о камень так, что все дружно клонятся в одну сторону. Вижу, как поток тащит катамаран через обливной валун, и сзади вырастает султан бурлящей воды, которая наткнулась на новое препятствие. Я вижу, как отцы падают в «бочку», бьются в ней, выкарабкиваясь из водоворота, точно веслами выкапывают себя из-под снежной лавины.

Мы с Машей неподвижно стоим на вершине Хромого камня и молча смотрим. Душа моя ледяная. А отцы в это время берут порог.

Они прорываются через второй каскад. Они идут совершенно

неправильно, не так, как я пояснял. Может, это Градусов решил изменить тактику. Может, он просто следует моему внушению: иди так, как получается, только не подставляй под удар борта. Может, Градусов ошибается в командах, запутавшись в кошмаре Долгана. А может, экипажу не хватает сил, чтобы верно выполнить приказ. Но сейчас это уже не важно. Важно, что отцы штурмуют порог сами.

Хоть это и невозможно, но я слышу, как Градусов орет и матерится, обзывая всех «бивнями» и обещая «вышибить пилораму». Я слышу, как страшно молчит Люська, все быстрее работая насосом. Слышу, как натужно, надрывно кричит Чебыкин, тоненько взвизгивает и поскуливает Тютин, изумленно присвистывает Демон. Я слышу, как хрипит Овечкин и загнанно дышит Борман. Отцы все насквозь мокрые. Взблескивают на солнце весла. Клубится пена. Как ножи, сверкают струи. Долган растревоженно ворочается с бока на бок, словно медведь, хлопает себя лапами по спине, дергает шкурой, дрожит, трясется, подпрыгивает и рычит, грохочет, храпит.

Ледяная тоска сосет мое сердце, когда я вижу, как отцы ныряют в «бочку», которую надо было обойти слева, подрезают косые валы вместо того, чтобы пройти по струе, лезут напролом, хотя проще пропустить булыжник между гондол, очертя голову прут в самое пекло, в мясорубку, и таранят лбы валунов, где надо было бы вальсировать телемарком. А сверху все это – муравьиная конвульсия спичечного коробка среди мыльных разводьев.

– Третий каскад, – тихо говорит Маша и через некоторое время добавляет: – Прошли...

Я вижу, как мокрый, блестящий катамаранчик боком плывет по еще пенному, но уже усмирившемуся быстротоку. Весла больше не летают молниями, а тихо топорщатся над водой. Семь человечков в красных спасжилетах смотрят назад, на грозные ступени Долгана, через которые они только что кубарем перекатились.

Отцы все сделали не так, как я учил. Все сделали неправильно. Но главное – они прошли.

И лед в моей душе тает. И мне становится больно от того, что там, в Долгане, меня вместе с отцами не было. Так болят руки, которые ты на стуже отморозил, а потом отогрел, оживил в тепле. Мне больно. Но я обреченно рад этой боли. Это – боль жизни.

## Умение терять

Открыв на звонок дверь, Служкин увидел Градусова.

– Вот так хрен! – удивился он. – Чем обязан?

– Беда, Географ... – вздохнул Градусов. – Поговорить надо.

– Ну, заходи. – Служкин посторонился.

– А твоя жена меня не прирежет?

– Была бы дома – конечно прирезала бы.

На кухне, усевшись на табуретку, Градусов долго чесался и кряхтел, пока Служкин не угостил его сигаретой.

– Короче, – сказал он, – Роза записала нас к тебе на экзамен.

– Кого это – нас? – насторожился Служкин.

– Ну, меня... Ергинатам, Банникова, Безденежных...

– Что, всех, что ли, двоечников из девятых классов?... – яростно изумился Служкин.

– Ну... восемь человек.

– Угроза офонарела! – Служкин злобно сшиб пепел с сигареты. – Она не имеет права насильно записывать на экзамен!

– Да она не насильно... Сперва я один записался, а потом за мной и эти бивни... Наслушались после похода от наших: «Географ! Географ!...» Ну, и решили, что Географ не утопит.

– Молодцы-ы!... – возмутился Служкин. – Подвели меня под монастырь, гады... Что мне из-за вас, снова ногу ломать?

– Ногу-то не надо... – помиловал Градусов. – Придумай чень-то...

– А чего тут придумывать? Учите билеты. Я все диктовал.

– Так неделя остается... – скис Градусов. – И не записывали мы ничего, сам знаешь... И не выучим ни фиги – мы же тупые.

– А я что подделаю? – развел руками Служкин.

– Так придумай! – заорал Градусов. – Я ведь по-хорошему пришел! Это ведь не наша, а твоя заморочка! Если нам пары влепят – так фиг ли нам-то? Ну дадут справки, что отсидели в школе, и плевать на это! А тебя с работы попрут, потому что ни один ученик экзамен даже на тройку сдать не смог! Значит, учил ты хреново!

– Ладно, не ори, не в бане... – поморщился Служкин.

– Тебе Роза подляну кидает, а ты еще чего-то честного из себя корчишь, – тоном ниже добавил Градусов. – Мы-то что? Мы и по всем другим предметам знаем не больше, чем по географии... Нас и так в ПТУ

возьмут... А тебе из-за нас неприятности.

– Может, мне еще по флакону вам каждому выкатить, за заботу? – спросил Служкин.

– Не надо, – великодушно разрешил Градусов. – Лучше придумай чего. Служкин мрачно задумался. Градусов угодливо помалкивал.

– Ладно, есть одна мыслишка, – наконец сказал Служкин. – Сейчас иди к Люське и попроси у нее конспекты по географии. Я видел: она их хорошо написала. А к пяти часам собирай свою камарилью и приходи в мой кабинет. Пусть все несут ведра, тряпки, мыло, порошок. Будем парты мыть. Без чистых парт ничего не выгорит. Усвоил?

Допив чай, Градусов распрощался. На лестнице, оказывается, его терпеливо дожидались бивни. В окно Служкин видел, как Градусов вышел из подъезда, а за ним потянулись присные, и в заключение – наиболее выдающиеся двоечники «А» и «Б» классов с сиамскими близнецами Безматерных и Безденежных. Градусов что-то объявил двоечникам, внушительно поднес кулак к носу Ергина и уверенно взял курс на девятиэтажку, где жила Люська Митрофанова.

В пять вечера Служкин подошел к своему кабинету. Двоечники уже толпились у дверей. Служкин запустил их, открыл в кабинете окно, сел на подоконник и закурил.

– Ну что, – сказал он. – Можете приступать к уборке. Мойте пол, драйте парты. Столешницы должны быть оттерты дочиста, иначе ничего у нас не выйдет.

Угрюмые двоечники пошли за водой и начали уныло чистить столы. Под тряпками и мыльной пеной неохотно таяли многочисленные изображения Географа. Служкин сидел на подоконнике и объяснял свой план.

– Старые способы смухлевать для ваших деревянных мозгов не годятся, – говорил он, – шпоры там, флаги, помеченные билеты... Розу Борисовну на мякине не проведешь. Поэтому мы сделаем так. На каждой парте мы напишем по одному билету. Вы берете билет, смотрите номер и садитесь за ту парту, на которой он написан. Парт в кабинете двадцать, а билетов двадцать четыре. Можете четыре недостающие парты... э-э... то есть четыре последних билета, для подстраховки выучить. А можете понадеяться на авось. Писать билеты на парте будете особым образом. Текст располагайте по всей площади столешницы. Строчки пишите сверху вниз – так читать незаметнее. Буковки рисуйте очень маленькие, а расстояние между ними делайте большое: при таком раскладе даже с дистанции в метр будет казаться, что парта совершенно чистая. А когда

пойдете отвечать, не читайте с листочка, а говорите своими словами. Не умничайте, не забывайте, что вы кретины.

Служкин провозился с двоечниками чуть ли не до темноты. Двоечники, похоже, и сами пожалели, что решили сдавать географию. Служкин был неумолим. Раздергав на листочки Люськин конспект, двоечники расписали все двадцать парт, и только после этого Служкин их распустил. Они разошлись изможденные, молчаливые, понурые.

За день до экзамена Роза Борисовна явилась инспектировать кабинет географии. К тому времени Служкин успел вылизать его окончательно. Он вымыл окна, починил расшатанные стулья, приволок из кабинета пения два новых стола, чтобы экзаменационная комиссия не уселась за парты с секретом. Для придания окончательного блеска Служкин также извлек свои немногочисленные наглядные пособия. Карту Мадагаскара он скромно повесил на дальнюю стену, портрет Лаперуза водрузил над доской, а кусок полевого шпата долго примерял то на один край стола, то на другой, а потом сунул в мусорное ведро. Угроза, брезгливо оглядываясь, прошла по кабинету.

– Вы сами парты мыли, Виктор Сергеевич? – спросила она.

– Нет. Заставил наиболее плодовитых живописцев.

– А почему у вас так мало карт?

– Сколько было, когда я пришел сюда.

– А где же остальные?

– А разве они есть? – удивился Служкин.

– Конечно есть, – с достоинством заявила Роза Борисовна. – В прошлом году этот кабинет был кабинетом НВП, а географию вели в нынешнем кабинете химии. Я уверена, что до сих пор карты и лежат там в шкафу в препараторской. Неужели весь год вы вели уроки так?

– Вел, – согласился Служкин. – Я еще в сентябре говорил вам, что мне нужны карты, но вы мне ничего не ответили.

– Не могу же я заниматься каждой мелочью! – разозлилась Угроза. – Я просто изумляюсь вашей беспомощности, Виктор Сергеевич!

Служкин не стал ничего отвечать.

– Немедленно принесите карты и повесьте на стены, – приказала Угроза. – И завтра, пожалуйста, приходите на экзамен без опоздания. Посмотрим, чему вы научили своих учеников.

В день экзамена Служкин, сам не зная зачем, пришел даже на час раньше необходимого. Бесцельно побродив по кабинету, он уселся за стол. Рука привычно потянулась за сигаретами, но курить сейчас – даже в окно –

было чрезвычайно рискованно.

Дверь кабинета неожиданно открыли, и сквозняк встрепал волосы Служкина. На пороге кабинета стояла Маша.

На Маше было строгое белое платье и строгий черный пиджачок, в волосах – огромный белый бант. Этот костюм, колечко и сережки, тонкая цепочка на шее, подкрашенные губы и подведенные глаза делали Машу совсем взрослой.

– Маша!... – растерянно ахнул Служкин. – Ну ты и красавица сегодня!...

– А я вот шла на экзамен по физике и решила к вам заглянуть... – виновато сказала Маша, прикрывая дверь.

Они помолчали, глядя друг на друга.

– Мы с вами после похода даже не разговаривали... Я так соскучилась... – жалобно добавила Маша. – К вам сейчас не подступиться, вы такой популярный стали... Пацаны все время вокруг вас вертятся, девчонки все перевлюблялись...

– Ну что мне ваши девчонки? – улыбнулся Служкин.

– Вы меня еще не забыли, Виктор Сергеевич?

– Конечно нет, Маша. – Служкин со стула пересел на край своего стола и протянул руки: – Иди ко мне...

Маша неуверенно подошла поближе. Служкин, улыбнувшись, подтянул ее вплотную и осторожно поцеловал.

– Вы меня любите, Виктор Сергеевич? – тихо спросила Маша.

– Очень люблю.

– А я вас больше всех на свете...

Голос Маши чуть дрогнул, и Маша обвила руками шею Служкина, словно бы силой объятия покрывала слабость своего голоса. Служкин тоже под пиджачком обнял Машу за талию, поцеловал в розовое ушко под светлой, изогнутой прядью волос и взял губами ее сережку, как вишенку с ветки.

– Виктор Сергеевич... А что мы дальше будем делать?

Какая-то недетская, неюношеская тоска прозвучала в Машинном вопросе, и Служкин выпустил сережку из губ.

– Не знаю, Маша... – тяжело ответил он. – Кругом тупик...

– И нет выхода?

Служкин молча потерся кончиком носа о Машину скулу.

– Ты еще такая маленькая, а я уже такой большой... – прошептал он. – И за моей спиной целый воз всякой поклажи, которую мне едва под силу волочить...

– Но ведь не может все вот так кончиться!... – с болью произнесла Маша, глядя ему в глаза.

– Кто знает... – не отводя взгляда, негромко ответил Служкин.

И тут сквозняк снова встрепал его волосы, всплеснул крыльями Машиного банта.

– Эт-то что такое?... – раздался обескураженный возглас.

В проеме двери стояла Роза Борисовна. Маша дернулась, но Служкин не выпустил ее.

– Закройте, пожалуйста, дверь, – еле сдерживая бешенство, сказал Служкин Угрозе. Но Угроза шагнула в кабинет и закрыла дверь совсем не с той стороны, с которой хотелось Служкину. Маша убрала руки со служкинских плеч и, полуобернувшись, исподлобья посмотрела на Угрозу.

– Маша, вон из кабинета! – голосом мертвеца приказала Угроза.

– Не твое дело! – негромко, но с ненавистью ответила Маша.

– Вон, шлюха, я сказала! – тихо, одними интонациями рывкнула Угроза.

– Роза Борисовна... – утробно зарычал Служкин, но Маша быстро закрыла ему рот ладошкой, потом вдруг сильно дернулась, освобождаясь из его рук, и мимо Угрозы выбежала из кабинета.

Служкин молчал, сидя на столе. Он тяжело дышал, опустив голову, стискивая кулаки. Угроза, повернувшись к нему спиной, необыкновенно долго запирала замок на двери.

– Не трудитесь запирать, Роза Борисовна, – охрипнув, сказал Служкин. – Лучше выйдите из кабинета... И больше никогда не входите без стука и не называйте при мне девушек шлюхами...

Угроза медленно развернулась на Служкина, как артиллерийское орудие.

– Я и без вас разберусь, как мне называть свою дочь, – отчеканила она.

– Дочь?! – обомлев, беззвучно переспросил Служкин и впервые взглянул Угрозе в лицо.

Роза Борисовна стояла у доски, закрыв лицо ладонями. Из-под ладоней по щекам протянулись вниз черные стрелки потекшей туши.

Служкин не мог даже рта закрыть, потрясенный видом и словами Розы Борисовны.

– Не смотрите на меня, Виктор Сергеевич... – вдруг каким-то человеческим, женским голосом попросила она. – Я вас очень прошу, Виктор Сергеевич, немедленно уйдите отсюда и подайте директору заявление... Экзамен проведем без вас.

Через четверть часа Служкин положил на директорский стол

заявление с просьбой о расчете сегодняшним днем. Директор, не глядя на Служкина, хмыкнул, пожал плечами и наискосок подписал: «Не возражаю». Отныне и присно Служкин не был географом.

А вечером к нему домой приперлись все двоечники во главе с Градусовым и подарили бутылку дорожущего вина. Все они сдали экзамен на уверенные тройки. Только Градусову достался билет из тех, что не влезли на парты, и он получил «отлично».

Служкин сидел на кухне, пил чай, курил и читал газету, выкраденную из соседского почтового ящика. Надя у плиты резала картошку для ужина. Тата в комнате играла в больницу. Пуджик сидел в открытой форточке и смотрел на птичек.

– Ну что ты все читаешь, читаешь, – раздраженно сказала Надя. – Дома как бирюк, слова от тебя не дождешься. Поговорил бы со мной.

– Надо дочитать побыстрее, – не отрываясь от газеты, оправдывался Служкин. – Сунуть обратно в ящик, чтобы не заметили...

– Братъ не надо чужое.

– Так на свое денег нет...

– Так заработай! Кстати, ты так и не объяснил, почему уволился.

– А чего тут объяснять? – Служкин пожал плечами. – Разодрался с начальством, да и все. Начальство решило, что в лице меня оно взрастило глисту длиною в версту.

– Наверное, так оно и есть.

– Ну как вот с тобой разговаривать, Надя, если на каждое мое положение от тебя унижение? – вздохнул Служкин.

– Чего заслужил, – буркнула Надя. – И где ты теперь работать собираешься? Я тебя кормить не намерена, учти.

– А-а, не знаю. Будет день – будет хлеб. Будкин звал куда-то в свою фирму. То ли колеса шиповать, то ли колбасу воровать...

Надя поставила сковородку на газ, прикрыла крышкой и уселась за стол напротив Служкина.

– Я не хочу, чтобы ты работал у Будкина, – твердо сказала она.

– Это еще почему? – удивился Служкин, отодвигая газету.

– Не хочу ни в чем от него зависеть. – Надя закурила. – И не желаю, чтобы у него был лишний повод приходить в мой дом.

– Уже что-то новенькое, – серьезно заметил Служкин, окончательно откладывая газету. – Вообще-то Будкин не нуждается в поводах, чтобы приходить в гости... Он сам себе повод. Но ведь вроде бы до сих пор, извини, ты была рада его лицезреть...

– Не суйся в это! – грубо оборвала Служкина Надя.

– Тогда, пожалуй, я все же дочитаю газету, – помолчав, сказал Служкин. – Э-э... где же эта статья про каторжный труд манекенщиц?...

Надя в упрямом молчании докурила сигарету и только потом произнесла – твердо и безразлично:

– Отныне у меня с Будкиным все кончено.

Служкин вздохнул и опять свернул газету.

– А что у вас стряслось, пока я был в походе? – спросил он.

– Ничего, – мрачно ответила Надя.

– Как же так? Ни с того ни с сего – развод?

– Ни с того ни с сего, – кивнула Надя. – Просто я поняла, что мне этого не нужно. Есть ребенок, дом, работа, какой-никакой муж – в общем, видимость нормальной жизни, ну и достаточно этого. А Будкин – уже лишнее.

– Я не понял, – осторожно подступился Служкин, – вы что, больше не любите друг друга, или только больше не спите, или вообще не разговариваете – как?...

– Будкин для меня – пустое место.

– Позволь, а причина?

– Нет причины. Я почувствовала, что хватит, – и закончила, вот и вся причина.

– А ты его по-прежнему любишь?

– Да.

– А он тебя?

– И он меня.

– Странно все это... Самомучительство какое-то...

– Тебе не понять. Но так надо. А ты сам знаешь: если я чего решила – так и будет. В отличие от тебя, я не безвольная тряпка.

Служкин задумчиво закурил другую сигарету.

– И что, тебе сейчас очень плохо?

– Очень, – спокойно и искренне призналась Надя. – Но в твоих утешениях я не нуждаюсь.

– Да я бы и не полез тебя утешать... Что ж, сама вызвала – сама и держи удар. Умение терять – самая необходимая штука в нашей жизни. А в твоём решении виноват, конечно, я?

– Ты больше всего.

– Как это понимать? Я встал поперек вашей любви? Или ты решила, что остаться со мной надежнее? Или что иное?

– Да все вместе, – равнодушно ответила Надя. – И первое, и второе, и

третье, и десятое.

– Ну а мне что делать? Перелететь с диванчика на кроватку?

– Нет. – Надя устало покачала головой. – Живи на своем диванчике. Между нами все остается по-прежнему. И навсегда.

Двадцать пятого мая утром Служкин отвел Тату в садик и снова завалился спать. Теперь ему некуда было торопиться. Проснувшись, он не стал ни бриться, ни причесываться, попил на кухне холодного чаю и вышел на балкон покурить.

По улице, понизу, ветер тащил смятые обрывки какой-то музыки. Служкин курил. Узнать мелодию было практически невозможно. Но вдруг какими-то завихрениями воздуха в каменных коридорах улиц мелодия очистилась от шумов, откристаллизовалась на мгновение, и Служкин разобрал слова старого школьного вальса: «Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда...»

В его школе проходил Последний Звонок.

Служкин заметался по балкону, как тигр по клетке. Он бросил вниз сигарету и как был – непричесанный и небритый, в заляпанной краской рубашке и заштопанных домашних джинсах – сунул босые ноги в кроссовки и выскочил на улицу.

Он добежал до школы, пока еще не успел доиграть вальс. В открытых окнах учительской на втором этаже стояли динамики. На волейбольной площадке длинной шеренгой выстроились выпускники – сначала одиннадцатый класс, потом девятые. Вокруг площадки толпились учителя, родители, школьники помельче. Директор, дождавшись тишины, начал какую-то речь, издав далеко блестя очками. Его голос долетал до Служкина, но слов разобрать было нельзя.

Служкин двинулся вдоль сетчатого школьного забора, механически перебирая пальцами ячейки. Он обошел волейбольную площадку и, подальше от толпы, перемахнул ограду. Он не стал приближаться к торжественной линейке, а замер поодаль, укрывшись за сосновым стволом.

Ему был виден весь ряд девятиклассников. Он различил и Машу – такую красивую в бантах, – и Люську, и ехидного Старкова, и Скачкова, спавшего в чемодане, и всю красную профессуру, и рыжего Градусова с его присными, и двоечников Безматерных и Безденежных, и отцов – Бормана, Чебыкина, Овечкина, Тютину, Демона, и всех, кто целый год мотал ему нервы, бездельничал и пакостил, или зубрил и терзал вопросами, или болтал с соседями, не обращая внимания на Географа.

На волейбольной площадке рослый одиннадцатиклассник взгромоздил

на плечо девочку-первоклассницу. Девочка подняла над головой большой колокольчик и затрезвонила. Одиннадцатиклассник понес ее вдоль шеренги выпускников. Этот перезвон и был Последним Звонком.

Служкин развернулся, пошел обратно, перелез через забор и отправился куда глаза глядят. Но глаза его, видимо, никуда не глядели, зато ноги шагали все быстрее и быстрее. Со стороны, наверное, могло показаться, что Служкин мечется по Речникам, натывается на невидимые преграды, шарахается в сторону, бежит и через пять минут вновь налетает на стеклянную стену. Ноги вынесли Служкина к дому, где когда-то жила Чекушка. Он свернул в переулок и оказался у подъезда Лены Анфимовой. Он снова свернул и очутился у того дома, в котором находилась старая квартира Будкиных. Служкин скользнул под ее балконом, промчался немного и выскочил к многоэтажке Киры Валерьевны. Увернулся от нее, но едва не врезался в дом Ветки. Укрылся в Грачевнике, но через кусты полезла контора, где работала Надя. Опрометью удрал и оттуда, Служкин чуть не попал под взгляд окон заводоуправления, за которыми где-то была Сашенька. Измученный, Служкин просто чудом прорвался к затону. Берега цвели, над Камой горело безоблачное небо, вода в затоне от ветра рябила, как чешуя. Затон был пуст. Все корабли уплыли.

Сидя в кустах над обрывом, Служкин выкурил три сигареты и пошел домой. По дороге он выпросил в садике Тату. Идти им надо было опять мимо школы.

Церемония на волейбольной площадке уже закончилась, но девятиклассники, видимо, еще долго оставались на школьном дворе – смотрели друг у друга свидетельства, фотографировались классами и по отдельности, с учителями и без. Когда Служкин проходил мимо теплицы, из школьной калитки ему навстречу вырулил веселый Старков. Под руку его держала Маша.

– Здравствуйте, Виктор Сергеевич! – закричал Старков.

– Привет, – окаменев лицом, ответил Служкин.

Маша молча рассматривала Тату.

– А чего вас сегодня на линейке не было? – жизнерадостно осведомился Старков. – Мы бы с вами сфотографировались на память!

– Болел, – кратко пояснил Служкин.

– Чем? – тут же спросил Старков.

– Прокажой.

Служкин и Тата прошли мимо. Маша так и не подняла глаз.

– Опохмелиться денег нет, вот и болел, – за спиной Служкина сказал Старков Маше.

Служкин привел Тату домой. Когда они подходили к подъезду, из подвала вылез Пуджик и увязался следом. Дома Служкин накормил Тату, накормил кота, взял сигарету, вытащил из-под дивана подаренную двоюродными бутылку вина и пошел на балкон.

Зубами он вытащил пробку и сделал несколько глотков из горлышка. Рядом на перила мягко запрыгнул Пуджик, и Служкин погладил его по спине. Потом с банкеткой в руках пришла Тата, приставила банкетку к ограждению, влезла на нее и стала смотреть на улицу.

– Папа, а ты вино пьешь? Ты пьяным будешь? – наконец спросила она.

– Это не вино, – сказал Служкин. – Это я воду принес в бутылке – цветочки полить.

И он вылил вино в ящик с землей, который висел на перилах. Цветы в этом ящике не росли уже тысячу лет.

– Папа, – снизу вверх глядя на Служкина, спросила Тата. – А почему у тебя борода есть?

– Потому что я старый, – печально произнес Служкин.

– Давай играть, – предложила Тата. – Угадай, какая сейчас машина проедет?

– Синяя, – сказал Служкин.

– А я говорю – красная.

Под балконом медленно прокатилась черно-серебряно-радужная, как навозный жук, иномарка.

– Никто не угадал, – с сожалением признала Тата. – А сейчас какая проедет?

– Золотая, – сказал Служкин.

Яркий солнечный полдень рассыпался по Речникам. Мелкая молодая листва на деревьях просвечивала, пенилась на ветру и плескалась под балконом. Служкин на балконе курил. Справа от него на банкетке стояла дочка и ждала золотую машину. Слева от него на перилах сидел кот. Прямо перед ним уходила вдаль светлая и лучезарная пустыня одиночества.